Анна Караваева

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

Николай Островский

Борис Левин

Павел Бажов

Матэ Залка

Александр Серафимович

Александр Фадеев

Янка Купала

Юрий Либединский

Ch


Анна Караваева

АННА КАРАВАЕВА

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

Николай Островский

Борис Левин

Павел Бажов

Матэ Залка

Александр Серафимович

Александр Фадеев

Янка Купала

Юрий Либединский

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1964

Р2
К21

Это сборник воспоминаний старейшей советской писательницы, творческий путь которой тесно соприкасался и соприкасается с жизнью своих современников. Анна Караваева пишет о Николае Островском, Александре Серафимовиче, Александре Фадееве, Янке Купале, Матэ Залке, Павле Петровиче Бажове, Юрии Либединском. Перед читателем предстают не только талантливо исполненные литературные портреты писателей, но как бы оживает сам литературный процесс 30—40—50-х годов.





Дверь на балкон открыта. В комнату, где всегда было тепло, как в гнезде, широкой струей врывается вечерний холод. Ветер шевелит занавеску. Она колышется, лениво вздымаясь, как полуопущенный парус. На радиоприемнике белеет брошенное кем-то скомканное полотенце. Оно похоже на белого кролика, который притаился, прижал к спине длинные уши, готовясь к веселому прыжку.

В памяти проносится яркое сентябрьское утро в Сочи два года назад, домик на Ореховой улице, шафранно-рыжие плоды японской хурмы в залитом солнцем садике, тихая комната с чисто выбеленными стенами — и милое знакомое лицо на высоко взбитых подушках.

Белый кролик притаился в складках одеяла и сидит, подобрав лапки, довольный и послушный. Смугловатые нервные пальцы Коли Островского нежно поглаживают длинные шелковистые кроличьи уши. Коля задушевно смеется, белые его зубы сверкают, как сахар. На столе горка крупных яблок, сочных и румяных, чудесный их аромат разносится по всему домику. Белый кролик, смешно шевеля мягкими ушами, розовым язычком лижет ласковую человеческую руку.

Так и хочется зажмуриться и опять увидеть напитанное солнцем и ароматом яблок жаркое сентябрьское утро. Мысли сначала никак не могут настроиться на печальный лад, сознание словно еще не в силах понять и в полной мере сказать себе: «Вот оно, невозвратимое!»

Но реальность берет свое: глаза с беспощадной ясностью видят навеки застывшее лицо. Предсмертная борьба за жизнь выпила из него все соки, иссушила его, как лист в суховей. Она пощадила только его прекрасный, высокий лоб и темно-каштановые пышные и мягкие волосы. Над маленьким, иссохшим лицом возвышается этот лоб, светлый, просторный, выпуклый, как купол. Так и кажется, что там все еще кипит жаркая работа творческого воображения, полная революционной страсти, неуемного интереса и любви к жизни... Я кладу руку на этот мудрый большой лоб — он еще тепел и даже чуть влажен, как будто после веселого рабочего напряжения Николай просто затих для краткого отдыха. Чудится, вот-вот в тихом вздохе поднимется худая грудь, — орден Ленина поблескивает на ней, как на живой.

Но пришло утро — и память, разум, сердце перестали спорить с беспощадно ясной реальностью: да, это смерть.

Три дня с утра до позднего вечера мимо гроба, утонувшего в цветах и венках, нескончаемыми потоками проходят дети, молодежь, старики. Да, это прощание с тем, кто покидает землю.

Миг тишины... Площадка с гробом медленно опускается вниз. Все кончено. Маленькая белая мраморная урна замурована в древнюю стену Новодевичьего монастыря. Прощай, наш милый друг!

Прощай... Но какие бы печальные слова ни произносились, они относятся только к тому бренному, преходящему, что замуровано в старой монастырской стене. Николай Островский живет, смерть побеждена жизнью. Так семя, упавшее в землю, дает всходы, поднимается к солнцу тугим спелым колосом, и золотое хлебное поле шумит, ожидая жатвы...

В начале XVIII века молодежь плакала над горест-

ной и трогательной «Историей кавалера де Грие и Манон Леско».

В конце XVIII века умами и сердцами молодежи завладела книга «Страдания молодого Вертера». Поклонники молодого Вертера видели в образе несчастного самоубийцы символ эпохи, отражение своих неудач и трагедий; они и подражали вконец отчаявшемуся человеку, который добровольно ушел из жизни, презрев борьбу с ней. Они скорбели об одиночке, о побежденном.

Какая же противоположность всему этому успех и слава книг Николая Островского! Павел Корчагин тоже сын своей эпохи — и какой сын!.. Не одиночка, отчаявшийся и побежденный жизнью, а сын могучего класса, бесстрашный боец, атакующий волчий мир эксплуатации, рабства и нищеты, — вот кто стал любимым героем советской молодежи.

Николай Островский живет не только в книгах своих, он сам по себе героический образ, одна из наиболее ярких и сильных личностей нашей эпохи.

Николай Островский всем примером своей прекрасной жизни продолжал на новой, социалистической основе одну из самых благородных традиций русской литературы: единство творчества и жизни. Так жил и погиб в неравной борьбе с жестокой николаевской реакцией Александр Пушкин, великий гений, «солнце русской поэзии».

Так непоколебимо сквозь лютые снега и морозы вилюйской ссылки пронес свои идеи Чернышевский, кого В. И. Ленин называл великим русским социалистом и великим русским революционером.

Так, неустанно разоблачая язвы, тьму и бесправие российской действительности, безвременно сгорел Добролюбов.

При общности основных психологических черт жизнь Николая Островского коренным образом отличается от печальной судьбы этих гениальных людей: он жил и работал в стране социализма, окруженный любовью и вниманием большевистской партии, Советского правительства и всего народа.

Природа была беспощадна к нему, отняла у него

здоровье, руки, ноги, глаза. Но он переборол немощи тела, неизлечимую болезнь, печаль, слабость, оцепенение — и как победитель утвердил жизнь, творчество, борьбу. И голос его, пламенного певца большевистской молодости, с чудесной лирической силой пропел на всю Советскую страну и на весь мир боевую, солнечную песню борьбы и победы социализма.

Долой печальные воспоминания! Расстанемся с ними, с этой неизбежной данью бренности нашего физического бытия, и обратимся к неиссякаемому, могучему источнику жизни!..

В ветреный и холодный день начала весны 1932 года я поехала в Мертвый переулок к Николаю Островскому.

Большая коммунальная квартира, набитая жильцами. Шумно, тесно, грязно. Какие-то сердитые люди толкаются в коридоре, кричат дети, где-то назойливо, как дятел, стучит машинка.

«Ну и ну!.. Обстановочка для писателя, нечего сказать!» — подумал бы каждый.

Я вошла в комнату.

На кровати лежал человек, закутанный по грудь одеялами, шалями. Я увидела темно-каштановые пышные волосы, большой выпуклый лоб и бледное, без единой кровинки, худое, изможденное лицо, лежащее высоко на подушках.

Худые, восковой прозрачности руки лежали поверх одеяла. Тонкие веки его слегка вздрагивали. Густые ресницы бросали на впалые щеки синеватые тени.

Мне было известно, что Николай Островский инвалид, но таким я все же не представляла его.

Он показался мне таким слабым и беспомощным, что я вдруг решила уйти, не беспокоить человека, отложить разговор до другого раза.

В эту минуту в комнату вошла худенькая бодрая старушка с живыми темно-карими глазами на приветливо улыбающемся лице.

— Матушка, кто это пришел? — раздался вдруг глуховатый, молодой и совсем не слабый голос.

Мать назвала.

— А!.. Вот хорошо! Сюда, сюда!

Чудесная белозубая улыбка озарила его лицо. Каждая черточка его светилась, играла молодостью и радостью жизни. В первые минуты мне показалось, что и глаза его, большие, черные, тоже блестят и играют. Но скоро я увидела, что этот блеск происходит от густой и полноцветной окраски радужной оболочки. Однако во время разговора я часто забывала, что глаза его слепы, — такой напряженной мыслью, вниманием и веселостью светилось это лицо.

Разговор наш шел о первой книге романа «Как закалялась сталь», только что принятой для печати журналом «Молодая гвардия». Николай жадно интересовался, какое впечатление произвели на нас его герои.

— Павка, по-моему, парнишка даже очень неплохой, — говорил он с юмористическим лукавством, сверкая белозубой улыбкой. — Я и не думаю, конечно, скрывать, что Николай Островский с Павкой Корчагиным связаны самой тесной дружбой. Он и разумом и кровью моей сделан, Павка этот самый... Но мне вот что еще интересно: не кажется ли мой роман только автобиографией... так сказать, историей одной жизни?.. А?

Улыбка его вдруг сгасла, губы сжались, лицо стало строгим и суровым. Оно дышало неподкупной взыскательностью — так смотрит командир на молодых бойцов, проверяя их знания, техническую сноровку, выправку, походку.

Герои Островского как будто проходили перед его требовательным и строгим взором, а он проверял их жизнеспособность.

— Я нарочно ставлю вопрос остро, потому что я хочу знать: хорошо ли, правильно ли, полезно ли для общества мое дело? Есть немало единичных случаев, которые интересны только сами по себе. Посмотрит на них человек, даже полюбоваться может, как на витрину, а как отошел, так и забыл. Вот такого результата каждому писателю, а мне, начинающему, особенно бояться надо.

Я сказала, что в отношении какой-нибудь «единичности» ему как раз бояться нечего.

Он мягко прервал меня:

— Только условимся: успокаивать меня по доброте сердечной не надо! Мне можно говорить прямо и резко обо всем. Я же военный человек, с мальчишек на коне сидел... и теперь усижу!..

И хотя губы его дрогнули и улыбка вышла нежная и смущенная, я вдруг с предельной ясностью почувствовала, как крепка, как несгибаема его воля. В то же время я почувствовала себя необычайно счастливой, что могу обрадовать его.

Я рассказала ему о целой веренице героев нашей русской и западной литературы, которые вспомнились мне, пока я знакомилась с Павлом Корчагиным. Герои были разных стран и веков: Вертер, Карл Моор, кавалер де Грие, Николас Никкльби, Евгений Онегин, Печорин, Рудин, Растиньяк, Давид Копперфильд, Жюльен Сорель и другие.

Многие из них были созданы гениальными творцами, формировали волю и сознание человеческих поколений. За этими образами мировой и русской литературы стояла история общественных отношений, социальные и личные трагедии, многолетняя слава высших завоеваний человеческой культуры.

Но Павел Корчагин перед этой галереей великих и прославленных может стоять уверенно, с полным чувством собственного достоинства. Ему, молодому пришельцу из огня гражданской войны, теряться среди этих заслуженных «стариков» не придется.

Также не надо ему ходить с поклоном и выпрашивать себе местечко. У него есть то, чего нет у других: в его молодых мускулах живет неистощимая сила, в его сердце неугасимая страсть, в его мыслях горят самые передовые, самые благородные убеждения о свободе и о счастье человечества.

Павел Корчагин, конечно, находится в непримиримой вражде с каким-нибудь Растиньяком, но все подлинно свободолюбивое, будь то в героях Пушкина, Байрона или Стендаля, близко и родственно его духу. Конечно, больше всего родственных душ — старших братьев и друзей — Павел Корчагин найдет среди героев Максима Горького. Этот неуемный Павка сразу

нашел свое место в боевом строю героев, в образах которых современники и будущие поколения познают борьбу, победы и великое преобразование мира в эпоху социализма.

— Значит, полюбят моего Павку? — спросил он горячим полушепотом, и лицо его, как солнцем, осветилось безудержно счастливой улыбкой, зарумянилось, похорошело. — Значит, полюбят Павку?.. И других ребят тоже?.. Значит, ты, товарищ Островский, не даром живешь на свете — опять начал приносить пользу партии и комсомолу?..

Мы уже перешли на «ты», разговор наш временами перебрасывался на разные темы, но неизбежно возвращался к роману. Николай очень интересовался, как мы с Марком Колосовым правили его роман. Когда я рассказывала, как мы выкидывали из романа разного рода «красивости», он весело хохотал и с тем же лукавым юмором посмеивался над неудачными словами и оборотами.

— Гоните их, гоните эти словеса! Какое-нибудь этакое «лицо, обрамленное волной кудрей»... Фу, от этого же действительно руки зачешутся!

Потом сразу сказал серьезно и вдумчиво:

— А знаешь, откуда берутся такие шероховатости? Скажешь, от недостатка культуры? Это — да, но прими во внимание еще одну причину — одиночество в творческом смысле... Начал-то ведь я один, на свой страх и риск. Как мне дорого теперь, что у меня будут товарищи по литературе! О недостатках, о недостатках моих побольше! Надо их побольше отовсюду вылавливать!

Он спрашивал, как удалась ему композиция романа в целом и отдельных мест, диалоги, описания природы, подчеркивания характерных черт отдельных героев, какие «прорехи» у него в области языка, сравнений, метафор, эпитетов и т. д.

Каждый вопрос показывал, что он не только читал и думал о проблемах художественного творчества, но и в отношении многих из них был уже сложившимся человеком. Он совсем не походил на некоторых наших «молодых», которые нередко просто не знают, что и

почему они любят и ненавидят, чем обладают, о чем хотят говорить.

Он как раз знал все это очень хорошо.

— Да и как же иначе? Кто этого не знает, тот работает вслепую! — возмущался он. Брови его беспокойно двигались, он взволнованно вскидывал ресницы — и опять, и снова казалось мне, что черные глаза его видят, что они ясны, зорки, неутомимы.

— Прославленный ты писатель или начинающий, о самом главном ты всегда обязан помнить: чем, мол, именно книга моя помогает гигантской работе партии, комсомола, советской власти, общества? Отвечай на этот вопрос точно, четко, будь к самому себе беспощаден!.. Если ты перед самим собой не умеешь быть правдивым, если не знаешь, как ответить, какая тебе цена после этого?

Минуты, часы летели незаметно. Уже несколько раз я собиралась уходить, боясь, что Николай утомится. Но какое-нибудь слово или замечание, сказанное «напоследок», опять разжигало беседу. Она перескакивала с предмета на предмет, как бывало часто с людьми, которые только начали узнавать друг друга. Но разговор то и дело возвращался к роману, к будущим его главам, к работе над второй частью. Я уже совершенно забыла, что нахожусь в комнате безнадежно больного человека.

Он рассказывал о своих творческих заботах, назначал себе сроки, задания — и я при виде этой совершенно огненной энергии и радости не только не пыталась, но даже забыла его хоть в чем-нибудь уговаривать или укрощать его.

Зачем? Напротив, я была бесконечно рада, что у нас в журнале «Молодая гвардия» появился писатель — какой-то коренной наш, старый боевой комсомолец, художник-большевик, человек необычайно ярко выраженного и идейного и морального склада, свежий и сильный талант.

Вот почему мне хотелось не ограничивать, а, напротив, помогать ему расширять его планы — передо мной был сильный человек, волевой, закаленный.

Как сейчас слышу этот глубокий, напоенный счастьем и гордостью голос:

— Вот я и опять в строю!.. Это же самое главное! Я опять в строю!.. Какая замечательная жизнь, какая жизнь открывается!..

Пока я ехала домой, в ушах у меня, как песенная мелодия, звучали эти слова: «Какая жизнь открывается!»

В последующие встречи, до отъезда Николая в Сочи, передо мной еще глубже раскрылись образ мыслей и характер этого замечательного, мужественного человека.

Сдержанно, не вдаваясь в подробности, как будто дело шло о самых обыденных вещах, он рассказал, как однажды он «убедился, что выбыл из строя».

— Высказывать своих чувств я, понятное дело, не мог: домашним моим и без того не легко. Особенно тяжело было сознавать, что ты отстал от товарищей. Сначала захаживали ко мне... Придут, газеты почитают, новости расскажут... Потом — все реже, все меньше. Я, конечно, и не подумал обижаться на этих ребят — что же, работы у них много, люди здоровые, молодые, жизнь манит... Вполне естественно... В некоторых людях, правда, пришлось разочароваться... но об этом жалеть не приходится: по крайней мере знаешь, что ждать тут нечего. Ясность во всем — дело очень полезное.

Голос его звучал спокойно, даже чуть насмешливо: и эти страдания он преодолел.

С особенной теплотой и нежностью он говорил о старом большевике Иннокентии Павловиче Феденеве:

— Чем я мог отблагодарить его, чуткого, прекрасного, за всю его заботу обо мне? Он будет у меня в романе, во второй книге... Фамилию изменю, а имя так и оставлю: Иннокентий Павлович. Старику это будет приятно, как ты думаешь?

— Еще бы!

Так это и было. Во второй части романа Павел Корчагин знакомится с Леденевым. В образе Леденева, «высокого богатыря с седыми висками», нетрудно узнать Иннокентия Павловича Феденева.

«У Корчагина и Леденева была одиа общая дата: Корчагии родился в тот год, когда Ледеиев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного — большой жизиеииый и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом большой государственной работы; у другого — пламениая юиость и всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба оии — старый и молодой — имели горячие сердца и разбитое здоровье».

Когда через иесколько месяцев я читала в рукописи эти строки второй части ромаиа, я видела перед собой улыбку Николая Островского, от которой всегда так хорошело его лицо, слышала его чуть глуховатый мягкий голос с оттеиком милого лукавства: «Старику это будет приятио, как ты думаешь?»

Жизнь его в перенаселеиной квартире в Мертвом переулке была очеиь нелегка. Кроме личиых страдаиий, которые он сразу с таким искусством иаучился глубоко прятать в себя, ему постоянно докучали житейские заботы, иеприятности. Бюджет семьи был сверхскромен. Как ии старалась Ольга Осиповна скрывать от сыиа постояниые материальиые иехватки, как ни хлопотала оиа вокруг иего, всегда бодрая, с шуткой на устах, он своим обостреииым, тонким чутьем догадывался обо всем.

— «Все, все, говорю, мие поиятио, матушка, не хитри: не блестящи наши фииаисы». А она мие: «Нечего, иечего вмешиваться в старухины хлопоты!» Начиет подшучивать, и я в долгу ие останусь. Так, смотришь, и отшутимся от какой-нибудь неприятной ерунды, — рассказывал Николай, и легкие смешливые морщинки лучились вокруг чериых незрячих глаз.

Всякие другие неудобства, связаниые с жизиью в набитой людьми коммуиальной квартире, улаживались Ольгой Осиповной уже за пределами комиаты.

— За этой «дипломатией» я уследить не могу! — посмеивался Николай.

Но были вещи, от которых даже при его выдержке никак нельзя было «отшутиться», например комиата — сырая и холодная. Старые предаиные руки матери со-

держали эту скверную мурью в образцовой чистоте, но воздух в комнате был затхлый и губительный для здоровья. Оставаться ему там дольше было невозможно.

Редакция журнала «Молодая гвардия» обратилась в ЦК ВЛКСМ с просьбой отправить Николая Островского в Сочи. Летом 1932 года он вместе с семьей поехал в Сочи.

Накануне отъезда в Сочи он написал мне:

«Дорогой тов. Анна!

Завтра в 10 часов утра передвигаюсь на юг. Сделаю все, чтобы сколотить силенок для дальнейшего развертывания наступления. Хочу пробыть в Сочи до глубокой осени. Буду держаться, пока хватит пороху».

Под «наступлением» он подразумевал работу над второй книгой романа «Как закалялась сталь». И это были не слова, а действительное обозначение того сложного, трудного, а порой и мучительного процесса, который Николай называл «моя работа».

Мне часто вспоминались его худые желтоватые руки, которые всегда лежали поверх одеяла, нервные, предельно чувствительные, руки слепца. Сказать точнее — кисти рук, потому что двигать он мог только кистями рук. Страшная болезнь суставов — артрит (одна из причин его смерти), очевидно, никем не распознанная, уже овладела его бедным телом.

Однажды (незадолго до отъезда в Сочи) он, по своему обыкновению подшучивая, говорил:

— Плечи и локти будто и не мои совсем — чудное дело!.. Вот только это мне и осталось, вот и все мое хозяйство!

И он с насмешливо-грустной улыбкой приподнял над одеялом кисти рук и пошевелил пальцами.

— Вот и управляйся как хочешь!

Еще раньше он скупо, как всегда о своей болезни, рассказывал мне, как он некоторое время писал при помощи картонного транспаранта.

— Не очень удобно, главное — не видать ничего, но пользоваться этим можно.

В начале августа 1932 года я получила от Нико-

лая письмо из Сочи. Оно было написано карандашом при помощи транспаранта. Слишком прямые строчки и неестественно изогнутые буквы заставляли представлять, с каким напряжением физических сил и воли было написано это письмо.

«5 августа, Сочи. Приморская, 18.

Дорогой тов. Анна!

Я живу с матушкой у самого моря. Весь день во дворе под дубом и пишу, ловя хорошие дни (далее неразборчиво)... голова светлая. Спешу жить, тов. Анна, чтобы не жалеть об утраченных днях, остановленное нелепой болезнью наступление вновь развертывается, пожелай мне победы».

Силу и напряжение этого «наступления» можно почувствовать даже по одной этой строчке: «Спешу жить, чтобы не жалеть об утраченных днях».

Приехав в Сочи, Николай вскоре заболел. С опозданием друзья в Москве узнали, что сносную квартиру в Сочи он получил не сразу и жил в отвратительном помещении, от которого и заболел.

Болезнь казалась ему «нелепой» тратой времени и совершенно нетерпимым препятствием на пути к цели. Его неукротимая воля помогла надорванному организму преодолеть болезнь.

И вот, едва оправившись, он уже испытывает свою выдержку — пишет письмо «собственной рукой». Я представляла себе: вот он лежит в густой тени дуба и, не желая думать об отдыхе, часами напролет диктует своим секретарям-добровольцам. Лоб его в поту, пушистые брови возбужденно поднимаются и опускаются, веки вздрагивают, тонкие пальцы щиплют одеяло. Он часто откашливается, он уже устал говорить, но воображение, изголодавшееся за эти «утраченные дни» болезни, жадно стремится наверстать, наверстать. Лоб его горит, сердце замирает: ему видится поле битвы, земля дрожит от грозного топота лихих коней, и бесстрашные всадники несутся как вихрь, разят врагов трудового народа. Николай Островский видит Москву первых лет мирного строи-

тельства, съезд комсомола в Большом театре, встречи с боевыми друзьями.

«Скорее, скорее... Спешу жить...»

В январском номере журнала «Молодая гвардия» за 1933 год начала печататься вторая книга романа «Как закалялась сталь».

По письмам того времени видно, как дорого, каждой каплей крови, всеми нервами своими, он платил за «развертывание наступления».

В Сочи пришлось ему застрять, так как в Москве комнаты у него не было, а из хлопот о ней все ничего не выходило. Первые месяцы он очень остро и болезненно переживал свою оторванность от товарищей. Разделенные с ним двумя тысячами километров, мы иногда забывали, как много значит для него каждое письмо, каждый разговор по творческим вопросам, каждое дружеское слово. Случалось, по занятости, а то и просто по рассеянности пошлешь письмо «простым». Островским пришлось переезжать с квартиры на квартиру, — может быть, еще и поэтому терялись письма.

«...Прочли мне твое спешное письмо... Я потерял счет безобразиям [1]. А ведь потеря твоих и Сони писем для меня не прошла даром; я делал свои выводы, и эти выводы, признаюсь, очень огорчали», — писал он в конце 1933 года.

Не от нервической мнительности делал он «выводы», которые его огорчали, а от высокой требовательности к себе. Эта требовательность и беспокойство не уменьшались в нем, несмотря на то что он хорошо знал и чувствовал, как любят его в журнале «Молодая гвардия».

«...Нет почти такого номера «М. Г.», где отсутствовали бы несколько теплых строк о твоем подшефном. А твое последнее письмо, оно пришло, и растаяли снежинки. Его сердечность принесла мне не мало радости и, более ценно, большой порыв к труду. Тов. Анна, ты не удивляйся, что я так поддаюсь чувствам. Виной тому — особенности моей жизни».

---

[1] То есть утере писем.

Эти «особенности жизни» заключались в том, что это пламенное большевистское сердце вернуло себе радости, которыми всегда жило.

«Я развертываю учебу. Трудно одному. Нет материалов. Нет квалифицированных людей, но все же я чувствую, как раздвигаются узкие рамки крошечного личного опыта и культурного багажа... Как я прожил последние три месяца? Я отнял от литучебы массу времени и отдал его молодежи. Из кустаря-одиночки стал массовиком. В моей квартире происходят заседания бюро комитета. Я стал руководом кружка партактива, стал председателем районного совета культстроительства — в общем придвинулся к практической работе партии вплотную и стал полезным парнишкой. Правда, я сжигаю много сил, но зато радостней стало жить на свете — «комса» вокруг.

Непочатый край работы на культурном фронте. Заброшенные, с полунищим бюджетом, с хаотическим учетом городские библиотеки возрождаются и становятся боеспособными.

Создал Литкружок; как могу, так и руковожу им. Внимание партийного и комсомольского комитетов ко мне большое. Партактив у меня бывает часто. Я ощущаю пульс жизни, я сознательно пожертвовал эти месяцы местной практике, чтобы прощупать сегодняшнее, актуальное».

И дальше:

«И все же я много читаю. Прочел «Шагреневую кожу» Бальзака, «Воспоминания» Веры Фигнер, «Вступление» Германа, «Крутую ступень», «Последний из удэге», «Анну Каренину», «Литературное наследство», все номера «Литкритика», «Дворянское гнездо».

Не помню, кому-то из товарищей я дала в тот день почитать это письмо.

— Послушай, ведь это же просто героический характер! — воскликнул он, потрясенный. — Если бы я не знал, кто пишет, я бы вообразил себе, что это рапортует о себе здоровяк парень, кровь с молоком! Это же, знаешь, сила, настоящая большевистская сила!

Да, это была именно такая сила, восторг делания, неукротимое желание быть полезным жизни, партии, своему классу.

Да, это была воля, сознательность, страстное чувство, которым, к сожалению, обладают не все наши писатели. Впрочем, пусть советский человек на этом примере поучится, как надо «ощущать пульс жизни»!

О том, как сильно он болел, мы узнали позже. В начале 1934 года он писал:

«...Я чуть было не погиб... Целый месяц шла ожесточенная борьба. Сейчас все это позади, силы возвращаются с каждым днем...»

Едва оправившись от болезни, он уже готов откликнуться немедленно на наш призыв написать статью для журнала о языке. После известных статей Алексея Максимовича Горького в «Правде» Союз писателей организовал дискуссию о языке. Мы, редакция журнала, обратились в первую очередь к самому любимому нами человеку — Коле Островскому.

В том же письме, где он сообщал о том, что «чуть не погиб», он твердо обещал:

«Я с удовольствием буду работать над статьей о языке для журнала. Это такая большая и злободневная проблема не только сегодняшнего дня. Я сам хотел написать об этом и уже в основном продумал содержание, т. е. сделал самое главное. Завтра же начинаю писать, а через неделю отпечатаю и вышлю...»

Статья была выслана точно к сроку и напечатана в журнале. Книга его все глубже проникала в самую гущу читательских масс: все больше получал он писем, что на местах книги нигде нельзя достать.

«Тов. Анна, я обращаюсь к тебе и Марку с призывом помочь в деле массового издания книги. Я получаю десятки писем от комсомольских организаций Украины и других областей. И везде одна жалоба: достать книги нельзя, она утонула в читательском море. Почти все читают ее в журнале «М. Г.». Пример: Шепетовка не имеет ни одного экземпляра книги».

Вопросы издания книги вообще все чаще начали беспокоить его. Большевистское чутье безошибочно подсказывало ему, что книга его «Как закалялась сталь» и в действительности помогает партии и комсомолу выковывать характеры новых кадров строителей социализма. Он знал также, что книга его сама нашла путь к сердцу читателя. Дело теперь прошлое, но наша критика не сразу поняла значение романа, не сразу почувствовала его моральные, идейные и художественные достоинства, его глубокую народность и подлинно поэтическую красоту. О романе говорили, писали главным образом в журнале «Молодая гвардия», где советская молодежь впервые прочла роман.

Там, где не было книги «Как закалялась сталь», захотели ее прочесть. Роман не только стал широко известен, но и в подлинном смысле прославился. Прежде всего эту книгу требовали везде в библиотеках, прежде всего о ней говорили на всех собраниях молодежи, ее героев больше всех любили.

К домику Николая Островского в Сочи, на тенистой Ореховой улице, стали совершаться целые паломничества. В садике у ложа Николая Островского перебывали тысячи людей. В мой заезд в Сочи осенью 1934 года он рассказал мне с обычным лукавым юмором:

— Знаешь, мне как писателю здорово везет: искать героев мне, как видишь, не приходится — они сами ко мне идут. В одном я незадачливый парень: не могу их видеть! Но тем сильнее я их чувствую, тем острее переживаю присутствие каждого из них. И будьте спокойненьки: я ничего интересного не пропущу!

— Я часто думаю о труде, — говорил он дальше, — потому что с потрясающей силой чувствую, что такое труд в нашей стране. Капитализм не только эксплуатирует и обескровливает тружеников — он принижает как только можно и само понятие о труде, суживает его, обедняет до крайности. А у нас какое многообразное и богатейшее понятие — труд! Трудящиеся — до чего широко и прекрасно показывает их

наша жизнь!.. Я выслушиваю рассказы о труде множества людей: металлистов, шахтеров, сталеваров, электриков, железнодорожных машинистов, кочегаров, счетоводов, учителей, артистов, художников. А какие замечательные люди руководят у нас в колхозах!.. Иной колхозный бригадир или бригадирша просто как на ладони тебе жизнь покажут. Какие характеры! А знания и опыт жизни какие — сердце радуется!.. «Дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» — какой глубокий и величественный смысл в этих словах!.. Я это чувствую каждодневно всем существом своим...

Разговор потом зашел о войне, и Николай опять заговорил о труде:

— Мы и в этом так же сильны, как никто в мире!.. Душевные качества — как будто скромное выражение, но мы в него вложили такие богатства, какие никто и никогда не вкладывал в это дело. Кто другой мог иметь челюскинцев? Ну-ка?.. — Он прищурил глаз и сказал лукаво: — Все это неплохое «добавление» к нашей оборонной мощности, верно?..

Реалист, человек практики всегда говорил в нем, недаром сам он прошел тяжелую школу жизни. Радостно и гордо отмечая каждую прекрасную человеческую черту, он острее и проникновеннее многих зрячих чувствовал всякую мелкотравчатость. С особенной болью он отмечал такого рода явления в писательской среде. Его возмущали «безответственная грызня и антагонизм», мелкая зависть к чужим успехам и мелкое злорадство по поводу чужих поражений. Всякая пошлость, тупость, самодовольство оскорбляли его так, как будто он испытывал их непосредственно на себе. Он болезненно воспринимал всякое нарушение высокого звания коммуниста поведением или разговорами.

В письме 1934 года он пишет:

«...Хотя, сказать по совести, я и сейчас живу немного радостнее и счастливее, чем многие из тех, кто приходит ко мне, и, наверное, из любопытства. У них здоровые тела, но жизнь они проживают бесцветно,

скучно. Хотя у них видят оба глаза, но взгляд у них безразличный и, наверно, скучающий. Они, наверно, меня считают несчастным и думают: «Не дай господь мне попасть на его место», а я думаю об их убожестве и о том, что ни за что бы не поменялся с ними ролью».

Надо ли что-либо еще добавлять к этим строкам, которые с предельной выразительностью говорят сами за себя?

Жизнь Николая в Сочи была действительно ярче и полней, чем у многих: рука его всегда чувствовала, ощущала «пульс жизни», работу партии и комсомола и свое участие и пользу в этой работе.

Вот как заканчивается это письмо от 11 апреля 1934 года:

«Завтра у меня бюро Райкома, на днях пленум, и молодежь поручила мне кое-какие работы, а я ведь не могу быть недисциплинированным — комсомольская честь не позволит. Мне уже тридцать лет, тов. Анна, но мне трудно в это поверить. Как стремительно мчится наша жизнь».

Он и раньше всегда говорил, что ему «не хватает дня, чтобы хоть наполовину отвести душу». Он начинал день всегда полный планов, неукротимой энергии, веселости, благородного упрямства.

Эту силу жизни в нем трудно было уж не говорим согнуть, но даже в какой-то степени расшатать. Если у него случались какие-нибудь неприятности, друзья всегда узнавали об этом случайно, и то уже «в прошедшем времени».

Не помню, кто-то рассказал однажды нам с Марком Колосовым о том, что у Николая Островского трудное материальное положение. Мы, естественно, забеспокоились. Он в свою очередь узнал о наших хлопотах и отозвался на это по-своему характерно, как и на все, что его волновало. Вскоре (в половине мая 1934 года) он написал:

«...Откуда ты узнаешь о небольших неприятностях и прочих моих мелочах житейских? Я ведь никому (подчеркнуто Николаем. — А. К.), в том числе

и тов. Соне[1], не пишу и не писал. Я уже говорил тебе когда-то, что моя экономическая база еще в недавнем прошлом была из рук вон плоха, но это было в прошлом. Но сейчас, когда я ежемесячно получаю от тебя солидные суммы, а также кое-что от издательства, я никак не могу сказать, что я бедствую. Это была бы неправда...

...Вот почему я прошу тебя извинить меня за все эти партизанские выходки моих друзей и приятелей».

Скромный, деликатный, застенчивый, Николай становился суровым, когда дело шло о принципах и убеждениях. Тогда он никому не давал спуску, «в том числе и самому себе».

В мой заезд в Сочи осенью 1934 года он рассказал мне, как происходила его «чистка».

— Я потребовал, чтобы комиссия по чистке пришла ко мне. Один из наших горкомовцев даже, кажется, не поверил, что я говорю всерьез, и начал подшучивать: на что, мол, тебя, друг, чистить, живешь ты безгрешно, как ангел, и тому подобное.

«Извольте, говорю, шуточки оставить. Я член партии, я нахожусь в строю, работаю — и у меня могут быть, как и у всякого человека, ошибки и недостатки. Категорически требую относиться ко мне с такой строгостью, как ко всем членам партии». И я добился своего — комиссия по чистке пришла ко мне!

Сочинская парторганизация, как известно, оказалась чрезвычайно засоренной. Многие звенья партийной и советской работы были развалены. Побывав у Островского, председатель комиссии по чистке рассказал на очередном собрании, как проверяли члена ВКП(б) Николая Островского. Людям, которые во время чистки прятались за ширмы разного рода «объективных причин», он на примере Николая Островского особенно убедительно показал, как надо бороться и побеждать эти пресловутые «объективные» обстоятельства.

Николай рвался в Москву, чтобы быть ближе к

---

[1] Соня Стесина, заведующая редакцией журнала «Молодая гвардия».

друзьям по литературе, к источникам материалов, к необходимой ему консультации и для работы над новым романом «Рожденные бурей».

В Москве ряд товарищей усиленно хлопотали о квартире, но дело продвигалось медленно. К началу декабря 1935 года нам удалось получить для Николая квартиру на улице Горького, в доме № 40.

Несмотря на все дружеские увещания, Николай «не унимался», как мы в шутку это называли, и работал по пятнадцати часов в сутки, растрачивая массу сил на общение со множеством людей, спал мало. Когда я в последний свой заезд в Сочи стала было ему «выговаривать» по этому поводу, он, сделав комически покорное и виноватое лицо, принялся вздыхать и бормотать какие-то несусветные извинения.

Несколько минут я сохраняла серьезность, а потом рассмеялась — и вся моя проповедь пропала.

— Ты же видишь, я безнадежен! — хохотал Николай.

Но это безудержное горение и растрата сил не прошли ему даром. В августе 1935 года состояние Николая сразу сильно ухудшилось.

«Жизнь за мое упорство вернула мне счастье безмерное, изумительное, прекрасное, и я забыл все предупреждения и угрозы моих эскулапов. Я забыл о том, что у меня так мало физических сил. Стремительный человеческий конвейер — комсомольская молодежь, знатные люди заводов и шахт, героические строители нашего счастья, привлеченные ко мне «Как закалялась сталь», зажигали во мне затухающий, казалось, огонь. Я вновь стал страстным агитатором-пропагандистом. Я часто забывал даже свое место в строю, где мне приказано больше работать пером, чем языком.

Предатель — здоровье вновь изменило мне. Я неожиданно скатился к угрожающей черте по состоянию здоровья.

...Но отступление пока продолжается. Я с грустью вспоминаю о том, что еще недавно мог работать по 15 часов в сутки. А сейчас с трудом нахожу силы лишь на три часа — слушать историю гражданской

войны на Украине, плюс работа над сценарием («Как закалялась сталь». — А. К.). Тысячи писем, полученных мной со всех концов Союза, зовут меня в наступление, а я занят ликвидацией внутреннего мятежа. Несмотря на всю опасность, я, конечно, не погибну и на этот раз, хотя бы уже потому, что я еще не выполнил данное мне партией задание. Я обязан написать «Рожденные бурей». И не просто написать — вложить в эту книгу огонь своего сердца. Я должен написать (т. е. соучаствовать) сценарий по роману «Как закалялась сталь», должен написать книгу для детей «Детство Павки» и непременно книгу о счастье Павки Корчагина. Это при напряженной работе — пять лет. Вот минимум моей жизни, на который я должен ориентироваться. Ты улыбаешься? Но иначе и быть не может. Врачи тоже улыбаются растерянно и недоумевающе. И все же долг прежде всего. Потому — я за пятилетку, как за минимум. Скажи, Анна, где найдется такой безумец, чтобы уйти от жизни в такое изумительное время, как наше? Ведь это в отношении страны предательство!

...Я прошу тебя, обратись к критикам от моего имени с призывом открыть большевистский обстрел первых пяти глав («Рожденные бурей». — А. К.), не боясь суровых слов, лишь бы нам на пользу. Мне можно и нужно говорить все, лишь бы это было правдой... Хочу вернуться к вам в Москву этой осенью. Привет всем «молодогвардейцам», Марку и милой Соне».

В этом письме наш друг сделал одну ошибку: «улыбаться» мне и в голову не приходило! Сила жизни и сила сопротивления в нем так велика, его жизнерадостность всегда до такой степени заражала, что я без тени сомнения поверила в его «минимум». Конечно, так оно и будет. Как это может быть иначе?

В ноябре 1935 года я получила от Николая радостное письмо, в котором он писал:

«...На днях ко мне приедет член Правительства для вручения ордена. Это задержит мой отъезд. Также я должен получить еще разрешение на поездку в

Москву, так как я опять прихворнул немного. Когда все выяснится, напишу подробно и точно назначу день. Есть много о чем рассказывать... но жду встречи, в письме всего не опишешь. Горячий привет моим «молодогвардейцам», жму руку Марку. Обнимаю и целую Сонечку... Всего хорошего, мои дорогие!

Преданный вам Николай Островский.

P. S. Привет от моего колхоза».

Мы были заняты хлопотами по устройству квартиры для него на улице Горького, № 40.

Однажды в сутолоке и спешке редакционного дня меня вызвали по телефону из Сочи. На улице задувала метель. Ветер вьюжно пел в трубке, откуда-то врывалась музыка, посвисты, пощелкивания, целая какофония смутных звуков и голосов.

И вдруг пространство будто сразу сплющилось, растаяло, как воск на солнце. Глуховатый грудной голос Коли Островского зазвучал молодо, чисто и так близко, словно он говорил не из Сочи, а с Арбата:

— Да, да... Еду в Москву!.. Одиннадцатого декабря буду у вас. Как только встретимся, сейчас устроим у меня в вагоне заседание «генерального штаба»... Ты мне все новости расскажешь, и я тебе тоже... Работаю я здорово!..

Помню зимний денек 11 декабря, когда мы небольшой группой поехали в Серпухов встречать Колю Островского. Снег падал хлопьями. Как-то сразу, высокий, горластый, ворвался в пушистый туман паровоз.

Когда поезд остановился, мы побежали к ярко-зеленому служебному вагону. Молодая круглолицая женщина, гремя железным совком, вышла на перрон.

— Скажите — это вагон Николая Островского?

— Здесь, здесь, — сразу заулыбалась она.

В купе, где лежал Коля, было темно и жарко.

Слабый свет из коридора бросал на его лицо синеватые тени. Он похудел, но смеялся так заразительно, так сверкали его белые зубы, так играло сухощавое, тонкое лицо, что я, как всегда, забыла о его болезни.

— Вояка возвращается в строй! — шутил Николай, но в голосе его звучали гордость и торжество.

Он рассказывал о встречах, которые устраивала ему в пути молодежь.

— Знаешь, — сказал он мне, когда мы на некоторое время остались одни, — как мне хотелось... — голос его на миг пресекся, — как мне хотелось видеть лица этих чудесных ребят!.. Я так чувствовал их всех, они были так близки и дороги мне, что мне иногда казалось, будто я и впрямь их вижу... Конечно, думал я в те минуты, нет сейчас на свете парня счастливее меня. Но если бы я видел, я бы мог сильнее передать моей дорогой «комсе», как я люблю ее!

Я попыталась перевести разговор на другое, но брови его упрямо шевельнулись — он что-то хотел договорить.

— Вот пойми иногда психологию врачей, — продолжал он, и терпеливо-ироническая полуулыбка скользнула по его губам. — Можно, оказывается, сделать такую операцию, что человек будет видеть пять-шесть дней, а потом опять ослепнет... Это как будто называется резекция зрачка... Впрочем, не в этом суть. Я, конечно, от такого благодеяния отказался. Люди не понимают, что этим они толкают меня не вперед, а назад. Я сумел побороть в себе все волнения, связанные с моей слепотой, а врачи из человеколюбия готовы подарить мне еще худшие страдания. Увидеть вас всех, милые мои, а потом?.. Нет, я победил тьму, приучил себя жить, презирая это физическое неудобство, так не создавайте мне, пожалуйста, новой нагрузки, товарищи медики!..

Николай принялся рассказывать об «охотничьем домике». Это был первый вариант последних глав романа «Рожденные бурей».

— Так и вижу их, этих дорогих моих ребят. Какой жестокий урок они получили!. Они были слишком доверчивы, они не учли всей подлости врага — и вот тяжелейшие минуты доведется им перенести!.. Классовая борьба — это целая наука боев, идейная закалка. Опыт люди накапливают часто очень дорогой ценой. Драма в охотничьем домике заставит мо-

их дорогих ребят много пережить, но и много даст им. При всем своем бесстрашии они сохранили в себе еще немало наивной юношеской романтики. В то раннее зимнее утро они повзрослели чрезвычайно: из охотничьего домика вышла на лесную дорогу не зеленая молодежь, а взрослые борцы великого класса... Как жестоко встретил их, как обстрелял их этот морозный рассвет!.. Но будут бои, где наши хлопцы победят. Победа эта будет такой силы... такой силы...

Он устал, закашлялся, на лбу его выступил пот, и я уже проклинала дружеское и, признаюсь, редакторское любопытство. Я прервала его рассказ какой-то шуткой и перевела разговор на снегопад.

— В самый раз в снежки играть! — оживился Коля. — Желаешь о погоде говорить?.. Понимаем ваши хитрости, товарищ редактор, понимаем!

Он стал вспоминать, как и кого в детстве он «угощал» снежками.

— Скатаешь, бывало, хороший ком, да ка-ак звезданешь!..

Несколько раз на протяжении пути мы, чтобы не утомлять, оставляли его одного в купе. Но пока мы разговаривали в коридоре, из темного купе нет-нет да и раздавалось кстати какое-нибудь веселое, остроумное словцо.

В Москве в вагон пришла делегатка от какой-то школы, девочка лет тринадцати-четырнадцати. Девочка оробела. Большой букет цветов качался в ее руках. Она отчаянно и быстро начала речь, наверно выученную наизусть, но через две минуты запуталась, вспыхнула и спрятала лицо в пышном букете.

— Давай все-таки поздороваемся, — сказал просто Коля.

Девочка обрадованно подала ему руку. Он спросил, в каком она классе, как учится, что читает. Делегатка сразу перестала робеть и оказалась очень живой, непосредственной девочкой. Среди разговора она улучила минутку, чтобы передать «любимому писателю» цветы от школы.

— Уж я так боялась, так боялась, чтобы они дорогой не завяли... и вот довезла!..

В заключение школьница попросила «дорогого писателя Ленинского комсомола» сказать, что хочет он передать через нее всем школьным ребятам.

— Вот... — сказал напоследок Николай, сдерживая тяжелое, усталое дыхание, — вот поговорили мы с тобой, и я как будто в вашей школе побывал. Через людей я чувствую жизнь, борьбу, движение каждой работы... Нет ничего на свете ценнее и прекраснее человека!..

Школьница взглянула на меня — в темных ярких глазах ее стояли слезы.

Через несколько дней мы встретились с Колей уже на новом месте.

В большой высокой комнате было жарко — две солидные электропечи поддерживали температуру летнего полдня — в двадцать пять — двадцать шесть градусов.

Коля в белой вышитой украинской рубашке лежал, как всегда, высоко на подушках. Таким свежим я его еще никогда не видала. Рубашка очень шла к нему. Впалые щеки его порозовели, темно-каштановые волосы мягко распушились над высоким белым лбом; зубы блестели, какая-то особенная, сосредоточенно-счастливая улыбка освещала его лицо. И все находившиеся тогда в комнате любящие его люди весело переглядывались: так играла в каждой черте этого лица сила жизни, чудесная, неистощимая.

Разговор шел весело и шумливо. Кто-то вдруг забеспокоился и спросил хозяина — не очень ли расшумелись гости?

— Нет, нет, уж новоселье так новоселье! — засмеялся он...

Однажды я зашла к нему вечером, когда его трудовой день только что закончился... Коля лежал в своей обычной толстой гимнастерке из армейского сукна и казался усталым. Я спросила, сколько же часов он сегодня работал?

— Да так, мало-мало... — начал он лукавить, а потом признался: — Около десяти часов. Не одобряешь? Но ведь как я наголодался, как стосковался о работе... ей-ей, влюбленные меньше скучают!.. А на-

строение какое после работы бывает — ты же по себе знаешь!.. Ушла моя секретарша, я начал следующую сцену обдумывать и так ярко все увидел, что так бы и принялся опять за диктовку!.. В такие минуты счастливее меня нет человека на свете... И вообще — разве я не счастливый парень?.. Ого, да еще какой!

Он вспомнил, как однажды к нему в Сочи приехала какая-то американская журналистка.

— Она просто впилась в меня: это скажи, то объясни — ужасно въедливая особа!.. Потом ей понадобилось «проконтролировать» работу моего сердца, общее самочувствие и тому подобное. Я слушал, слушал и спросил наконец, зачем ей все эти сведения обо мне, грешном. Она стала говорить вокруг да около: «Знаете, соображения гуманности, любви, жалости к человеку...» Понял я, что она подвижника из меня сделать хочет, стоика не от мира сего... вспомнились мне американские миссионеры, поганый народишко... — и ах, как захотелось мне ее отчитать!.. Но я просто разъяснил ей, каким образом надо подходить к «описанию» моей жизни и почему я считаю себя полезным членом общества.

Жалости, снисходительности, сентиментального отношения к нему как больному Николай не выносил. Попробовал бы кто-нибудь посетовать и ныть над ним, как бы жестоко он высмеял такого человека. Но он был чрезвычайно чуток и сразу распознавал даже малейшую перемену настроения своих близких и друзей.

У него был свой секрет ободрять людей. Он говорил при этом самые простые слова, но они были сильнее многих взрывчато-горячих речей сочувствования. Он старался точно уяснить себе причину чужих волнений, советовал деловито, немногословно, очень мягко и тактично подчеркивая и выделяя то, ради чего, по его мнению, не стоило портить себе кровь.

Это умение разбираться во всем с объективной и страстной серьезностью было одной из самых сильных большевистских черт его характера. Многие молодые писатели на его месте возгордились бы, потеряли бы голову от славы. Коммунистическая скром-

ность и здравый ум счастливо оберегали его также и от ложного стремления как-нибудь «прибедняться».

Выражения любви к его «детищу», которые он обильно получал из читательских писем, он принимал как заработанное трудом. Помню, когда осенью 1935 года я заезжала к нему в Сочи, у нас зашел разговор о Бальзаке. Я рассказала, как на кладбище Пер-Лашез мы, группа советских писателей, разыскали могилу Бальзака и что переживала я.

— Вот труженик был! — сказал Николай. — Если бы я знал, что Бальзаку его создания доставались легко, я не мог бы его любить и уважать по-настоящему. Слово — это же такая трудоемкая работа! Попробуй вырази все, что кипит в тебе, вырази так, чтобы хотя робко ты мог сказать: «Да, это малость похоже на ту бурю и солнце, что во мне...» И пока-то найдешь нужное и, как тебе кажется, настоящее, сколько шлака надо выкинуть. Иногда обозлишься на себя: «Ах, черт!.. Не довелось мне испытать счастья учиться год за годом, накапливать знания не торопясь, постепенно...» Я ведь ночами книги глотал, учился урывками... Эх!.. Потом раздумаешься — и повеселеешь опять: «А все-таки, как ни трудно подчас парню отчаянной жизни, как я к примеру, все-таки каким огромным богатством я обладаю, какую могучую идею жизни и борьбы дала нам наша партия, учение Ленина, это руководство трудящемуся человечеству на века!.. А у кого до нас такие идейные и моральные богатства были? Никогда, ни у кого!.. Думаешь только о том, как бы стать достойным того, что тебе дано. А для этого один способ: работать, работать, чтобы все в тебе горело, как хороший костер!.. Работать не покладая рук, для этого мы живем!»

И каждый, кто хоть раз встречался с ним, знает, как он работал. К большому моему горю, меня не было в Москве в последние недели его жизни. Его последние секретари тт. А. П. Лазарева и Л. Ю. Рабинович рассказывают, как напряженно, несмотря на смертельную болезнь, работал он в последние дни своей жизни. Уставали секретари, работая в две, три смены, а он не знал никаких смен и с подлинным

упорством бойца шел к завершению работы над первой частью романа «Рожденные бурей». Он обещал ЦК ВЛКСМ закончить роман к половине декабря и сдержал слово.

В похвалах критиков он сразу отделял «честность и серьезность» от разных «сладостей».

— Ну, разве не сладость это? — начал он однажды. — Подумай, в одной статье назвали меня ни много ни мало... «великим советским классиком»... У людей все в голове развинтилось... ей-ей... Я же молодой писатель, мне столько учиться надо, а они... Хорошо, что меня подобными восторгами с пути не собьешь. Но чаще всего просто развращают людей такие, с позволения сказать, «оценки»!..

Самым неприятным для него был, как он называл, «подход со скидкой», когда люди говорили не о героях романа, а о «необыкновенной жизни» автора и на основании этого готовы были снижать требования художественного качества, оценивать роман снисходительно, мотивируя это причинами, ничего общего не имеющими с вопросами литературы.

Николай неустанно повторял о том, что ему надо учиться, и он действительно учился с благородной жадностью и любовью к культуре. Он знал, чего ему недостает, но он также хорошо знал и то, в чем он силен. Он не принадлежал к числу тех бледнокровных писателей, которые, обладая, что называется, «внешними» литературными данными, внутренне бессильны, регистрируют, схематизируют, умствуют, но ничего нового, свежего открыть не могут. Он знал, что его герои воплотили в себе высокий пламень любви и ненависти, непримиримую жажду борьбы и победы над врагами трудового народа. Он знал, что бесстрашные, необычайно цельные и сильные характеры его героев родились в этой борьбе, воспитаны революцией, партией, комсомолом и живут не по рекомендации автора, а имеют собственное бытие полноценно художественных образов.

День его проходил по жесткому распорядку. Сут-

ра несколько часов напряженнейшей работы: он диктовал секретарю, потом заставлял перечитывать написанное, раз, другой, третий... Потом небольшой перерыв на обед — и опять за работу. Потом чтение газет, книжных новинок или классиков. Он любил выразительное чтение. Лицо его в минуту слушания выражало какое-то детски-наивное и сосредоточенное внимание. Вечер заканчивался радиомузыкой и последними известиями.

Однажды, собравшись тесным кругом в его комнате, мы слушали концерт, своеобразный подарок Всесоюзного радиокомитета. Концерт был составлен из музыкальных произведений, которые особенно любил Николай Островский. Когда концерт закончился, он заговорил мягко и раздумчиво:

— Вот оно, счастье... Думал ли я, что когда-нибудь буду слушать концерт, посвященный мне, а?.. Это только наши выдумают.

Потом мы разговорились с ним о музыке. Он вспомнил детские годы, когда, бывало, останавливался под чужими окнами, чтобы послушать, как играют на рояле.

— Меня этот инструмент всегда притягивал к себе и изумлял чрезвычайно. Какие чудные, могучие звуки пробуждает в нем человеческая рука!.. О таком инструменте мне, конечно, и мечтать не приходилось... но, когда я выучился играть на гармони, я почувствовал гордость, что из-под моих рук льются звуки песни. Как я любил ее!.. С гармонью мы и на фронте не расставались... хорошо в бой с песней идти!

Он начал вспоминать «беспросветные годы», когда он служил на вокзале «буфетным мальчиком».

— Занятие это было, мало сказать, тяжелое — то принеси, другое принеси, сбегай, дуй, слетай! Уж очень жизнь видел всегда снизу, знаешь, как грязные ноги прохожих видишь из окон подвала. Сколько погибших людей прошло перед моими глазами — не счесть!.. И умные были, и талантливые, и чудаки, бесхитростные, как дети, и озлобленные, как собаки, загнанные на охоте... Сколько ужасных картин унижения человеческого я навидался, я, «буфетный маль-

чик»... И всего жальче, всего страшнее мне было за женщин, за девушек, совсем молоденьких, которые прямо на глазах сбивались с пути... Но чем больше страшного и жалкого я видел, тем сильнее росла во мне думка: «Не могут люди жить так всегда, лопнет у них наконец терпенье... не настоящая это жизнь для человека!.. Жизнь, которая так страшно унижает и губит женщину, нашу мать, сестру, жену... — какая это к черту жизнь, какой это строй?! Только революционеры могут научить мир, как надо ценить и беречь женщину».

Разговор перешел на тему о женских образах романа «Рожденные бурей». Коля заговорил еще горячее. Он хотел показать в романе глубокие, большие чувства любви и дружбы, подлинно нравственное, человеческое отношение к женщине-товарищу.

— Может быть дружба без любви, но мелка та любовь, в которой нет дружбы, товарищества, общих интересов... Это и не любовь, а только эгоистическое удовольствие, нарядная пустышка.

Он заговорил о письме, полученном от одной читательницы — молодой женщины. Она жаловалась, что жизнь ее с любимым человеком сложилась неудачно, что она в нем разочаровалась и т. д.

— Портят себе люди жизнь ни за грош-копейку, — хмурясь, заговорил Коля. — Начнут с шуточки, с этакой размашистой беспечности: ах, личные, мол, чувства! Чувства — это, мол, только мое и твое дело... как хотим, так и устраиваемся. Какое недомыслие!.. Все наши достоинства и проступки в конечном счете достаются обществу, в котором мы работаем и для которого живем. Легкомысленные, себялюбивые люди воображают, что они только себе испортили жизнь, а рядом с ними в самом начале испорчена жизнь их детей... Нет, в этом вопросе человек вполне определенно показывает свою внутреннюю сущность...

Он весело поднял брови и рассмеялся.

— Вот уж в чем, а в таких делах я не грешен!.. Дело прошлое, а могу сказать без всякого этакого молодечества: в дни оны засматривались на меня девчата... а я, как на смех, застенчивый был, неловкий...

Взглянет какая-нибудь Маруся или Олеся — очи голубые или черные... что говорить, хорошо в такие очи глядеться... Но время боевое, горячее, не до этого... Да и разве можно вот так, на ходу, девушку обнимать, кружить ей голову, наговорить семь бочек арестантов, а потом вскочить на коня — и на, ищи ветра в поле, а жизнь молодая испорчена! Конечно, не легко такая трезвость дается. Живой человек — взволнуешься иногда... но я всегда умел взять себя в руки. Вот победила воля, и на душе у тебя хорошо!..

Он засмеялся, протяжно, чуть приглушенно, на миг отдавшись воспоминаниям.

— А знаешь... — сказал он, немного помолчав. — Недавно мне Тоня Туманова написала письмо, то есть не Тоня... ну, ты понимаешь, а та, с которой я написал Тоню. Подумай, не забыла меня...

Он опять забылся, притих и несколько минут молчал, лежал тихий, сосредоточенный, только густые черные ресницы чуть помаргивали. Потом как бы встряхнулся и начал рассказывать о Тоне Тумановой. Жизнь ее не удалась. Инженер, в которого она влюбилась и вышла замуж, оказался слабым и дурным человеком. Она разошлась с ним, живет теперь самостоятельно. Она учительствует, а дети (их двое) учатся.

— Хорошая, душевная была девушка, только для борьбы не годилась. Так нередко и бывало: люди, которые не умели бороться за общее дело, и своей жизни построить не сумели.

Однажды, только взглянув на Николая, я заметила, что он очень бледен и выглядит совсем больным. После некоторого «запирательства» он ответил на мой настойчивый вопрос:

— Глазные яблоки болят... там у меня, наверно, идет воспалительный процесс. Правый глаз в особенности настоящий разбойник, он просто изводит меня... Попадала тебе в глаза когда-нибудь угольная пыль?.. Так вот у меня такое бывает иногда ощущение, что глазное яблоко мое забито этой проклятой пылью... и так-то зверски она там крутит, режет, рвет глаз на части... Недавно был у меня профессор...

Он помолчал, сухо кашлянул и сказал чуть сдавленным голосом:

— Предлагает, во избежание страданий... удалить глазные яблоки... «Что же, спрашиваю, веки мне зашьют или вставят искусственные глаза... стеклянные?» Фу!..

Лицо его передернулось. Он крепко закусил губу, закрыл глаза и как бы сжался весь в одном упрямом желании претерпеть, преодолеть.

— Я тогда сказал, что должен думать не только о себе, но и о людях, которые общаются со мной... — заговорил он после тягостного молчания. — «Подумайте, говорю, приятно ли будет моим друзьям смотреть на такого красавца... с этакими... как их... черт... искусственн...» Не могу!.. «Нет, говорю, как бы тошно иногда ни приходилось, останусь я со своими глазами, они у меня хоть слепые, а черные. Верно ведь?»

И пальцы его, тонкие, нервные, всегда словно говорящие на своем, особом языке, сжали мою руку. Больше всего я боялась в ту минуту «раскваситься», чего он не выносил. Я взяла в обе руки его холодноватые, словно озябшие, пальцы и тоном нежной шутки начала говорить о том, что, если бы он был, например... рыжим, как медь, и горбоносым, как мальчик из сказки Перро, мы его любили бы ничуть не меньше.

Он улыбнулся. Он любил и умел шутить, радовался чужой шутке и смеялся так заразительно, что только безнадежный ипохондрик мог в такие минуты оставаться спокойным.

— Минимум еще пятилетку мне надо протянуть, — говорил он просто и деловито, — а то ведь со второй и третьей книгой работа предстоит колоссальная. Надо разоблачить подлую политику ППС и польской фашистской военщины... Наконец, сами ребята выравниваются в большевиков.

Партизанская война, расширяясь, втянет в себя новые силы, новых героев... Кое-кто из знакомых нам ребят погибнет — и жертвы неминуемы в такой яростной борьбе.

— Андрей спасется?

— Обязательно! — гордо вскричал он. — Андрей

наш попадет в Красную Армию... Правда, пробьется он туда буквально из-под польских сабель... Олеся — не решил пока, как с ней быть... Но подумываю, что Андрей и Олеся свое счастье заработали... Но все это начерно, а многое и совсем не продумано... А далее — показать хочу Советскую Украину, петлюровщину, советско-польскую войну, разгром всех банд, которые рвали нашу землю с запада... Много работы, уйма-а. И трудно — круг очень широк...

Он замолчал, тихонько вздохнул и сказал мечтательно:

— Да-а... пожить бы еще пять годков... а потом, что ж... уж если и вышел бы из строя, так по крайней мере знал бы, что наступление выиграно.

«Наступление», «бой», «упорство», «победа», «строй» были его любимые слова, которые он произносил как-то особенно подъемно и горячо. Однажды я сказала ему об этом. Он улыбнулся, медленно свел к переносице пушистые длинные брови, как всегда делал в минуты глубокого и радостного раздумья.

— Как же мне не любить их, такие слова, в них для меня главное выражение жизни...

Помню, каким счастьем горело его лицо, когда он получил военную книжку от Наркомата обороны.

— Меня числят в строю бойцов!.. Ни одной вражеской башки не снесет больше моя рука — но не все потеряно для меня. Начнись только такая заваруха, перо мое будет работать, как шашка в бою... Могу вас заверить, товарищи!..

Однажды у нас возник разговор о дружбе. Вдруг Коля спросил, почему мы с Марком Колосовым сравнительно редко бываем у него. Есть немало людей, которые бывают у него чуть ли не каждый день. Я сказала, что в частых и каждодневных посещениях не вижу надобности. Во-первых, мы не хотим его утомлять, потому что на общение с людьми он тратит массу сил физических и духовных. Во-вторых, мы не хотим и отнимать время у других, кому очень полезно общаться с ним, например нашей молодежи. И в количестве ли посещений дело? Художнику даже нужно оставаться одному, обдумывать, размышлять без помехи,

поговорить со своими героями, так сказать, один на один. Для него такие часы особенно важны и необходимы — ведь самый процесс его творчества происходит «на людях», и это вдвойне трудно, если не сказать больше. Все это мы учитываем — и потому будем в отношении посещений его придерживаться и впредь того же порядка, какой мы установили для себя. А что касается опять же внешних выражений нашей дружбы и любви к нему, то на этот счет у него имеются, как мне кажется, вполне достаточные доказательства, не правда ли?

— Правда, правда! — подтвердил он взволнованно.

Разговор скоро перешел на другое. Не помню, как коснулся он обширной переписки Николая. Он оживился, вспомнил многие чрезвычайно интересные письма, своеобразные человеческие документы, при чтении которых «душа радуется», потом вдруг начал рассказывать, в каком порядке находится вся его переписка.

— Вот на случай, если придется тебе когда-нибудь разбирать мои бумаги, ты все очень легко найдешь — у меня каждый клочок бумаги свое место знает... люблю порядок, я человек военный...

Дома у меня все знали, когда я бывала у Николая Островского, о чем мы с ним разговаривали и даже о каких моментах романа «Как закалялась сталь» или «Рожденные бурей» шла у нас с ним беседа в тот вечер. Вся моя семья с большой нежностью относилась к Николаю Алексеевичу, а мой муж и мои дети очень хотели увидеть его. Но не так-то просто было явиться к нашему другу с целой группой нежданных гостей — к нему и без этого уже столько приходило людей, что надо было щадить его время и силы. Однажды (в декабре 1935 года), я проговорилась, что мой муж и дети уже давно нетерпеливо стремятся увидеть Николая Алексеевича, — когда можно было бы им зайти к нему?

— Да пусть сейчас же придут! — взволновался Островский и взял трубку, которая всегда лежала у него под правой рукой.

— Как зовут всех твоих? — спросил, вдруг просияв быстрой, мальчишески-лихой улыбкой. Я сказала.

Он снова спросил, сколько лет моим детям, как учатся. Я ответила. — Добре! — еще веселее сказал он и, сжав трубку тонкими пальцами худой руки, вызвал телефонный номер моей квартиры. Все оказались дома, и с каждым он поговорил кратко, но так остроумно-душевно, что, даже не слыша ответов на другом конце провода, я уже представила себе, как живо вся моя семья отозвалась на его ласку: «Приезжайте же скорее, я вас жду, милые мои друзья!»

Ожидая их, Николай расспрашивал меня обо всех, какой у кого характер, как дети мои учатся, что читают и т. д. Потом он сказал, что особенно приятно ему общаться с юностью, у которой еще вчера «было детство», что это поколение — «самый милый и непосредственный народец...».

Его смешливое настроение передалось мне, но... кое-что я недоучла. Часто бывая у Николая Алексеевича и всегда радуясь его творческой активности и оживленню, я просто забывала, что нахожусь в комнате больного, пригвожденного к постели, слепого и беспомощного. И тут, ожидая своих, я забыла, что они никогда не видали такого тяжело больного человека и поэтому их впечатления от него не могут быть одинаковыми с моими. Он не сразу почувствовал растерянность двух школьниц и, крепко пожимая их руки, называл их «сестренками», а себя шутливо рекомендовал: «Еще не столь старый братец». Мой муж, в те годы человек цветущего здоровья, потрясенный, молча смотрел на общего нашего друга, бесконечно жалея его.

Николай Алексеевич скоро почувствовал его настроение и растерянность моих девочек.

— Что, сестренки, принумолкли? Или уроки еще не готовы? Может быть, устроить вам кой-какой спрос... а? — шутил он. — Ну, кто кого «поймает» — вы меня или я вас?

Когда дочки и все мы рассмеялись, он воскликнул весело, но с легким оттенком иронии:

— Ну вот, «довел»-таки до смеха!

Однако тут же ласково подозвал «сестренок» поближе к изголовью. Они послушно сели возле него.

— Дайте мне ваши юные ручки! — нежно сказал он и, поочередно сжимая своими тонкими пальцами полудетские ладони двух школьниц, продолжал каким-то особенным, проникновенным голосом: — Милые мои... когда еще доведется вам увидеть человека, с которым природа поступила очень жестоко... — он чуть приостановился, — вы не удивляйтесь ничему и не бойтесь за него!.. Человек все-таки больше природы... да, больше и даже сильнее природы... запомните это, милые мои!..

— Запомним... да.. — взволнованно прошептали обе и посмотрели на Колю Островского так, будто он мог видеть их.

Мы с мужем перевели разговор на какую-то новую тему, потом все слушали музыкальную передачу. Не припомню, что именно передавали тогда, но, конечно, что-то любимое Островским: он слушал, весь отдаваясь мелодии и тихо улыбаясь чему-то.

Долго еще в моей семье вспоминали тот зимний вечер в комнате нашего друга. И сам он потом не раз спрашивал о всех моих, передавал им приветы и добрые пожелания. Если выдавалась такая неделя, когда я не могла приехать к нему, он, в мое отсутствие, справлялся по телефону у Г. М. Караваева, здорова ли я и не появилась ли у меня какая-то «новая и беспокойная нагрузка» и т. д. Однажды, придя домой, я застала Г. М. за таким телефонным разговором, когда чувствовалось, что оба собеседника в отличном настроении, беседуют с юмором и острят.

Пока я снимала пальто в передней, телефонная беседа закончилась.

— А знаешь, — сказал мне муж, — Коля просил тебе напомнить о наших с тобой ученицах в Совпартшколе, которых он уже называет «героинями будущего романа».

Но ничего определенного он Коле ответить не мог, так как знал, что я работаю над очерками о Парижском конгрессе. Летом 1935 года в Париже происходил Первый Всемирный антифашистский конгресс писателей, — говоря точнее, он назывался: Всемирный конгресс защиты культуры против войны и фашизма,

Как член делегации писателей СССР, я видела на том конгрессе много неповторимо интересных событий и встреч и, естественно, зажглась мыслью поскорее обработать мои дневниковые записи, которые потом составили книгу «Июнь в Париже».

История же двух девушек, которых Николай Островский уже считал «героинями будущего романа», была ему мной рассказана еще задолго до поездки моей на конгресс. Николая всегда очень интересовали проблемы культурно-политического роста советской молодежи, ее духовных запросов, становления характера и т. д. С первым поколением комсомола, к которому принадлежал и Николай Островский, мне довелось встретиться в начале 20-х годов, когда я была преподавателем Совпартшколы. Он любил расспрашивать о своих ровесниках, а мне было приятно рассказывать о многих замечательных ребятах, которые жадно учились и в течение всех двух лет школы, как правило, делали большие успехи в своем духовном мужании.

— А девушки как? — спросил Николай.

Девушек в школе было гораздо меньше, но были у них свои отличительные черты. Среди комсомольцев, наряду с очень способными и яркими натурами, были и медлительные середнячки. Зато девушки все были исключительно старательны, любили читать «сверх учебной программы» и очень дорожили каждым днем ученья. Мне были известны (по их же рассказам) несколько по-своему типичных историй этих девичьих жизней. Николай Алексеевич слушал мои сжатые рассказы о наших девушках особенно внимательно и временами горячо одобрял: «вот чудесно», «хорошо», «молодчина дивчина» и т. д.

— Ты не удивляйся этой горячности, — объяснял он. — Успехи девушек меня как-то особенно трогают и радуют.

Почему он убежден, что «дивчине всегда и всюду труднее, чем парню», даже если это храбрая военная девушка? Физически она слабее, а иная «такая гордая, что и показать этого не хочет», и потому ей «солоно приходится». Обидеть девушку-воина бывает легче

и проще — редко ведь кто из них «браниться умеет». На войне «кое-кто грубеет и тупеет и забыться хочет за счет хорошей дивчины», которая не всегда умеет резко оборвать «такого любителя забвения». Бывает, что девичье старание и отвагу меньше ценят и даже забывают, что ей-то они дороже обходятся, «чем молодому силачу».

Особенно понравилась Коле история двух девушек, участниц гражданской войны. Обе воевали в кавалерийской части: одна была конник, а другая — военный фельдшер. Свои короткие, но очень выразительные жизненные истории девушки рассказали просто потому, чтобы «кому-то передать, что сами видели и пережили».

— И вот видишь, у тебя в руках не только история молодых жизней этих славных девчат, но и всех, с кем они дружили и против кого они боролись!

И Николай Алексеевич заговорил на одну из любимых им тем. Он не раз развивал мысль о том, насколько «прямее и короче» путь познания действительности для человека в коллективе — среди рабочих или среди бойцов за советскую власть. Кроме того, в этих историях двух девушек, участниц гражданской войны, ему нравилось, что обе подружки «не огрубели», не стали «лихими девчонками», которые состязаются с парнями в наборе «всякого языкового мусора» и выдают это за храбрость! Нет, обе эти подружки «естественные, человечные девушки», и каждый разумный человек рад будет такую девушку полюбить и «вместе шагать по жизни».

— Все есть для романа, решительно все, — повторял Коля. — Начинай работу!

Но в это время я была занята работой над книгой «Июнь в Париже». Я даже считала не только своей творческой, но и нравственной обязанностью рассказать людям о том, как писатели на всей земле разоблачают и борются с черными делами фашизма. Срок сдачи книги в производство, как мной было ранее обещано, уже истек, нужно было торопиться, и в этом напряженном состоянии, конечно, работать над романом было невозможно. Коля Островский отлично все это

понимал, но, как он сам признавался, его тревожило, чтобы «не захватило» меня опять какое-нибудь примечательное событие.

— А меня очень волнует судьба Лены и Маши! — повторял он со своей обаятельно-лукавой улыбкой.

Лена и Маша — так названы были мной две главные героини будущего романа «Лена из Журавлиной рощи». Истории этих девушек, как и других комсомольцев эпохи гражданской войны (тоже рассказанные мне моими друзьями — курсантами Совпартшколы), не только напоминали Коле Островскому его собственные комсомольские боевые годы, но и казались «типичными и трогательными».

— Времени у тебя, кроме того, остается немного, — продолжал он излагать свои неопровержимые доводы. — В тридцать восьмом году будет двадцатилетие ВЛКСМ!.. Значит, надо, и обязательно надо, чтобы «Лена из Журавлиной рощи» вышла к двадцатилетию комсомола!..

Все это было мне абсолютно ясно и сердечно близко. Книга о писательском конгрессе неожиданно «вклинилась» в мой творческий план и, конечно, помешала той внутренне-подготовительной работе, которая в литературном нашем просторечии называется «вживанием» в образ. Понимая, что из-за этого «вклинивания» мне предстоит особо целеустремленная работа над романом, я тем не менее уверяла Николая Алексеевича, что до 1938 года «Лену» я, конечно, закончу. Но этого ему было мало.

— Я тогда, родная, успокоюсь, когда ты мне скажешь, что первая глава романа уже написана!.. Вот!.. — И далее Коля решительно сказал: — Обещай мне, во-первых, ничем новым «не искушаться», а вовторых — прочесть мне вслух те места из первой главы романа, какие тебе захочется прочесть.

То и другое было ему торжественно обещано. Однако и я тоже взяла с него обещание: никому не рассказывать о наших разговорах о моем новом романе, который еще и не начат.

— Так-таки никому? — спросил он со своей дет-

ски-обаятельной лукавой улыбкой. — А, например, твоему Григорию Михайловичу?

— О, ему можно! — засмеялась я, считая, что теперь все прояснено и, значит, больше уже не о чем Коле беспокоиться. Но оказалось, что я, зная характер «старого комсомольца» Николая Островского, не все могла предугадать в нем.

Вспоминается вечер у меня дома в январе 1936 года. Телефонный звонок. Г. М. берет трубку. Это звонит Островский. В тишине нашей рабочей комнаты я хорошо слышу в трубке его глуховатый голос с его привычным четким подчеркиванием того, что Николай считал важным. Уже по началу телефонного разговора можно было уверенно судить о том, что за те дни, которые я не была у него, он отлично был осведомлен обо всех моих делах: оказывается, он уже несколько раз вот так же разговаривал с Г. М. по телефону, прося при этом «никоим образом» не тревожить меня. А я в другой комнате для сокращения времени диктовала машинистке страницу за страницей рукопись законченной книги «Июнь в Париже». В тот вечер, о котором идет речь, я уже просматривала перепечатанные на машинке страницы. Предполагая, что я еще нахожусь в другой комнате, Коля выразил Г. М. свою «радость и удовлетворение», что уже теперь «Лена и Маша должны войти в жизнь». А когда Г. М. ответил, что уже есть набросок первой главы романа, в голосе Коли Островского зазвучала такая светлая братская радость, что я не выдержала, взяла трубку и подтвердила сказанное Г. М.

— Ну! Теперь я спокоен: Лена и Маша уже в пути! — произнес мне в ответ Островский и засмеялся с таким радостным и глубоким удовлетворением, что мы с Г. М. переглянулись, безмерно растроганные, а потом еще долго вспоминали о нашем милом романтике.

Г. М. взволнованно рассказывал, что, давно симпатизируя Николаю Островскому, за эти дни он его просто полюбил. В этом человеке, чья молодость разбита беспощадной болезнью, столько чудесной любви к жизни, к людям, столько благородного интереса к работе друга, столько братской заботы о нем,

Расставаясь на лето с Николаем Островским, я прочла ему два-три отрывка из четвертой главы.

— Я счастлив за тебя! — сказал он.

Я попросила его больше не тревожиться о «Лене из Журавлиной рощи», а отдыхать безмятежно, наслаждаясь сочинским солнцем. Поговорили об осенних планах и назначили встречу на октябрь — ноябрь, когда он уже вернется в Москву. Потом со своим милым украинским юмором он рассказал о чем-то смешном, и тут пошли разные шутки. Мы так смеялись, что Екатерина Алексеевна, заглянув в комнату, весело спросила, с чего это нас сегодня «так разобрало»?

Мне потом все представлялось, что осенью мы увидим нашего друга непременно поздоровевшим, даже с легким загаром, — ведь там он целый день пребывает в беседке, на свежем воздухе.

Но встретиться больше нам не пришлось. Вернувшись из Крыма в Москву только в декабре, я была у Николая Островского в день его смерти.

Эти страницы в моих воспоминаниях о Николае Островском появляются впервые — в прежних изданиях их не могло быть: Г. М. Караваев при жизни, конечно, воспротивился бы этой публикации. А позже меня остановила другая причина: эти странички воспоминаний слишком близко связаны с моей творческой работой. Но когда много лет спустя я рассказывала некоторым товарищам об этой дорогой моему сердцу братской и художнической заботе Николая Островского о моем романе, все мне настоятельно посоветовали опубликовать эти страницы: ведь главное здесь все-таки относится к личности Николая Островского. Прежде всего в нем, молодом писателе, хочется отметить удивительно тонкое чутье к явлениям индивидуально-глубинного свойства.

Бывает, что называется, у самого сердца живут в нас воспоминания, картины, события и образы людей, полные живых красок и звучания, — а мы почему-то совсем не торопимся ввести в жизнь именно этот материал, в который мы так давно вжились и который

лежит у самого сердца!.. Мы увлекаемся иногда чертами и явлениями сегодняшнего дня, облик которых еще не определился, так как они переживают еще период становления. А мы, торопя время, объективные, вне нашей воли, события, жадно прорываемся вперед, как нетерпеливый путник, готовый шагать по недостроенному, шаткому мосту. А вот давнее, заветное, отстоявшееся, как хрустально-чистая вода в лесном озерце, — о, это может подождать, оно всегда при мне, тут торопиться нечего. Вот эту противоречивую «логику» и почувствовал Николай Островский — и не мог согласиться с ней. Сколько раз он говорил и писал мне: «Тороплюсь жить!» Эти слова звучали и как приказ самому себе. Он считал себя обязанным «торопиться жить», потому что «беспощадная природа» не оставляла ему никаких иллюзий. Он ничего не мог откладывать, ему оставалось одно — торопиться жить. А когда он убедился, что один из его друзей неторопливо держит под спудом, как он однажды выразился, «целую галерею» образов наших современников, — его целеустремленный характер бывшего конника заставил его вмешаться в это дело. Но это еще не все. Советский человек живет во времени, и время — в нем, и та эпоха, которую довелось видеть и пережить одному поколению, уже не повторится для другого, — и потому все неповторимое остается за человеком, который сам видел и слышал, — это Николай Островский тоже отлично понимал. Была у него и «хозяйственно-романтическая забота» о литературе; как он потом не раз говорил: каждый писатель должен заботиться о «молодежном книжном фонде». Комсомол должен читать «не первое случайно попавшееся сочинение», а ту книгу, которая создана для него, которая помогает ему «больше знать, глубже чувствовать, упорнее и смелее бороться». В празднике двадцатилетия ВЛКСМ, как он был твердо убежден, «должны участвовать сотни, тысячи книг»! Вот еще почему он так старался для «Лены и Маши», как с лукаво-ласковой улыбкой говорил он потом. Вспоминая его письма и замечания по поводу разных встреч с писателями разных поколений, я всегда чувствовала, как жизненна его наблюдатель-

ность. Он не видел лиц, но слышал голоса и, вслушиваясь в слова и мысли собеседников, «осваивал» их особым внутренним зрением. Отмечая сильные и благородные черты нашей литературы, он примечал и немало такого, что ему казалось мелким, себялюбиво равнодушным ко всему, что вне «моего несравненного «я», — как иронизировал Николай Островский. Кто-то кого-то «не признает» или просто «не замечает», и какое кому дело до соседа: только бы я помнил, я бы знал, я бы учитывал, а что рядом со мной, о том пусть тревожится кто-нибудь другой.

А вот Николай Островский думал и о том, что рядом с ним, и тревожился за друга, если считал это необходимым. Потом, когда его уже не было на свете, мне думалось: в течение ряда месяцев роман «Лена из Журавлиной рощи» уже обдумывался и творился в моем воображении и, конечно, был бы написан раньше. Роман «Лена из Журавлиной рощи» сначала был напечатан в журнале «Молодая гвардия» и вскоре вышел отдельным изданием к двадцатилетию ВЛКСМ.

Много лет прошло, но до сих пор я с грустной нежностью вспоминаю об этой сердечной заботе моего дорогого друга.

Николая Островского невозможно забыть. Никогда не забудут его друзья и многомиллионные читатели социалистической нашей родины. Никогда не сотрется в памяти его облик, полный высокого мужества и преданности делу социализма. Это был редкостно обаятельный, трогательно чистый и милый человек.

1936—1962





О БОРИСЕ ЛЕВИНЕ

В начале тридцатых годов в одном из московских толстых журналов появилась небольшая повесть «Ревматизм». Автор — новое имя: Борис Левин. Начало повести выглядело ясно и привлекательно — так с первого взгляда чувствуешь себя легко с человеком, который держится просто, умно и естественно.

«Командир Карпович сидел в приемном покое лагерного госпиталя. Дежурная сестра в белом халате и сандалиях на босу ногу спрашивала его. Сестру кусали комары. Она вздрагивала, встряхивалась и яростно била себя по искусанным местам. Карповича тоже кусали комары, но ему было все равно. Он сидел согнувшись, запыленный и терпел».

Этими скупыми, но бережными и мягкими штрихами автор вводил читателя в жизнь произведения.

С первых же страниц развитие повести обещало грусть, боль, несчастье, но вместе с тем чувствовалось, как сдержанно и вдумчиво рука художника наносила краски, как разборчиво отсеивала детали, искала свежести и точности: «Белоснежное полотно синело и пахло огурцом...», «Веснушки на мочках», «Оранжевый воздух», «В небе семафором повисла радуга...»

Казалось, что и от всей этой повести тоже пахнет огурцом, травой, солнцем, — так неназойлива была ее свежесть и душевность. Она походила на человека, который не подозревает о своем обаянии и не старается быть приятным, — оттого-то с ним так легко и свободно. Авторская манера Бориса Левина делиться мыслями с читателем тоже подкупала своей прямотой и ясностью.

«Карповичу было душно. Он вспотел. Во рту сухо и жарко. Ему очень хотелось пить. Хотел слезть с кровати, чтобы добраться до чайника, но жгучая боль во всех суставах не позволила ему пошевельнуться.

«Что это такое? — подумал он в ужасе. — Я не могу двинуться с места». — «Да, ты не можешь двинуться с места», — нагло ответили ему ноги».

Так человек попадает в плен болезни, ревматизм становится беспощадным хозяином его бытия. Вся его физическая природа, которой он прежде владел, будто не замечая этого, теперь ополчается против него и «нагло» обрывает каждую его попытку «двинуться с места». Человек надел «ношеный, очень широкий, цвета глины халат и сразу стал жалким», а «на опухших ногах загремели козловые туфли». Однако, если бы писатель не пошел дальше этой точно и верно написанной картины пленения человека ревматизмом, было бы одной «больничной» повестью больше — и только. Но у Бориса Левина пленником ревматизма был не просто больной человек, а человек-боец. В больничном покое советский человек почувствовал себя отрешенным, непоправимо отставшим от жизни.

«Заснуть он не мог. Дождь все усиливался и все шумел, как темный лес. Карповичу показалось, что он на каком-то глухом полустанке отстал от поезда. Он выскочил за кипятком, а в это время поезд с его товарищами ушел. Он бродит по полустанку с пустым чайником. Крышка от чайника болтается на веревочке и гремит. Никого. Все разбежались. И вот-вот сейчас должен нагрянуть казачий разъезд».

Вот в чем источник мучений больного командира Карповича: страшно отстать! Страшно, чувствуя себя неподвижным и беспомощным, провожать растерян-

ным взглядом мчащийся на всех парах, великолепный, сверкающий поезд жизни.

Откуда она, эта упорная жажда идейно-культурного роста, это неустанное беспокойство и требовательность к себе человека, прикованного болезнью к постели? Их дала ему жизнь, борьба за советскую власть, их воспитала в нем Коммунистическая партия. В свое время он, сын почтового чиновника, был одним из желторотых птенцов, которые, обманутые шовинистическими лозунгами издыхающего царизма и русской буржуазии, прямо с гимназической скамьи шли добровольцами на германский фронт. Так сделал и он, Карпович.

Автор вселяет в нас уверенность, что если бы Карпович не пошел за призывами партии и советской власти, то он или обратился бы в ничтожество, или просто погиб... «Кругом была смерть. И вдруг революция. Довольно! Генуг! Товарищи немцы, мы не хотим умирать! Вы не хотите умирать! Я не хочу умирать!»

Хотя эту страницу своей биографии Карпович вспоминает в бреду, однако мы не сомневаемся, что и в действительности в переломный момент своей жизни он произносил именно эти простые и горячие слова, которые тогда произносили миллионы людей. Да ведь и сама биография Карповича совершенно родственна биографиям многих юношей из трудовых интеллигентских семей, восторженной зеленой молодежи, которая вместе с рабочим классом и крестьянством дралась на фронтах гражданской войны за советскую власть.

Конечно, эта молодежь не имела и не могла иметь революционной закалки рабочего класса и органичности его мировоззрения. Эту молодежь нужно было воспитывать, учить, закалять.

Смысл жизни этого скромного, неловкого Карповича с некрасивым рябым лицом заключается в том, чтобы работать для страны и ее народа. Ведь потому с такой горечью и беспокойством Карпович переживает свою болезнь. «Обидно умирать на кровати от ревматизма», когда, по выражению комиссара полка, «пятилетка на дворе». В предсмертном бреду он видел перед собой не опостылевший ему лазарет и ревматизм,

а видел героику революционной борьбы. Ночью, в бредовом сне, пришел к нему комиссар Федя Мишин, которого повесили белые.

«— Вставай! — сказал он ему, — пора идти в наступление.

— А куда же ты исчез давеча? Ведь ты с Людой тогда приходил и вдруг исчез?

— Это тебе снилось. У тебя был бред. А сейчас мы все тут. И комбриг Моргунов, и Терентьев, и Бирштейн, и Горбов, и Великс. Все твои убитые товарищи давным-давно собрались и ждем твоих приказаний, а ты дрыхнешь. Ведь сегодня ты должен повести нас в бой. Вставай!»

Пробиваясь в бреду сквозь вражеское кольцо белых, на гребне великой любви и ненависти, умер от суставного ревматизма командир Карпович. Но тогда мало кто из наших критиков понял и почувствовал смысл жизни и смерти скромного Карповича.

Рапповская критика обвиняла Бориса Левина в «интеллигентщине», в мещанстве, в «упадочничестве», обозначала его «место» в литературе как «внутрирапповского попутчика» и т. д. Этих критиканов «не устраивал» левинский герой, как, впрочем, и все последующие. Нет, вы только подумайте, что это за «герой»! Он не произносит ни одной красивой, героической фразы, а говорит смешно, сбивчиво, сентиментально влюбляется в сестру милосердия, мечтает о женитьбе («Жена будет. Дети. Еще хорошо б, чтобы поблизости озеро или река»), — ей-ей, кому интересно, что этот некрасивый, рябой человек так и не успел жениться и обзавестись семьей?.. Словом, образ командира Карповича никак не походил на тех ловко сконструированных, «обтекаемых» героев, жизнь и характер которых так легко можно было измерять, регламентировать по полочкам и разрядам очередной литературной «моды». На командира Карповича смотрели как на случайно забредшего на поля литературы безродного человека. А между тем Карпович совсем не безродный, и родственники у него в русской литературе имеются, и, право же, очень неплохие. Мне вспоминается капитан Тушин, скромный, робкий

артиллерист, в котором не было ничего «поразительного», один из героев «Войны и мира», тот самый капитан Тушин, который с благородным упорством воина сумел удержать свою батарею под огнем французов. Капитан Тушин не занимает в романе Льва Толстого сколько-нибудь видного места. Где уж ему, скромному работяге и солдату Отечественной войны, блистать в гостиных или быть героем романа, например, Наташи Ростовой, — ничего такого и вообразить невозможно. Капитану Тушину в романе только и оставалось — отстаивать свою батарею от вражеского огня. Но мы знаем, что Лев Толстой любил его, этого малозаметного героя. Он считал, что русская армия сильна именно вот такими Тушинами, средними людьми, честными воинами.

И еще есть родня у Карповича: некрасивый и робкий офицер, герой чеховского рассказа «Поцелуй». В темноте, неизвестная, невидимая, поцеловала его женщина. Чеховский штабс-капитан Рябович знал, что поцелуй предназначался не ему, что произошла ошибка, но, несмотря ни на что, он был незабываемо счастлив, как бывают счастливы люди только раз в жизни, потому что «судьба в лице незнакомой женщины нечаянно обласкала его». Мы даже уверены, что тот, кому предназначался поцелуй, совсем не обладал глубиной и чистотой чувства, которое таилось в груди робкого офицера. Карпович в отношении ласки судьбы ошибся гораздо больнее, чем капитан Рябович: любимая женщина Карповича изменила не только ему, но и советской власти. Но Карпович, одинокий холостяк, обойденный личным счастьем, не из тех, кто озлобляется и завидует. Он готов радоваться вместе с теми, кто счастливей его, как он радуется новому успеху советской жизни. Коммунар-артиллерист рассказывает ему о своей коммуне: «Первые годы трудно было. Хлева холодные. Корова, как медведь, шерстью заросла. Откуда же у нас молоко? Пока не обстроились, порядочно натерпелись. Многие уходили из коммуны, а сейчас обратно идут. Возвращаются».

«— Возвращаются, говоришь? — переспросил Карпович и радовался. Он радовался тому, что где-то ком-

муна «Первое мая», где большой сад, тракторы. Где коровы больше не зарастают шерстью, как медведи, и дают много молока». Получив письмо от старого фронтового товарища, Карпович от всей души приветствует чужое счастье. «Как хорошо жить на свете!» Карпович умер, и читателю жаль, что одним хорошим человеком стало на свете меньше.

О первой повести Бориса Левина хочется говорить подробно, потому что в ней, как в зерне, рождающем урожай, ясно и полно выражены главные черты его творческого облика: любовь к советскому человеку, к советской действительности, тонкое чувство детали, юмор, мягкая насмешка и грусть, а наряду с этим умение остро и точно провести линию, определяющую водораздел, лаконизм, а вместе с тем хорошая, подлинно лирическая наполненность фразы, живой и выразительный диалог. Этот лаконизм, юмор, точность глаза, умение нащупать наиболее динамические линии сюжета Борис Левин приобрел в своей журналистской работе, сотрудничая в юмористических журналах («Красный перец», «Крокодил»). Что касается лирико-интимных нот в голосе этого писателя, то, немного забегая вперед, скажем, что некоторые критики не сумели распознать природу этого лиризма. Но об этом речь впереди.

На каком-то собрании меня познакомили с Борисом Левиным. У него была смущенная улыбка, сухощавое лицо, небольшие живые глаза. Они жмурились и помаргивали, словно он, зорко и памятливо все замечая, в то же время стеснялся показать это. У него была легкая походка человека, привыкшего ходить много и быстро. Идя, он слегка выносил вперед то одно, то другое плечо, и в этом движении чувствовалась еще совсем юношеская застенчивость. Он говорил негромко, держался скромно и просто. Смеялся он, слегка захлебываясь, с приятной хрипотцой, и зыбкие морщинки весело лучились вокруг глаз, а лицо делалось лукавым и добрым.

Уже не помню, по поводу чего выступил на том собрании Борис Левин, да и речь его была краткой, но содержательной. Один из записавшихся ранее орато-

ров после выступления Б. Левина отказался от своего слова, заявив при этом, что не только присоединяется к сказанному, но и считает: точно и хорошо выраженную другим мысль лучше не повторять, а просто с ней согласиться. Многим это заявление понравилось, а кое-кого и насмешило немного, раздались сочувственные аплодисменты как в сторону отказавшегося от своего слова оратора, так и Бориса Левина. Он смущенно отмахнулся и пробормотал: «Ну что вы в самом деле!»

Мне вдруг подумалось: «Как он похож на своего героя — Карповича!»

Во время перерыва я, смеясь, заметила Левину: видно по всему, что он не только сам не любит длинных речей, а и других умеет заражать этим настроением.

Борис Левин мягко улыбнулся и виновато развел руками.

— Действительно, я не люблю выступать... разве только по необходимости, как в данном случае.

Потом, помолчав и застенчиво двинув плечом, с мягкой улыбкой добавил:

— Вообще мы слишком много все говорим... а по-моему, писатель все главное и заветное высказывает в своих книгах.

Мне захотелось рассказать этому симпатичному и застенчивому человеку, как мне понравился его Карпович, герой повести «Ревматизм».

Выслушав мои добрые слова, Левин смущенно поклонился, помаргивая лучистыми глазами, вздохнул:

— Да, бедняге не повезло.

Он так сказал о Карповиче, будто знал его давным-давно и даже бок о бок жил с ним, как с братом в одной семье. Я ожидала, что Левин скажет сейчас, как это и бывает в разговорах между литераторами, что-нибудь вроде: «А знаете, встречался я с... (таким-то)» — и т. д. Но он ничего больше не сказал и только с улыбкой пожал плечами, словно досадуя на свое неумение рассказывать о себе.

Однажды я столкнулась с ним на площадке Дома литераторов, когда он только что распрощался с мо-

лодой и, похоже, очень напористой сотрудницей какой-то газеты.

— Уф-ф! — тихонько произнес Левин, заговорщицки скосив глаза на бойкую девицу, и вытер лоб.

— Что? Интервью?.. Вижу, вижу, не любите рассказывать о себе!

— Но зачем это нужно? — искренне удивился он. — Да и разве можно все рассказать, что тебе думалось во время работы или подготовки к ней?.. Многие мысли и настроения даже пропадают, как черновые, несовершенные... ты и сам потом забываешь о них!.. И вообще... вся эта внутренняя картина работы над произведением, как называет ее виденная вами журналистка, право же, куда более глубокая вещь, чем ей кажется. А потом — нужно же время, чтобы все осознать и как можно более подытожить для себя самого... «Поймите, — говорю я ей, — о таком акте человеческого сознания, как творчество, лучше и полезнее для дела говорить не сгоряча, а по окончательным результатам!»

Это было не только убеждение, но и совестливая скрытность художника, для которого дороже всего именно то окончательное, завершенное им создание, которое стало общим достоянием.

Некоторые нетерпеливые люди, ясно представляющие себе только свой характер и темперамент или сходные с ним, принимали эту совестливую скрытность и сдержанность за робость и неуверенность в себе.

«Типичный интеллигент», — сказал кто-то о нем, вкладывая в эти слова шаблонную мысль о пресловутой интеллигентской «слабости». Подобные «оценки» были просто поверхностны и жалки. Борис Левин, этот скромный, застенчивый человек, на деле был, конечно, сильнее тех, кто считал его слабым.

Правда, о боевой биографии Бориса Левина я узнала из разных уст, — и, значит, была она подлинной биографией храброго человека, если все рассказанное удивительно сходилось вместе и одно дополняло другое.

В 1918 году он вступил в ряды Красной Армии и пошел бороться за молодую Советскую республику

как раз в то время, когда стало нужным защищать ее. Он был красноармейцем, политработником, комиссаром полка, членом трибунала Петроградского военного округа. Он бился за Советскую республику на Дону, в степях Средней Азии, на Астраханском фронте под руководством Сергея Мироновича Кирова. Много мог порассказать бывший дивизионный комиссар Борис Левин, но как раз меньше всего любил он рассказывать о себе. Все-таки те отрывочные факты его военной жизни, которыми мы располагаем, довольно ярко рисуют его коммунистический и вообще человеческий облик. Несколько раз он глядел в глаза смерти и спасался благодаря собственной выдержке и заботе о нем смелых, хороших людей.

В одном селе Борис Левин был схвачен восставшими кулаками. Его предал изменник, который прополз в ряды партии, вкрался в доверие к комиссару Левину, а потом перебежал на сторону врага. К Левину, запертому в сарае, явился предатель и спросил, издеваясь: «Ну, как тебе это нравится, Левин? Мог ли ты предполагать что-нибудь подобное?» Связанный по рукам и ногам комиссар ответил спокойным голосом, полным ненависти и презрения: «Да, я не предполагал, что ты такая сволочь».

От неминуемой смерти Бориса Левина спасла хозяйка избы, где он квартировал. Не искушенная в вопросах политики, деревенская женщина почувствовала в комиссаре силу коммунистической правды, поняла нужность его жизни для народной борьбы — и решилась на смелый и благородный поступок, который ей самой мог стоить жизни.

Однажды во время боя комиссара Левина контузило. Он упал с лошади и был засыпан землей от взрыва снаряда. Бориса Левина уже сочли погибшим. Но красноармейцы, любившие своего комиссара, откопали его из-под земли и спасли от смерти.

Он никогда не был оратором, но зато он умел душевно разговаривать с бойцами за чтением и обсуждением газет, у костра, в теплушке, во время утомительных конных переходов, когда людям по целым дням невозможно ни на минуту заснуть. Бойцы спас-

ли комиссара Левина от смерти, потому что им всегда недоставало его, потому что он был нужен им и дорог...

Но тот, кого хоть раз коснулось ледяное крыло смерти, никогда этого не забудет. Не оттого ли даже в веселые минуты в речах, жестах и улыбке Бориса Левина временами чувствовался налет сдержанной грусти и раздумья?

Вспоминается мне весенний день в конце 30-х годов, первые нежные листочки, опушившие кусты и деревья у нас во дворе, на улице Воровского, 52. В ожидании начала собрания несколько литераторов делились друг с другом впечатлениями о своих поездках по стране и командировках. Борис Михайлович слушал внимательно, с задумчивым видом и, казалось, о чем-то вспоминал про себя. Его и спросили об этом. Помедлив немного, он рассказал простую, но волнующую историю. Однажды, приехав по командировке «Правды» на крупное строительство, Борис Левин наблюдал за раскопками на месте будущих корпусов. Землекопы показали ему вырытый ими заплесневелый красноармейский шлем.

— Мне показалось, — закончил свой рассказ Борис Левин, — что это мой шлем нашли, что это мое тело нашли в земле.

Среди светлых красок прекрасного вешнего дня эта концовка прозвучала как-то особенно значительно и вместе с тем, так и хочется сказать, по-левински сдержанно. Наверно, и другие подумали в ту минуту: «Да, очень много видел и пережил душой этот человек с мягкой улыбкой и застенчивым взглядом карих глаз».

Эта грустноватость, застенчивость, простота и скромность Бориса Левина некоторым казались проявлениями пресловутой интеллигентской мягкотелости, неразборчивого добродушия и т. д. А между тем именно Борис Левин один из первых публично выступил против группки администраторов в литературе, зажимщиков критики, искусных интриганов, которых многие боялись. Вспомним здесь же, что некоторые критики подобным же образом ошибались в оценках его таланта и вообще его творчества. Рапповские менторы брезгливым тоном советовали ему «произвести серь-

езную переоценку ценностей, овладеть методом марксистско-ленинской диалектики»[1]. Другие предлагали расширить круг тем, чтобы не «мистифицировать» собственный талант[2]. Третьи были согласны с тем, что «идею и тон» левинской повести можно изобразить следующим образом: «Вдали, в тумане — город и строительство, ближе — ствол одинокого «лирического» дерева, лишенного листьев»[3]. Четвертые, правильно отмечая сходство художнической манеры Бориса Левина с манерой Антона Павловича Чехова, утверждали, что Б. Левин воспринял и «негромкий голос» Чехова: «Борис Левин обо всем говорит негромко, «тихим голосом»; что благодаря этому «верное, четкое, но деловитое» (?!) и «тихое» изображение событий в произведениях Левина не вызовет «ни слез, ни гнева, ни острой жалости»[4].

Можно ли говорить о «негромком» голосе Антона Павловича Чехова, а затем — «тихое изображение», «тихий голос», а дальше... «тихий писатель»? Да полно, то ли слово сказано о Борисе Левине?! Конечно, не то слово. У нас, к сожалению, слов, которые «не те», случайных слов о творчестве писателей, говорится еще довольно много. С точки зрения задач нашего социалистического искусства одним из самых вредных обыкновений, еще до сих пор бытующих в нашей критике, является крайне скудный набор оценочных критериев и нежелание динамически пополнять и разнообразить их в связи с требованиями жизни и тем «чувством нового», которому всегда и неустанно мы должны учиться у партии. «Тихий голос», «тихое изображение»... А не поискать ли других обозначений?.. Есть «тихость» голоса, которого просто не слышно, — из понятия «тихости» как будто исключается понятие о силе, — и есть сдержанность, в которой присутствуют и сила и мужество.

Творческий голос Бориса Левина звучит для меня именно так: сдержанной силой и мужеством. У него

[1] «Новый мир», 1931, № 9.
[2] «Литературный современник», 1933, № 11.
[3] «Октябрь», 1932, № 7.
[4] «Литературный критик», 1934, № 2.

была своя инструментовка — и это было его священное право. Скрипка, арфа, флейта и виолончель могут выразить глубину и размах человеческих эмоций, не прибегая к помощи барабанов и литавр.

Само собой разумеется, никому не придет в голову изображать творческий путь Бориса Левина гладким и безболезненным. У него были свои промахи, недочеты, недоделки, бывали и просчеты.

Иногда, по старой журналистской привычке фиксировать на ходу, Борис Левин писал торопливо, почти хроникерски. Это случалось не часто, но каждый раз бывало досадно, когда буднично-торопливые строки прерывали сдержанно-взволнованное, свежего и тонкого рисунка левинское письмо. Иногда из любви к лаконизму и динамичности Борис Левин переходил на скороговорку, на констатацию, на обозначение. Порой, напротив, стремясь ввести читателя глубже в мир своих героев, писатель в ущерб основной линии произведения ломал его композицию, перегружал ее вставными, хотя и остроумными, эпизодами и подробностями, разбивая этим ее целостность, как это особенно заметно в романе «Юноша». Бывало и так, что... Ну, понятно, перечень писательских «грехов» можно было бы продолжать и дальше: где, когда, отчего и почему недодумал одно, а другое недоучел, а третье не заметил и т. д. Но не в этом моя цель, да ведь я и не исследование пишу, а воспоминания об одном из товарищей моих по литературе. А жизнь писателя — это не только он сам, его личность, но, нераздельно с ним, его творчество и все коммунистическое и человеческое, что характерно и неповторимо выражено в мыслях, красках и образах его произведений. Борис Левин глубоко чувствовал движение и яркую молодость нашей эпохи, преобразующей мир. И в разрешении им этой проблемы молодости и жизненного движения, в его призыве понимать ее виден был художник-коммунист, который все явления оценивал не только в их внешних формах, но и стремился осмыслить их внутреннюю сущность и направление в настоящем и будущем. Кроме возрастной молодости, которая охватывает только часть жизни человека, есть молодость класса, моло-

дость социальная, продолжительность и сила которой в значительной степени в руках человека. Восемнадцатилетний герой романа «Юноша» Миша Колче — стар, потому что его характер, его мысли и устремления отравлены дряхлостью старого мира. В «симпатичном обличии» Миши Колче писатель-коммунист вскрыл человека, опоздавшего родиться. Миша — социальный переросток. Себялюбивый, равнодушный к людям, самовлюбленный честолюбец и властолюбец, мечтающий о том, чтобы «затмить» своих сверстников, чтобы прославиться и стать «самым главным», — разве такой бывает подлинная молодость социалистического человека? И писатель показывает страстно ищущую, наивно-смелую и чистую молодость Нины. Эта девушка сначала напоминает молоденькую тонкоствольную березку, которую качает ветер и дождь сечет: немало забот и страданий довелось принять ей на свои «детские плечи». Но Нина растет здоровой, потому что все ее мысли и желания, вся ее работа устремлены к людям, к общей жизни. На фронте Нина вступает в партию и чем дальше, тем вернее обращается в крепкую, умную, закаленную женщину. Закономерно, что Нина, цветущая молодая женщина, полюбила не Мишу Колче, а его дядю, сорокалетнего Александра Праскухина, — ведь юноша-то, конечно, он, а не Миша. И физически Праскухин выглядит значительно моложе своих лет — не только потому, что прошел прекрасную школу революционной борьбы и закалки, но и потому, что жизнь его деятельна и вдохновлена работой, радостью побед, поисков и находок, важных и нужных для общей жизни.

Читатель, следуя за художником, проникался презрением к социальным перестаркам типа Миши Колче, смотря на сорокалетнего Александра Праскухина, думал: «Да, долго может быть молодой, подвижной и радостной жизнь того, кто, подобно своему классу, как полный колос, повернут к солнцу будущего».

Не случайно, говоря о молодости, Борис Левин заговорил с читателями и о таланте, который ведь явление не только индивидуальное, но и социальное. Талант Миши Колче, питаемый только впечатлениями и

размышлениями «в себе», всегда грозит захиреть, обескровиться. Образ Праскухина (даже несмотря на то, что он кое в чем недовыписан) наводит нас на мысль, что кроме таланта художественного есть еще талант строить жизнь. Праскухин, Наташа Лебедева, инженер Эун, начальник политотдела Сморода строят жизнь, поднимают для нее все новые человеческие пласты из самой гущи масс, не отделяя себя от любимого дела, от людей, вместе с которыми они трудятся. У всех у них, как говорит Наташа, «нет ни «мы», ни «вы», а есть одна общая цель, одна радость». Такие люди, как Наташа и Сморода, могут разойтись, страдать и томиться, что не удалась их жизнь, их любовь. Но строительство жизни, в котором все они участвуют, так громадно и прекрасно, что общая радость одоления и победы охватывает человека даже среди грусти и временного разочарования в своих надеждах на счастье. Уметь стать выше своего личного, выше своих личных обид и уколов — вот еще чем пленяет нас коммунист Сморода, шумный, порывистый, грубоватый, но в глубине души нежный, жизнелюбивый человек. Он любит смотреть вперед, он ненавидит «несчастненьких», «рваненьких», «приколотых булавками». Он хочет, чтобы все вокруг человека играло и блистало, чтобы «внутренности его играли», — вот для чего работает Сморода.

Бориса Левина нередко упрекали, будто-де он защищает романтиков из-за неразборчивой своей любви к романтике вообще. Да, он ценил романтику любви, романтику боевой дружбы, но критики этого рода не заметили, как ненавидел писатель ложную, наигранную романтику «высоких вольт», «бешеных темпов» и «риска жизнью», которую утверждает в одной из его повестей писатель Околоков («Одна радость»). Авторское презрение к этой фальшивой романтике выразилось и в выборе самой фамилии героя: Околоков, тот, кто только толкается о к о л о, мешает всем, надоедает, жалкий, отвратный, позер литературной «моды», разносчик дешевого пафоса. Такие Околоковы, беспардонные деляги, закройщики «актуальных романов», еще, кроме того, и трусы. «Хочу вот с вами согласо-

вать, какого героя посоветуете у вас описать?» — с наглой откровенностью спрашивает Смороду этот поставщик «конкретных героев» для еженедельников».

Однажды в общей беседе Борис Левин сказал, насмешливо прищуривая глаза:

— Да, да, есть такая порода людей... Смелость, искренность и вообще их собственное отношение к предмету — все это где-то далеко, все это надо искать... а вот ложноклассический пафос... о, это всегда вот здесь, в наружном кармане. — И как презрительно прозвучал его обычно такой мягкий и задушевный смех!

Как в жизни, так и в творчестве своем Борис Левин мужественно выступал против крупных и мелких носителей дешевого пафоса, против ареопага хитрецов и честолюбцев, бюрократов-схематизаторов. Таков один из героев романа «Юноша» — Фитингоф. Многие узнали, «с кого» сделан Фитингоф, кого напоминал этот памфлетно заостренный образ. Но, за исключением только очень немногих, большинство критиков избегало подробно говорить о Фитингофе, может быть потому, что его «прототип» в те дни еще функционировал в литературе. Обычно у нас так чутки ко всему «стилевому разнобою», а тут на памфлетную заостренность образа Фитингофа, благодаря которой он так резко отличался от остальных персонажей романа, никак не обращали внимания. Тем более ценен был мужественный голос писателя-коммуниста Бориса Левина.

Он любил нашу социалистическую родину, он всем сердцем чувствовал, что она далась нам в боях, борьбе и труде. Временами он, непосредственно от себя, от Бориса Левина, распахнув двери в повествование, врывался своим взволнованным голосом на страницы книги: «Товарищи, я тоже с Красной Армией входил в города. Нас тоже встречали рабочие, их жены и дети. Мне было тогда двадцать лет...» — и т. д. А то его голос звучал как песня среди колхозного пейзажа. Вот как он видел колхозный лен: «А как он рос! Ах, как он рос! Жирный, густой. Как львиная грива. Две-

сти гектаров колхозного льна. Когда мимо ехали кулаки, они морды ворочали. Сплевывали, завидовали:

— Во как у них уродило!

Колхозный лен хватал их за горло. Свежий, молодой, он рысью забегал вперед. Лен цеплялся за колеса. Кулаки сильней по лошадям. Но все равно некуда было деться от большевистского льна».

В одной из своих последних повестей — «На Врангеля» (изд. «Библиотека красноармейца») — Борис Левин рисует образ молодого черноглазого лектора, которого красноармейцы прозвали «Робинзон Крузо». Лектор горячо верил в прекрасное будущее родины и со всей силой своей пламенной мечты и фантазии рассказывал бойцам, как чудесна будет жизнь человечества при коммунизме. Слушать Робинзона любили, однако, случалось, и посмеивались над ним. Во время боя Робинзон показал себя подлинным героем и был убит. Бойцы, расставаясь с ним навсегда, оплакивали его как героя и поняли, какая прекрасная и мужественная душа жила в этом смешном, чудаковатом человеке.

Как в жизни Борис Левин стремился делать все «без фраз», так и в творчестве он любил мужественную сдержанность, благодаря которой глубина и сила внутреннего содержания, направленность и краски внешнего выражения яснее. Подтекст, это якобы вольное, а на деле незаметно направляемое авторской рукой чтение между строками, при таком сдержанном письме часто бывает легче и прозрачнее, чем междустрочное чтение среди пышных словесных орнаментов и фиоритур.

Образы и сравнения Бориса Левина, как правило, лаконичны, почти всегда точны, без кричащих красок, а кроме того, неизменно доводят до читателя не только смысл, но и время, и настроение, и даже температуру этого настроения: «...голубенькие ситцевые цветочки льна...», «У ворот лежала лужа и блестела, точно синяк...», «Морщины, точно мундштуки-уздечки, сжимали вялый подбородок...», «Седой воздух...», «Пальцами обласкал треугольник бородки и усы цвета золы...», «Вспотевшее, алюминиевое небо...», «Белыми

восклицательными знаками, запятыми и кляксами падал лохматый снег...», «Нога казалась тяжелым протезом, наполненным сельтерской...», «...Голова у него была такая большая, что на нее хотелось надеть уздечку...», «Никто не отвечал. Была тишина. Паркет блестел, как медь...», «Коричневая баранья шапка, точно гнездо аиста...» и т. д.

Он любил Чехова, Уолта Уитмена, Хемингуэя, Маяковского и многие произведения нашей советской литературы. Но все то, что влияло на него и впечатляло его, он выносил в мир выраженным по-своему, неповторимо, по-левински, как он любил и умел.

Жизнь идет. Новые, молодые поколения советской литературы мужают у нас на глазах, новые читатели — тоже. И молодые наши литераторы, и молодые читатели, знакомясь с произведениями Бориса Левина, может быть, не раз вспомнят слова любимейшего его современного поэта Владимира Маяковского о неумирающей силе горячего, сердечного слова, в котором всегда бывают свои «железки строк», — многие левинские строки можно тоже «с уважением ощупывать, как старое, но грозное оружие»: ведь у него тоже своя неподкупная сила любви и ненависти.

Однажды небольшой компанией мы сидели у меня в кабинете. Разговор зашел о книгах — о старых, давно вышедших, и новинках. Перебирая книги на полке, Борис Михайлович взял в руки томик Уолта Уитмена.

— Старый друг мой! — сказал Борис Михайлович и так лучисто улыбнулся, будто старый поэт в ореоле пышных седых волос смотрел на него не с книжной страницы, а был с нами вместе.

Перелистав несколько страниц и взглядом испросив разрешение прервать общую беседу, начал читать вслух, негромким и проникновенным голосом:

Я видел дуб в Луизиане,
Он стоял одиноко в поле, и с его ветвей свисал мох;
Этот дуб вырос один, без товарищей, весело шелестя своей темной листвой.
Несгибаемый, корявый, могучий, он был бы похож на меня,
Но мне было странно, что он мог в одиночестве, без единого
Друга, так весело шелестеть своей листвой,
ибо я на его месте не мог бы...

— «...ибо я на его месте не мог бы...» — повторил он тише, словно это были и его мысли.

Потом, разгладив ладонью новую страницу, Борис Михайлович произнес, виновато вздохнув:

— Еще несколько строк... можно?

И он снова прочел:

Я сделаю, чтобы города было невозможно разнять, так крепко
они обнимут друг друга,
Сплоченные любовью товарищей,
Мужественной любовью товарищей.

Он замолк, тихонько закрыл книгу, поставил ее обратно на полку и опустился на диван, тихо и серьезно улыбаясь, будто выполнил какой-то долг, давний и бесконечно дорогой душе. Потом, все так же улыбаясь, он неторопливо соединил свои ладони и, крепко сплетя вместе гибкие пальцы небольших рук, несколько раз тряхнул ими, будто безмолвно добавляя что-то от себя к вдохновенным словам великого американского поэта о городах, которые «невозможно разнять».

Кстати сказать, никто не удивился этому неожиданно ворвавшемуся в беседу чтению стихов Уитмена: всем присутствующим было известно, что в годы гражданской войны комиссар Борис Левин носил в своем вещевом мешке томик стихов любимого поэта.

В морозный день поздней осени 1939 года, когда по улице крутилась поземка, я встретила Бориса Левина. Он торопливо шел, то запахивая на ходу от ветра свое черное драповое пальто (вообще ни разу не довелось мне видеть его в шубе), то поправляя кашне. Во время короткого разговора я успела заметить, что лицо Левина как-то особенно серьезно. Он о чем-то хотел еще спросить, но вдруг озабоченно сунул правую руку в нагрудный карман пальто.

— Вы что-то потеряли, Борис Михайлович?

— Нет, все в порядке... документы здесь.

Мы пожали друг другу руки и разошлись, каждый в свою сторону. Потом вспоминая эту беглую встречу, я поняла, что Борис Левин проверял тогда только что полученные им военные документы перед отъездом на советско-финляндский фронт.

И на фронт он ушел просто, без лишних слов, даже не подав и намека, куда он собрался.

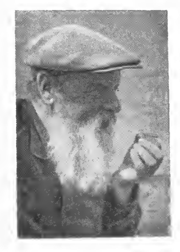
Когда появились первые слухи о гибели Бориса Левина в финских лесах, не хотелось верить этому. Мне так и представлялось, что многоопытный боец и политработник, бывший комиссар эпохи гражданской войны не мог бы не найти каких-то возможностей, чтобы выбиться из тяжелого положения. Но, видно, оно действительно было чрезвычайно тяжелым — и выход было найти невозможно.

Долго еще потом вспоминали в моей семье тот вечер, когда Борис Левин читал вслух стихи Уитмена. А мне вспоминалась еще одна вдохновенная строка поэта, которую в тот же вечер Борис Левин продекламировал наизусть:

«Годы современности!.. Ваш горизонт встает, и я вижу, как расступается...»

И в жизни и в творчестве Борис Левин был подлинным писателем современности, знал ее, любил и глубоко чувствовал во всех ее выражениях. Живи бы он сейчас, с еще более зоркой и взволнованной силой и прелестью отразил бы он в своих новых произведениях, как все выше встает и расступается во всю ширь свою горизонт нашей великой советской родины.

1940—1956





Весной 1938 года один знакомый критик, вернувшись из командировки в Москву, показал мне привезенную им из Свердловского издательства верстку книжки Павла Петровича Бажова, которая называлась «Уральские сказы». Имя Павла Петровича мне было известно и раньше, однако эта книга раскрыла для меня его творческую личность с новой стороны. Появилось такое чувство, будто я прикоснулась к совершенно свежему, новому пласту художественной фантазии и осмысления мира прошлого.

Сам Бажов очень точно определил истоки своих сказов, знаменитой книги, которая вскоре стала известна широчайшим массам советских читателей под названием «Малахитовая шкатулка». Вот что он написал в своем авторском предисловии: «...сказы Хмелинина можно рассматривать как своего рода историко-бытовые документы. В них не только отразилась полностью тяжелая жизнь старого горняка, но и его наивное понимание «земельных чудес» и его мечта о других условиях жизни, каких — сказитель и сам не знал, не мог представить себе, но только не тех, в каких проходила его жизнь... Заводские служащие, «прахти-

кованные техники» или «люди с хорошим почерком и бойким счетом», не могли, конечно, оценить сказы по достоинству, а те, что «стояли повыше» и были чуть грамотнее, относились пренебрежительно к «каким-то сказкам старичонки-караульного». Этим важным людям было невдомек, что неграмотный «старичонка-караульный» с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее в образах, где уральская фантастика переплелась с исторической правдой».

Если бы даже не было сказано этих авторских слов, читатель не смог бы ошибиться в том, что перед ним явление в литературе новое, яркое, много и волнительно говорящее уму и сердцу. Это были, конечно, творчески переработанные взыскательным художником народные сказания, фольклор, но это был новый, горнозаводский фольклор. Писатель с замечательным чутьем и очень верно оценил духовное убожество и глухоту «важных людей», которые жили многие годы окруженные этими несметными богатствами слова и народной мечты — и будто не видели, не слышали их. Да что «важные люди» старых уральских заводов!.. Русская дореволюционная фольклористика разрабатывала главным образом крестьянский фольклор, в котором, по мнению исследователей, сосредоточивалось все, что было сильного, меткого и красочного в русском языке. Нас, молодых филологов, в свое время тоже учили, что «цвет языка» — это крестьянские сказы, песни, пословицы, загадки. Учили также, что завод и фабрика якобы создали только частушку с ее бойким «рубленым» ритмом и «бедной городской темой». А о том, что за многие годы накоплены драгоценные россыпи, целая толща сказаний, созданных рабочими, разговора никогда не возникало.

От горнозаводских сказов Бажова на меня словно пахнуло кроме новизны и ароматом детства. Я родилась и выросла на Урале, в г. Перми, и в детстве из уст отца, моих дядей и теток слышала бывальщины (как называл их мой отец) о разных печальных, а то и страшных случаях из жизни рабочих строгановских рудников и шуваловских заводов, — в нашем крае

потомки графов Строгановых и Шуваловых владели заводами, землями и лесами. Слышанное от отца было очень любопытно, но ум подростка не в силах был осознать общественное значение и смысл бывальщин, хранившихся, например, в памяти моего отца и других родичей, которые помнили эти бывальщины, как говорится, по наследству. Читая бажовские сказы, я все шире и ярче понимала патриотическую заслугу писателя: да, все это богатство народной поэзии, чудесных обобщений жизненного опыта, страстной мечты о лучшей жизни бытовало в гуще народа, долгие годы не оцененное, не замеченное, не отобранное исследователями. Но пришел Павел Петрович Бажов, открыл золотым ключом ворота этой многим неведомой страны горнозаводских сказов — и новый мир образов, полный живых, горячих мечтаний, красочной фантазии и смысла, открылся перед читателем.

Книга П. П. Бажова сразу полюбилась мне чрезвычайно.

Первым моим побуждением было как можно скорее и шире рассказать всем об этом замечательном и свежем явлении советской литературы. После моей статьи в «Литературной газете» мне, естественно, захотелось лично познакомиться с Павлом Петровичем и, как выразился кто-то, «показать Бажова Москве». Да и интерес к творчеству Бажова в писательских кругах и среди читателей все возрастал. В 1939 году в Свердловском областном издательстве вышла «Малахитовая шкатулка» — сборник старых уральских сказов из жизни и быта горнорабочих. Появилась статья в «Правде», а в Москве книги еще не было.

Я написала Павлу Петровичу, прося выслать мне «Малахитовую шкатулку». Прошло некоторое время, в Москву приехал (ныне покойный) писатель А. Ф. Савчук.

— Получили от Павла Петровича «Малахитовую шкатулку»? — спросил он меня.

— А разве он уже послал ее мне?

— Да, конечно. Я сам видел!.. Павел Петрович послал ее в адрес Союза писателей СССР.

Начались поиски «Малахитовой шкатулки». Кто-

то видел книгу, кто-то смотрел, кто-то вслух цитировал сказы... а в общем, книга пропала, проще говоря — ее «зачитали» поклонники. Я была бесконечно огорчена, снова написала Павлу Петровичу, и вскоре книга была у меня. Появилась она и в Москве. Пригласив Павла Петровича в Москву, мы хотели, понятно, как можно более впечатляюще ознакомить аудиторию с его творчеством. Пригласили знаменитых наших чтецов — Е. Д. Турчанинову и Д. Н. Орлова. Узнав, что Евдокия Дмитриевна Турчанинова, одна из любимых мной артисток Малого театра, живо откликнулась на приглашение Союза писателей прочесть по своему выбору некоторые сказы, я позвонила ей, выразила нашу общую признательность и тут же спросила, понравились ли ей бажовские сказы. Она отозвалась с горячей похвалой:

— Это золотая проза! А Бажов Павел Петрович — это просто кудесник какой-то, чародей!

До приезда Павла Петровича в Москву я ни разу не видела его. Он мне представлялся, конечно, пожилым, но почему-то высоким и коренастым человеком. А я увидела старика с седой, прозрачной бородой, худощавого, даже хрупкого на вид, роста ниже среднего. У него был тихий голос, задумчивый взгляд светлых глаз, мягкая, грустноватая улыбка. Но немного спустя мне уже показалось, что именно так и должен выглядеть человек, который, почти полвека назад услышав сказы старика Хмелинина, «дедушки Слышко», донес их разум и нетленную красоту до наших дней.

Во всем облике Павла Петровича читался мудрый и многоцветный опыт большой жизни, который оставляет в душе старого человека сложный переплав чувств, мыслей, стремлений, несбывшейся и сбывшейся мечты.

В ожидании вечера у нас, в Центральном Доме литераторов, мы, окружив Павла Петровича, начали было его расспрашивать о том, как писалась «Малахитовая шкатулка». Он выслушал все вопросы, обращенные к нему, и, слегка пожав плечами, застенчиво и мягко улыбнулся:

— Рассказать? Да ведь я уже все рассказал... в предисловии-то к моей книжке все есть... нового ничего не скажу.

Впоследствии я не раз замечала в характере Павла Петровича эту скупую на слова скромность — он не любил говорить о себе. Он как бы считал возможным рассказать только какой-то необходимый минимум о своей работе, а все остальное предоставлял воображению собеседника, особенно если беседовал с литератором. Однажды мне довелось слышать его интервью корреспонденту одной из центральных наших газет. Корреспондент, совсем юноша, очевидно, воображал, что писатели приблизительно все одинаковы, и задавал автору «Малахитовой шкатулки» вопросы такого характера и в таком количестве, как уже привык задавать всем. Павел Петрович отвечал ему в своей манере: ясно и скупо. Юноша придумывал все новые вопросы, Павел Петрович терпеливо повторял уже сказанное. Юноша настаивал, а Павел Петрович мягко, но решительно отводил все попытки корреспондента навязать ему то, чего он не хотел и не считал нужным развивать в беседе.

— Ну, Павел Петрович, — сказал кто-то, также наблюдавший эту сценку, — молодой человек ушел огорченный — не получилось у него «богатого интервью» с вами!

— Ему еще учиться надо, люди-то ведь разные, — кротко, но твердо ответил Бажов.

Так же не любил он, что называется, ходить душа нараспашку или слишком открыто и шумно выражать свои чувства. Вернусь в связи с этим к вечеру, когда Павла Петровича впервые увидели в Москве. Вечер прошел тепло и сердечно, наши знаменитые чтецы прекрасно прочли несколько сказов, и все мы от души поздравили Павла Петровича с успехом. Каждому, кто приглядывался к нему, нетрудно было себе представить, что, конечно, Бажов с волнением ехал в Москву, что вечер и дружеский прием в Союзе советских писателей растрогали его. После вечера я спросила его, как понравилась ему эта дружеская встреча, он ответил кратко:

— Хорошо.

Потом, разгладив прозрачную седую бороду и улыбнувшись светлыми грустными глазами, он повторил:

— Все было хорошо.

После мне довелось два-три раза встречаться с Павлом Петровичем в Москве. Уже большая, заслуженная слава окружала его имя. «Малахитовая шкатулка» стала одной из любимейших книг советского читателя. А Павел Петрович был все тот же: черная толстовочка, подпоясанная ремешком, неспешная походка, мягкая улыбка — и та же собранность натуры глубокой и сосредоточенной.

Особенно почувствовала я эту черту бажовского характера в годы Великой Отечественной войны. В начале октября 1941 года я приехала в Свердловск как корреспондент «Правды» для освещения в печати патриотического труда нашего тыла. Каждый советский человек помнит, как напряжены были все силы души в те грозные дни в начале войны. В одной из приемных Свердловского обкома ВКП(б) среди группы ожидающих приема, большинство которых было в военной форме, я вдруг увидела знакомую черную толстовку, седую бороду и задумчиво-спокойный взгляд светлых глаз.

— Павел Петрович! Как я рада вас видеть!

Сразу вспомнился творческий вечер Павла Петровича в верхней гостиной нашего Дома писателя, вспомнилась наша бесценная мирная жизнь. Однако распространяться об этих чувствах было некогда. Павел Петрович задал только несколько вопросов о московской жизни, о Союзе писателей, поинтересовался, кто из московских писателей ушел на фронт. Потом рассказал, что пришел в обком посоветоваться, как вести работу в Свердловском отделении и вообще как «сохранить силы людей».

— Сохранить силы? Чьи?

— Ну... творческие силы тех писателей, которые уже начали прибывать сюда.

Далее он сказал, что предвидит многие трудности

бытового и материального порядка, которые, конечно, мешают творческой работе.

— Кто потверже духом, кто помнит всегда, что страна-то наша теперь военный лагерь, тот все перенесет достойно. А на другого посмотришь — он уже сдал... Жалко и досадно за такого: талантлив, умен, а вот избалован — успехами ли, слишком ли размеренной, уютной жизнью, бог его знает... словом, тяжко ему очень. А талант лежачим камнем, без работы художественного воображения пребывать не может и не должен. В дни испытаний, напротив, талант должен развернуться по-боевому. Вот и хочется по возможности создать писателям условия для творческой работы в военное время: жилплощадь, снабжение, пайки там и все прочее...

— Вижу, Павел Петрович, вам будет жалко, если из-за трудностей военного времени не будут созданы новые произведения?

— Конечно, конечно! — взволнованно и быстро сказал Павел Петрович. — Ведь что для литературы пропало, то и для народа пропало.

Не это ли хозяйское чувство к литературе и убеждение, что каждое настоящее произведение входит в арсенал духовной жизни народа, — не эта ли хозяйская забота и любовь к мирному созиданию заставляли Бажова в те грозные годы, не считаясь ни с временем, ни со слабым своим здоровьем, помогать товарищам по литературе личными хлопотами в разнообразнейших делах писательской жизни? К осени 1941 года, как известно, в Свердловск съехалось много деятелей советской литературы, искусства, науки. Всех этих людей надо было разместить, создать хотя бы скромные, но все же нормальные условия для работы, а это было уж не так легко. Помощь Павла Петровича во всех случаях такого рода была просто неоценима; да ведь и то сказать — он в городе всех знал, и его все знали. Бывало, позвонишь к нему или, увидясь лично, просишь помочь, отправиться вместе к кому-нибудь из местных властей. Он никогда не отказывался. Однажды (помню, был мороз с метелью) мне стало совестно, что мы, люди несколько

более молодые, беспокоим старого, болезненного человека. Помню, Павел Петрович шел по улице, то и дело надвигая шапку на глаза, снег бил ему в лицо, он сбрасывал его рукой с заиндевевшей бороды и шагал не останавливаясь.

— Ох, не сердитесь, Павел Петрович... Вытащили мы вас в такую ужасную погоду!

— При чем тут погода, если необходимое дело надо выполнить, — отвечал Павел Петрович и еще решительнее пошел вперед.

Однако решительность его всегда выражалась по-своему, по-бажовски. В то суровое время множество приезжих людей часто вынуждены были «осаждать» свердловских руководителей своими просьбами, и, как правило, самыми насущными. Случалось, иной руководитель учреждения иногда, или по занятости, или не разобравшись в вопросе, показывал желание отложить дело, советовал «побывать завтра». Вот здесь-то и проявлялась решительность Павла Петровича. Приподнявшись с места, он неторопливо пересаживался поближе к руководителю, которому так хотелось, чтобы мы «побывали завтра», и произносил несколько фраз, простых, спокойных, но таких веских, что начальник быстро менял тон. Кто не вспоминал в ту минуту, что к нему в кабинет пришел не со своей личной, а с общественной просьбой любимый народом уральский чародей слова, создатель горнозаводских сказов, старый коммунист, человек громадного жизненного опыта, правдивый, принципиальный! И всегда оказывалось, что поворот в переговорах по данному вопросу, предложенный Бажовым, самый правильный и целесообразный.

— Ну... во-от, — сказал он однажды после одной из таких деловых бесед, лукаво помаргивая светлыми грустноватыми глазами, — иногда и стариков полезно в компанию прихватить — дело спорее продвинется.

Однажды я сказала полушутя:

— С вашим терпением, Павел Петрович, чего не одолеешь!

Но он ответил серьезно:

— А без терпения людей и не поймешь.

Действительно, мне и не случалось видеть, чтобы Бажов кого-то не понимал или становился в тупик, не зная, как отнестись и как раскрыть смысл какого-то явления. Конечно, его старались как можно меньше беспокоить, а потом, когда и трудная жизнь военного времени все же вошла в какую-то норму, каждый разумный человек уже считал невозможным тревожить Павла Петровича: «Поберечь надо старика!» А он неустанно работал, создал ряд новых чудесных сказов, таких, например, жемчужин, как сказ «Живинка в деле», неустанно всматривался, изучал в большом и малом черты бытия грозного, неповторимого времени.

Вспоминается мне один вечер, когда эта черта бажовского характера — и, хочется сказать, творческого слуха — особенно ярко мне запомнилась. Было это в Ревде, куда мы ездили, кажется, зимой 1942 года; это был один из многочисленных в то время литературных вечеров. Помню, как мы шли с Павлом Петровичем к Ревдинскому заводу, где еще сохранились здания демидовских времен. Был лунный морозный вечер. Мы постояли против здания бывшей демидовской конторы, длинного приземистого корпуса с узкими окнами.

— Здесь толщина стен больше метра, — заметил Павел Петрович и усмехнулся. — Строили Демидовы свои заводские здания тяжко, прочно, будто крепости, уж по крайней мере лет на пятьсот... думали, что их царство никогда не кончится!

Мы побывали в некоторых цехах, поговорили с рабочими, с инженерами, а в одном из цехов нас пригласили побеседовать с ревдинскими стахановцами во время перерыва ночной смены. Павел Петрович внимательно слушал, что рассказывали рабочие о своем труде «гвардейцев тыла», как в то время всюду любили говорить на Урале. Одним из последних стал рассказывать старый рабочий, уже далеко за шестьдесят и, как тут же выяснилось, персональный пенсионер. «Сердце не выдержало в грозный час дома сидеть», — и он вернулся в свой горячий цех. Павел

Петрович смотрел на старого металлиста особенно уважительно и ласково расспрашивал его, и тот отвечал ему так же уважительно и любовно. Наконец Павел Петрович мягко, наклонившись к рассказчику, спросил:

— А вот скажите... просто как старик старику... теперь, когда вы вернулись на завод, о чем вы чаще всего думаете?

Старый металлист помолчал, улыбнулся.

— Часто я думаю: а хорошо, что я детей своих переспорил. Дети у меня хорошие, работящие — два сына и две дочери, — но рассуждали они обо мне, прямо сказать, неправильно.

И старик рассказал, как дети настойчиво внушали своему отцу-пенсионеру, что «отныне жить ему на покое», ни о чем не заботиться, — дело его «стариковское», его будущее уже во всем «решено и подписано», то есть ни в каких событиях он-де больше участвовать не может и, следовательно, ему остается только отдыхать. Но, вернувшись в родной цех, в напряженную жизнь завода военной эпохи, старый рабочий почувствовал в себе прилив новых сил, а священная тревога за родину и страстное стремление отдать свой труд и многолетний опыт на борьбу за ее победу над врагом утвердили в нем сознание, что он не только участвует в событиях, но и решает их.

— Теперь каждый человек, кто честно и горячо работает, от самого молоденького ремесленника до старого кадровика, вот как я, — все решают дело победы, Павел Петрович!

— Именно так... решают! Весь советский народ — от ремесленника до академика — единодушно решает... этакую силу не сломишь! — И Павел Петрович, поглаживая бороду, оглядел собеседников медленным и просветленным взором, будто призывая их вдуматься в слова старого металлиста. Мне казалось, что, хотя Бажов не повторял больше этой мысли, люди почувствовали ее и то настроение просветленной, уверенной гордости за родину, за народ, с которой мысль была выражена.

Вообще не в натуре Бажова было резко подчеркивать, настаивать, нажимать. Мне часто думалось, что он, что называется, брал людей за душу именно вот этой присущей ему мягкой сдержанностью выражения. Она как бы внушала тем, кто общался с ним: «Я верю, что вы, как разумные и честные люди, понимаете сами, как важно поступить именно так». Всякая непродуманность, ненужная резкость, торопливость, привнесение в общественную работу чего-то случайного, постороннего, неделового глубоко огорчали его. Помнится, как однажды зимой возвращались мы вместе с Павлом Петровичем с одного довольно шумного писательского собрания. Он выглядел усталым и недовольным. Я спросила, не собрание ли этому причиной.

— Да, — ответил он, утомленно покашливая. — Вот ведь некоторые наши товарищи уж, кажется, и видели и знают много, а — какая забывчивость! — выступают иногда и судят о предмете, будто у нас сейчас не война, а спокойное, мирное время. В перерыве я указал было на это обстоятельство одному такому товарищу, а он мне в ответ: «Если, говорит, что-нибудь меня раздражает, никакие времена и обстоятельства меня уж не остановят... и пока, говорит, я не разряжу своего раздражения или возмущения, до тех пор я не могу успокоиться». Далее я его спрашиваю: «А не приходит вам в голову при этом простая мысль — правы ли вы, не желая сдерживать раздражение ваше?» А он: «Эх, говорит, Павел Петрович, вы, как художник, должны понимать, что страсти в человеке с терпением не уживаются. Тут, говорит, нечего меня учить». — «А не желаете, ли, — говорю я ему, — все-таки поучиться?» Он спрашивает: «У кого же именно?» Я: «У наших снайперов на фронте». Он уже иронически: «Извините, Павел Петрович, не вижу связи». Я: «Связь мне вполне ясна. У снайпера страстная, непримиримая ненависть к врагу уживается с самым непоколебимым терпением. Снайпер, случается, часами, днями выслеживает врага, не обнаруживая себя ни движением, ни даже вздохом, борется с врагом поначалу своим точнейшим расчетом, выдержкой,

хладнокровием, терпением... и наконец «снимает» вражеского снайпера своим воинским искусством и ненавистью».

— Что же ответил на все это ваш оппонент?

Павел Петрович тихонько усмехнулся.

— Согласился. Только спросил: «А если, говорит, я возмущен недостатками нашей работы, так, значит, я должен сначала хладнокровно всмотреться в эти отрицательные явления, а потом по-снайперски бить?..» Так мы с ним и договорились: изучи сначала, ежели требуется, и оперативно изучи, причины недостатков, продумай способы борьбы с ними... и наваливайся на них, искореняй!

Павел Петрович с решительно-веселым видом рубанул ладонью по воздуху и засмеялся милым стариковским смешком с хрипотцой и лукавинкой. Очень похоже было, что, пока он пересказывал свой разговор, настроение его улучшалось. Помолчав, он добавил:

— Бывает, поддастся человек минуте... Но если настоящий, совестливый художник, он скоро осознает, что был неправ.

Потому-то, наверно, Бажов и не назвал имени своего оппонента. Вообще Павел Петрович не любил «суетолков о соседях», как однажды он выразился полушутя-полусерьезно. Когда он точно знал, что кого-то действительно есть за что похвалить и поддержать, он делал это с явным удовольствием. С ласковой улыбкой поглядывая на выступающих по этому поводу и неторопливо поглаживая серебряную бороду, он кивал в знак своего глубокого удовлетворения и согласия.

При своем слабом здоровье, Бажов был совершенно лишен какого-либо брюзжанья по отношению к молодым здоровым людям, особенно к детям. Вспоминается мне забавный случай на одном из литературных вечеров, где-то под Свердловском, в заводском клубе.

Среди взрослых и молодежи сновали ребятишки младшего школьного возраста. Вечер для них был слишком серьезен, и они, насытив свое любопытство

разглядыванием членов президиума, довольно скоро обратились к своим делам. Четверо мальчишек, заметив, что строгая билетерша куда-то исчезла, увлеклись игрой. Двое из них заняли два крайних стула в третьем, а двое в четвертом ряду и поочередно подбрасывали вверх меховой мячик, сшитый из двух кусочков рыжей и белой овчины, и приговаривали: «Заяц, лиса... заяц... лиса...» Ребята так увлеклись своей игрой, что их шепоток и смех разносились по всему залу. На них возмущенно шикали. Они затихали на минуту — и снова принимались за свое. Павел Петрович читал с трибуны один из новых своих сказов — «Тараканье мыло». Его тихий голос то и дело заглушался громким шепотом разыгравшихся ребят: «Лиса... заяц...» Рассердившись наконец на этих неугомонных нарушителей порядка, я спустилась в зал, подошла к ребятам и приказала им следовать за собой. В клубном фойе я принялась стыдить их: хотя они и школьники младших классов, но уже должны понимать, как бессовестно с их стороны мешать Павлу Петровичу, и т. д.

Ребята присмирели, а один, самый маленький, с курчавым каштановым хохолком на макушке, виновато посмотрел смышлеными карими глазами и обезоружил меня следующими словами:

— Тетя, да ведь мы совсем маленько и поиграли-то... вот я десять раз лисой был, а зайцем — всего четыре... А лисой быть часто никому не охота — плохо!

— А чем же это плохо? — спросил спокойный голос, и мы увидели Павла Петровича, вставшего за колонной. Улыбаясь, он смотрел на ребят, и взгляд его выражал живой интерес. — Чем же плохо, что ты всего четыре раза был зайцем?

— Ух, как это плохо! — горячо сказал мальчик. — Если белый мех кверху — значит, я в зайцы выхожу, если рыжий — значит, я лисой становлюсь. А если часто лисой бываешь — значит, зайца она съела... значит, ты вроде съеденный. Понятно?

— Вполне, — улыбнулся Павел Петрович. — Кому охота быть съеденным!.. Ну, а если ты чаще бываешь зайцем, то, значит, ты живой?

— Да! Значит, я убежал от лисы!

— Понятно-о! — раздумчиво протянул Павел Петрович и вдруг нежно, будто про себя усмехнувшись, произнес: — Когда я мальчишкой был, мы, помню, похоже, как и вы, играли...

И он, казалось растроганный этим неожиданным воспоминанием, рассказал по просьбе ребят несколько случаев из своего далекого детства. Подошли и еще какие-то ребята, и все сгрудились около старого чародея уральских сказов и слушали его, взволнованные, зачарованные, как полвека назад слушал он сам, покоренный чудесными сказами дедушки Хмелинина. Как я досадовала потом на себя, что, заслушавшись вместе с ребятами, не записала, что называется, по горячему следу этих нескольких новелл о детских играх, этих прелестных экспромтов, полных красок, юмора и светлой радости детства...

— Радость-то человеку всегда нужна, как воздух и пища, даже и в трудное, военное время, — сказал Бажов по другому поводу.

Было это в начале зимы 1941 года. После литературного вечера в клубе Уралмашзавода мы не торопясь шли по улице заводского городка: Павел Петрович, фольклорист В. А. Попов и я. В. А. Попов завел разговор об уральском песенном фольклоре, который ему хотелось собрать.

— Что ж, песни ведь никуда не делись, — произнес Павел Петрович, — как жили в народе, так и живут. Да вот... стойте, стойте...

Он прислушался и довольно усмехнулся, указывая на ярко освещенные окна в первом этаже одного из больших каменных домов. В открытые форточки окон слышалось веселое хоровое пение.

— «Чарочку» поют, — пояснил Павел Петрович и, обращаясь к фольклористу, добавил: — Вот вам, старинная уральская песня. Застольная, на свадьбах поют.

И мне эта песня была с детства знакома, но сейчас мне было неприятно слышать ее, как неприятен был и веселый шум, доносившийся на улицу. В душе еще были свежи впечатления нашей московской жиз-

ни: и грозовое лето и осень сорок первого года, бомбежки, бессонные ночи, строгий и напряженный строй жизни. После всего этого свадебное веселье (за тюлевыми занавесками все было отчетливо видно), эта застольная песня, веселый шум за столом показались мне в первую минуту даже чем-то несовместимым с переживаемым временем. Со свойственной ему чуткостью Павел Петрович сразу заметил это настроение, но, не удивляясь, спросил:

— Выходит, значит, если война, так молодые люди жениться не смей? Ага, вы так не думаете? Очень хорошо. Значит, вы за... тихую свадьбу... посидеть за столом, вчерашнего пирога поесть... и отправляйтесь, гости, восвояси?.. Нет, вы так тоже не думаете?.. Значит, свадьба как свадьба. Мы ведь не знаем, — может быть, жениху-то скоро на фронт идти. Будет воину о чем вспоминать... и он еще злее — ведь от счастья его враг оторвал! — будет бить, громить врага. А может, жених и невеста оба на Уралмаше работают, эти двое из сотен тысяч наших тружеников. Счастье-то ведь человеку всегда дорого, радость-то человеку всегда нужна, как воздух и пища. У этих двух молодоженов работа теперь еще спорее пойдет, а для государства очень важно — они ведь какие-то части наших машин делают...

Мы уже далеко отошли от дома, где была свадьба, а Павел Петрович продолжал говорить о ней:

— Свадьба — быт, однако не только быт. Мне, старику, вот именно теперь особенно приятно видеть, что люди справляют свадьбы, что молодежь танцует... во всем этом чувствуется уверенность в будущем. Или вот была недавно у меня встреча со студентами — какие славные ребята, сколько планов на будущее!.. И заметьте, все эти планы полны уверенности в великолепном будущем нашего Советского государства, которое обязательно победит в этой страшной, невиданной войне.

Конечно, у каждого из нас нашлось немало живых примеров этой уверенности в будущей нашей победе, уверенности, что ярко и конкретно выража-

лась в жизненных планах множества простых советских людей.

Павел Петрович вдруг приостановился, посмотрел на небо и, как будто вне связи с разговором, сказал:

— Эх, звезды-то... что зерна золотые...

Потом надвинул шапку поглубже и зашагал опять, как бы думая вслух:

— Великое дело — уверенность, сознание своей исторической правоты! Какую силу дает оно для жизни, силу неистощимую. Нам, старикам, конечно, трудновато, а то и просто нереально далеко в будущее загадывать... а вот насчет победы нашей и возвращения мирной жизни я загадал точно: доживу! Трудно пока, а все равно время на нас работает, и каждый день приближает нас к победе, к миру, обязательно приближает!

Эту мысль, что каждый день приближает нас к победе, к миру, что трудовой подвиг народа в тылу и беззаветная храбрость наших воинов на фронте, вся эта могучая сила миллионов, вдохновляемых великим учением нашей партии, является вернейшей основой победы советской державы, — эту мысль Бажов, как подлинный писатель-патриот, проводил во всех своих выступлениях, которые мне довелось слышать. И что еще было приятно: каждый раз эта мысль подкреплялась живыми и неповторимыми примерами трудовых подвигов народа в разных областях жизни Урала, которую Бажов знал глубоко и чувствовал всем сердцем.

В его высказываниях никогда не замечалось высокой температуры пафоса или торжественности, да ко всему внешнему облику его это едва ли бы подошло. Все в нем — голос, взгляд, жесты — было сдержанно, негромко, скупо. Может быть, поэтому некоторые считали его уже «уставшим от жизни», суховатым, даже скрытным человеком, не желая, очевидно, присмотреться к особенностям бажовского характера. Все, что он делал и говорил, было всегда удивительно органично его природе, его опыту и взглядам на жизнь. Никогда не замечала я, чтобы Бажов высказал случайное мнение или вынес решение, от которого потом

самому пришлось бы открещиваться. Он предпочитал помолчать, если не знал данного вопроса, и с осторожностью, взвешивая каждую подробность, подходил к разбору сложного дела. Всего важнее для него, как он выразился однажды, была «большевистская принципиальность и польза для дела». В его возрасте иногда и нелегко было вмешиваться в писательские дела, и тем более — в столкновения разного рода «материальных» интересов. Естественно, его старались оберегать, не загружать лишними обязанностями: «Бажов у нас один». Но если ему случалось услышать спор по идейно-творческим вопросам, он не мог долго оставаться в положении наблюдателя. Хочется привести один из таких случаев.

Наверное, все жившие первые годы войны в Свердловске помнят часы обедов в разных «ответственных» столовых. Там, как в клубе, встречались все: академики, писатели, композиторы, художники, актеры. Обслуживали обедающих невероятно медленно, и потому время ожидания посетители скрашивали разговорами. Однажды, войдя в зал и ища глазами свободное место, я увидела Павла Петровича. Сидя перед пустым еще прибором, он разговаривал о чем-то с несколькими незнакомыми мне посетителями за столом. Двое из собеседников, еще молодые, были (как потом оказалось) художники, один — художественный критик, двое — композиторы, люди уже за сорок, а шестой собеседник — один из маститых наших старых музыкальных деятелей. Последний в разговоре, правда, участвовал вяло, только временами вставляя короткие замечания и явно не поддерживая высказываний художественного критика. Самый молодой из всех, критик, похоже очень нервный, с таким видом, будто обижался на всех, что-то запальчиво доказывал, обращаясь чаще всего в сторону Павла Петровича. Бажов отвечал ему, спокойно поглаживая серебряную бороду и как бы с сожалением поглядывая на сердито-возбужденное лицо молодого человека.

Поблизости за столиком освободилось место, которое я и поспешила занять, очень заинтересованная

разговором. Художественный критик, как уже скоро стало понятно, утверждал, что во всех областях искусства, «имеют одинаковое право и значение» решительно все направления — от кубизма, экспрессионизма и т. д. и до реализма; что каждое «имеет свою ценность и смысл» и что «самое плодотворное положение в искусстве», по его мнению, заключается в следующем: пусть-де все направления спорят между собой и пусть каждое по-своему доказывает «свой смысл и красоту» — и вот в этой-то «драке» и «рождается истина» и т. д. Критик приводил разные примеры, но всякий раз Бажов своими жизненно яркими и художественно убедительными примерами спокойно разъяснял ему несостоятельность его путаных рассуждений.

В спор уже начали вмешиваться и ближайшие соседи. Все мы так дружно поддерживали Бажова, что незадачливый «защитник всех направлений», как он сам себя называл, наконец обиженно воскликнул, обращаясь к Павлу Петровичу:

— Целое наступление на меня, чтобы сделать удовольствие Бажову! Вы можете торжествовать, Павел Петрович!

— Вот уж к чему не стремлюсь, да и незачем это мне, — спокойно ответил Павел Петрович.

— Но вас же так рьяно поддерживают!

— Не меня, а социалистический реализм, который для всех нас, работников советского искусства, является ведущим творческим методом.

Тогда критик стал доказывать, что социалистический реализм он-де «включает в свою концепцию в порядке всеобщего равноправия» и т. д. Но Бажов все с тем же неистощимым спокойствием глубокого убеждения снова переборол его:

— Вы хотите любить все — и ничего в особенности. Проще говоря, вы ничего всерьез не любите. В искусстве, как и в жизни, так думать и действовать нельзя. А где же тогда борьба в искусстве за все новое, передовое, где конфликты?

— Да, конфликт действительно главная пружина действия, — недовольно согласился критик.

— Ну... вот, сами видите, — усмехнулся Павел Петрович, — без пружины машина не пойдет.

Когда, не поддержанный никем, критик ушел восвояси, я спросила Павла Петровича:

— Давно знакомы вы с этим молодым, но старомодным эгоцентристом?

— Первый раз в жизни вижу, просто вместе очутились за столом... ну, и я, даже при спокойном моем характере, не мог равнодушно слушать эту формалистско-эгоцентрическую ересь.

Когда в начале весны сорок третьего года я поехала в Москву, встретиться, поговорить напоследок с Павлом Петровичем не пришлось: он был болен. Конечно, я знала, что буду еще встречаться с ним в Москве, но в тот день как-то очень тянуло сердечно сказать ему, как много значило, особенно в трудное военное время, встречать всегда в Павле Петровиче старшего товарища, умного, отзывчивого, богатого разносторонним опытом жизни, всегда по-партийному принципиального, чутко понимающего творческую жизнь, идейно-художественную природу таланта каждого писателя. Хотелось за все это сказать сердечное спасибо, пожать руку нашему уральскому волшебнику поэтического слова и прекрасному человеку.

Весной сорок четвертого года в Союзе писателей была первая после начала Великой Отечественной войны конференция, созванная Комиссией по работе с русскими писателями республик, краев и областей. Павел Петрович делал доклад о работе Свердловского отделения ССП. Выглядел Бажов бодро, новая черная толстовочка ловко сидела на его небольшой фигуре, гладко причесанные седые волосы над высоким лбом приятно серебрились. Слушая его доклад, как обычно деловой, самокритичный, я вдруг вспомнила высказывание одного из художников, которому Литературный музей СССР заказал портрет Бажова. Художник, недавно познакомившийся с Павлом Петровичем, рассказывал мне о своих впечатлениях. «Какая чудесная «натура» Павел Петрович! Эти сереб-

ряные волосы и борода, этот чистый просторный лоб, в котором так и читается мудрость и полет фантазии!»

После доклада Бажова ко мне подошел поэт-дальневосточник Петр Комаров. Он радостно улыбнулся:

— Знаете, оказывается, Павел Петрович читал мои стихи... я этого никак не ожидал, честное слово!.. Я думал, прозаики поэтов не читают, так я и Павлу Петровичу сказал. А он засмеялся. «По поводу такого мнения, говорит, сделали скидку на вашу молодость». Потом, кроме добрых слов, он сделал ряд верных и тонких замечаний, которых, пожалуй, я даже от поэтов не слыхал. Я слушал Павла Петровича и думал: «Широкая, светлая душа у этого человека!»

В тот же день я поблагодарила Павла Петровича за его душевную беседу с поэтом-дальневосточником. Петр Комаров, кстати, на конференции определенно проходил «в именинники» — его стихи обсуждались особенно оживленно, как создания подлинно поэтического и свежего таланта. Внимание Бажова к этим дальневосточным стихам было мне приятно еще и по другой причине: талантливый поэт уже давно болел туберкулезом, и, как часто бывает с больными, моральная поддержка и похвала исключительно подбадривали его.

Павел Петрович, выслушав это, понимающе кивнул, а потом произнес с доброй и многозначительной улыбкой:

— Талантлив парень, талантлив по-настоящему. Было бы только здоровье, а победа у него впереди.

Довелось мне еще несколько раз встречаться с Бажовым, когда он приезжал на сессии Верховного Совета СССР. В перерывах между заседаниями Верховного Совета он непременно заходил в Союз писателей — и всегда по поводу важных и насущных вопросов для писателей Свердловской области. Не помню случая, когда бы Бажов не знал, кто из писателей-уральцев над чем работает и какие произведения скоро выйдут в свет. В один из приездов Павла Петровича в Москву в конце сороковых годов все беседовавшие с ним в тот день обратили внимание

на его болезненный вид и странный, мутный взгляд. Он устало щурился, прикрывая глаза рукой. На вопросы, что с ним, почему он так дурно выглядит, Павел Петрович отвечал нехотя:

— Да ничего особенного, нездоровится немного... ну и глаза что-то...

Это «что-то», как потом выяснилось, была болезнь сетчатки, грозившая зрению тяжелыми последствиями. Однако сам Павел Петрович относился к своей болезни без особого беспокойства.

— Павел Петрович, дорогой, да вам надо лечь в глазную больницу, ведь в Москве у нас есть замечательные офтальмологи, — говорили ему.

— В больницу только попади, время так мимо тебя и побежит, — отшучивался он. — Нам, старикам, и такого зрения хватит.

На своем юбилейном вечере в Центральном Доме литераторов Павел Петрович был оживлен и будто весь светился сердечной радостью: его, автора чудесной «Малахитовой шкатулки», государственного деятеля, собралась поздравить литературная общественность, писатели, родные, друзья, литературная молодежь. Помню, как понравилась всем заключительная речь юбиляра: только в словах благодарности всем пришедшим на его праздник Бажов сказал очень скупо о себе, а в основном он говорил о советской литературе, о неиссякаемой силе ее идей, о жизненной правде ее образов, о благородных и ответственных перед народом задачах передового художника, неутомимого борца за мир во всем мире, советского писателя.

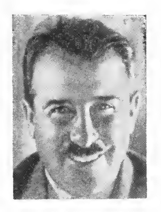
— Крепок еще старик! — говорили в тот вечер, и уж конечно никому не пришло в голову, что эта встреча писателя с собратьями по перу и с читателями — одна из последних. Уж таков этот неписаный закон литературной жизни: человек цветущей творческой силы представляется нам и физически крепким. Известие о тяжелой болезни Павла Петровича поразило меня. Несколько раз я хотела пойти к нашему Бажову, но посетить Павла Петровича так и не удалось. Врачи явно неодобрительно смотрели на посещения

больного: «Павел Петрович слаб, очень просим не беспокоить его». Много, наверно, дружеских, теплых приветов передавали Бажову в те дни. Однажды во время лечебной процедуры я услышала разговор двух медицинских сестер, которые с искренней печалью говорили о Павле Петровиче, что он «очень, очень плох».

Прошло два-три дня, и мы простились с Павлом Петровичем навсегда.

Воспоминания о большом художнике слова, чьи жизнь и творчество были так органично связаны с бытием советского народа, всегда для меня связаны не только с чувством печали об ушедшем, но и с чувством горечи и недовольства: общаясь с человеком при жизни, мы все-таки мало и бегло откладываем в памяти, многое помнится неточно, бледно, а то и просто теряется. Однако самое главное остается: душевное уважение и любовь к творческой личности писателя, к патриотическому труду его жизни для блага нашей великой родины и советского народа.

1951





МАТЭ ЗАЛКА

Весной 1928 года на Первом съезде пролетарских писателей ко мне подошел во время перерыва небольшого роста плотный человек в сером костюме. Мы познакомились. Имя его мне было незнакомо — Матэ Залка.

Он свободно говорил по-русски. Манера мягко произносить некоторые гласные и согласные и легонькая путаница в ударениях выдавали в нем иностранца.

— Я венгерец, — ответил он на мой вопрос. — Венгерские танцы Брамса... тра-ла-ла... знаете?

И он мальчишески весело расхохотался. Моя догадка, что Матэ Залка был военнопленным в России в империалистическую войну, оказалась правильной: он попал в плен в 1916 году.

— Благодаря этому и стал потом человеком, — добавил он, быстро сменив шутливый тон на задумчивый и серьезный.

В такие минуты черты его лица становились жестче, голубые глаза темнели — и тогда думалось, что этот жизнерадостный человек пережил немало потрясений. Но сила жизни, здоровье, крепкая, добротная

скроенность его внешнего, а также, как вскоре я решила, и внутреннего облика чувствовались особенно ярко в каждом его слове и жесте. Кроме этих черт мне сразу понравилась в Матэ Залке прямота его высказываний. Прямота, которая исходит прежде всего из своего внутреннего убеждения и потому выражает себя ясно и определенно. Эту подлинно большевистскую черту характера Залки нетрудно было заметить во время нескольких разговоров с ним на съезде. Однажды на съезде выступил Панаит Истрати, которого тогда считали другом Советского Союза. Большеносый, с крупными рябинами на тощем темном лице, худой, узкоплечий человек метался на трибуне, выкрикивая по-французски декламационно-звонкие фразы.

В комнату, где у окна мы разговаривали с Матэ Залкой, вошел Истрати, окруженный интервьюерами и жаждущими познакомиться с ним. Глаза его блуждали, как у одержимого. Он лихорадочно вытирал пот со лба, с утиного носа, с темных своих щек.

— Истерик! — кратко сказал Матэ Залка. — Он мне совсем не нравится, не желаю даже и знакомиться с ним.

С досадой и иронией, а потом все более недобрым тоном он заговорил о романах «этого гостя»:

— Как о нем подняли слишком много шуму, так и все герои его больше шумят, чем делают. На таких людей надеяться никак нельзя. Бои между пролетариатом и буржуазией все усиливаются на Западе, и чем ближе «последний и решительный бой» между ними, тем определеннее, точнее, конкретнее должен проявлять писатель свои политические симпатии. Или за тех, или за этих! — закончил он, решительно рассекая воздух небольшой сильной рукой. — Тогда ясно видно, с кем имеешь дело.

Вспоминается мне и еще несколько очень характерных для Матэ Залки высказываний, которые относятся к тем же съездовским дням. Тогда как-то уж слишком крикливо, с треском и шумом фейерверка, поднималась слава одного молодого драматурга. Конечно, он был талантлив, но, как потом многие гово-

рили, слишком любил пользоваться «конъюнктурными обстоятельствами». Доверчивая зеленая молодежь стайками ходила за ним. А он, глядя поверх наивных голов, поучал их небрежно, непререкаемо, уверенный в том, что каждое его слово будут ловить на лету. Я спросила, кто это. Залка с чуть заметной насмешкой ответил:

— А... этот? Недавно делал сценарии для кино, а теперь преславный, — он вздохнул, — драматург.

Заметив, что я смотрю на новенькую, блестящую, будто облитую маслом, кожаную куртку «преславного» драматурга, Залка сказал:

— Это у него специальный костюм — для масс.

И Залка, смеясь голубыми глазами, поправил свой красивый шелковый галстук.

Когда я переехала в Москву, мы встретились с Матэ Залкой как старые друзья. Первым делом он озабоченно осведомился, как я устроилась с квартирой. Узнав о многих ее несовершенствах, он несколько минут забавно сокрушался, с непритворной досадой почесывал за ухом, хмурился и вслух жалел, что «коммунальные дрязги» помешают мне работать. На мой вопрос об его квартире, Матэ ответил добродушным смехом:

— Ну... нельзя сказать, чтобы уж очень была хороша!

Он рассказал с разными комическими подробностями, как в голодные, бестоварные годы он собственным трудом «оборудовал квартирку» из старого автомобильного гаража.

— Одни эти проклятые гвозди... к-как они меня мучили... ой-ой!

Он умел шутить и смешить, заражая своей жизнерадостностью. Мне случалось видеть его серьезным, озабоченным, недовольным, но никогда я не видела его унылым, с безнадежно кислым лицом или опущенными плечами. Он всегда был как-то сдержанно весел, прост, ровен в обращении с товарищами. Большей частью он ходил в военном, и оттого его небольшая плотная фигура казалась еще более подтянутой, а походка легкой. Держался он всегда скромно, на

литературных собраниях выступал не часто и всегда по конкретному поводу, говорил сжато, даже в том случае, когда вопрос волновал его. Должно быть, сильно не любил он обид и жалоб на невнимание, уязвленного самолюбия и т. п. Однажды, поднимаясь по лестнице (дело было перед партсобранием), я услышала насмешливый голос Матэ, который, отвечая кому-то, говорил:

— А ты так и носишься со своей обидой! Выброська ты этот сор из кармана. Если тебя справедливо задели, значит, надо еще лучше работать, а если несправедливо задели... — голос его вдруг подобрел и повеселел, — то и тогда надо еще лучше работать, чтобы доказать на деле, что тебя надо ценить больше. Вот и все!

Поздоровавшись с ним, я похвалила его правильный совет товарищу.

— Иначе и не скажешь, — ответил он и тут же, лукаво подмигнув, тихонько добавил: — Я сам именно так и делаю — ведь критика меня не очень-то жалует!

Если иной критик не в меру придирчив или исходит из требований того, «чего нет» или что «должно быть», то беда не в этом, а в том, что критика очень часто не замечает «самого главного, чем человек дышит».

— Один мне сказал: «Уж очень обыкновенные, серые люди твои герои». Ну да. Так это же и есть самое главное для меня. Я пишу про обыкновенных, если хотите, серых людей, — а социализм делает из них ярких, умных, сильных, создает из них героев.

После собрания мы вышли вместе, и Матэ опять начал разговор на тему, которая глубоко волновала его. Да, он пишет о людях, в которых «нет ничего замечательного», но его и не интересует писать о «готовеньких» героях. Ему дорого показать, как захватывает человека борьба против эксплуататоров, врагов трудового народа, как пробуждается и растет в человеке классовое сознание борца за социализм.

— Это же самая великая, сама благородная в мире работа, которая создает человека!

Потом все горячее он заговорил о том, что «никого на свете» он не любит так, как именно тех людей, кто из тяжелого труда, бесправия и убогой жизни выбился «на путь социалистической борьбы».

— Человек прежде знал только «мой хлеб», «моя хата», «моя нация»... и стал понимать и любить, как свой, и другие народы.

Я напомнила об его «Храбром портняжке». Он весело повел широкими плечами, но спросил сдержанно, даже как бы небрежно:

— Ну, как он... мой Ферри Льесе... ничего себе парень, а?

Несколько погодя он, усмехнувшись, сказал, что «неспроста» написал предисловие к повести «Храбрый портняжка»: он, Матэ Залка, сам сказал о том, что для него является «самым главным» и о чем прежде всего он и хотел бы знать суждение критики.

— Пробуждение классового сознания... человек набирается сил борца... вот пусть мне прежде всего об этом скажут, как это у меня получается... Ругай меня, но говори дело!

Придя домой, я взяла с полки книжку «Храбрый портняжка», и каждая строка авторского предисловия окрасилась горячностью и волнением, которых я не замечала раньше:

«Буржуазный сочинитель сказок, желая показать своим юным читателям пример храбрости, всегда выбирает героем благородного рыцаря или, в крайнем случае, третьего сына бедного короля. Своих героев он никогда не берет из среды пролетариата...

...В сказке «Храбрый портняжка» высмеивается подмастерье портняжного цеха, мечтавший прослыть героем.

Время дало оценку этой насмешке. Пролетариат вошел в героическую фазу своей эпохи. Из его среды выходят герои, которым позавидовали бы самые благородные рыцари. Правда, эти герои — не профессиональные храбрецы. Это просто трудящиеся, которые готовы отдать свою жизнь за дело своего класса. Они жертвуют собой с не меньшей отвагой, чем в свое

время жертвовали собой феодальные рыцари. Они овладели искусством побеждать не хуже, чем талантливые генералы буржуазии.

Мой герой — простой портной, но он настоящий «храбрый портняжка». Он — рядовой сын пролетариата, и притом не менее благородный и не менее храбрый, чем герои сказок Андерсена или Гримма. Настало время показать, что храбрый портняжка действительно может одним взмахом семерых убить. И верно! Он убил самодержавие, смел буржуазию, уничтожил войну, прекратил эксплуатацию человека человеком, дал сокрушительный отпор вездесущему богу, победил голод и обратил в бегство невежество... одним взмахом.

Я отвечаю буржуазному сочинителю сказок рассказом, к которому очень мало прибавил своей фантазии».

Лет через пять-шесть Матэ Залка надумал поговорить с критиками в статье, которая получилась неудачной. В разговоре по этому поводу он говорил, огорченно подшучивая, что он не знает «разных конъюнктурных хитростей», не умеет «ловко и тонко выражать свою мысль».

Да, этот боец гражданской войны, красноармеец, организатор красногвардейских отрядов на Дальнем Востоке, боец войск ВЧК — ОГПУ не умел хитрить. С нескрываемой иронией и презрением он говорил о «ловкачах», которые «устраивают» себе славу путями и способами, не имеющими ничего общего с творчеством, с честной работой писателя. Высказываясь о «ловкачах», он не щадил и «наших венгров».

— Некоторые наши венгры меня не любят: им не нравится, что я к кой-кому не хожу чай пить, не торчу в гостиных и кабинетах разных там высокопоставленных... Я хочу брать работой, только работой!

Однажды кто-то сказал о Матэ Залке:

— А вы знаете, что он от колчаковцев увел целый поезд с золотом?.. Да и мало сказать — увел, а еще и сохранил этот золотой поезд до прихода советской власти.

Такой факт из биографии не мог не заинтересовать — и как-то при встрече я попросила его рассказать историю о золотом поезде.

— Ну... — сказал он, лениво отмахнувшись, — ничего особенного не было. Вывезли — и все.

Я попробовала настаивать еще раз-другой, но Матэ Залка упрямо отмахивался. Но со временем о золотом поезде ему все же пришлось рассказать. Вышло это так. В 1932 году он предложил мне:

— Я бы с удовольствием дал в «Молодую гвардию» мой новый роман на интернациональную тему под названием «Кометы возвращаются».

Тут же, понижая голос до басовых нот, как всегда, когда дело шло о чем-то лично для него неприятном, он добавил, что «обязан сказать» правду: он говорил с несколькими товарищами и заметил, что к роману его отнеслись холодно. Не смущает ли меня как редактора журнала это обстоятельство? Я ответила, что ничуть меня не смущает. Он просветлел, тылом руки провел по коротким усам (характерный его жест, выражавший довольство), и детски-веселая улыбка разлилась по его лицу.

— Ты подумай, это же самая дорогая для меня тема — интернациональное братство!

Он увлеченно заговорил о счастье, которое может дать только социалистическая революция, — о счастье революционной борьбы, которая сплачивает воедино борцов разных наций. Человек борется и умирает за счастье другого народа — что может быть выше и благороднее такого дела?

В погожий сентябрьский день, под вечер, Матэ Залка приехал ко мне на Старую Башиловку, чтобы «посоветоваться насчет своего детища». Продолжая недавний наш разговор, он сказал, что роман «Кометы возвращаются» он обдумывал несколько лет, более того: он его «проверил на собственной жизни».

В те годы Венгрия представляла собой капиталистическое государство, где феодальные порядки с мужицким малоземельем и княжескими латифундиями мирно уживались с хозяйничаньем иностранного ка-

питала и его наживательством — «все за счет наших малограмотных и забитых мужиков», как говорил Матэ.

Роман «Кометы возвращаются», как он полушутя говорил, «типично венгерская вещь». Замысел романа был навеян событиями двух революций: Великой Октябрьской революции и венгерской революции в 1919 году.

— Великая Октябрьская победила, а венгерская была разгромлена! — с горечью говорил он. — И какая трагедия, сколько замечательных ребят погибло!

Особенно поразила его гибель Тибора Самуэли, о котором он не однажды вспоминал. Тибор Самуэли попал «в русский плен» в 1915 году, а он, Матэ Залка, в 1916 году.

— Тибор был старше меня на несколько лет, а я был тогда просто зеленый мальчишка... но как же много я узнал в России! Я духовно повзрослел в плену, русский трудовой народ научил меня, как надо ждать революцию...

И он рассказал несколько маленьких историй о том, как «раскалена» была русская народная жизнь в шестнадцатом году, — и все эти случаи, ему запомнившиеся, конечно, были вполне типичны. Мы принадлежали к одному поколению и, каждый в своих условиях и обстоятельствах, могли слышать, что в те годы говорили о приближающейся революции как об избавлении от войны и голода. Матэ приводил много примеров того, как в этот «последний год русского самодержавия» он изучал на практике русский язык.

— Очень сильно и кратко может выразиться русский народ! — говорил он, смешливо щуря глаза. — Знаешь, какое проклятье всем несчастьям — от самого царя до последнего полицейского — я слышал всюду?

— Какое же именно проклятие, Матэ?

— О-о!.. Пр-ровалиться бы всем им в тартарары-ы! — И он с бурным жестом, белозубо хохоча, повторял: — В тартарары-ы!.. Сильно сказано... верно?..

Ни один народ не может так заразить своей смелостью и решительностью, как русский народ!

Оп представлял себе очень ясно, как и Тибор Самуэли учился у русского народа, у русского рабочего класса и «свое революционное образование тоже прошел в России».

О Тиборе Самуэли он говорил особенно тепло и часто.

— Сколько бы он мог совершить чудных революционных дел! Он был отчаянный храбрец и отличный журналист — он мог любую проблему жизни и борьбы поднять... вот так! — и Матэ торжественно поднимал большой палец и многозначительно вскидывал головой. — Тибор Самуэли горел революционной волей и мечтой... и знаешь, он был настолько же романтик, как и один из вождей венгерской революции. Он трагически погиб за революцию, в самом цвете жизни!

Тибор Самуэли, беззаветно храбрый борец, конечно, верил в победу и как романтик, а революцию «надо суметь удержать», а такой «школы», как у русского рабочего класса, у венгерских революционеров еще не было.

— Н-но дело не пропало! — страстно повторял Матэ. — Революция сверкнула, как комета, н-но кометы возвращаются!

Он верил в возвращение революции в Венгрии, а его обоснования казались мне убедительными. Никто не может, понятно, говорил он, предугадать ее сроки, но «весь ход истории», по его мнению, показывает, что революция в Венгрии «должна разразиться». Матэ понимал, что именно это предчувствие «возвращения комет» на венгерское небо составляет главный смысл и настроение, или, как он говорил, «воздух» его романа. Поэтому он много рассказывал о Венгрии, особенно о венгерской деревне — «ведь я сам тоже деревенский!». Он родился в деревне Мамольч и часто вспоминал о родных местах. Не помню, сколько раз мы с ним у меня дома, в тишине моей рабочей комнаты, обозревали пути становления и деятельности героев романа «Кометы возвращаются», но помню,

что о родных местах он вспоминал всегда. Рассказывал он так живо и красочно, с таким мягким юмором, что к нашей беседе нередко присоединялись взрослые члены моей семьи. Совершенно о том не заботясь, Матэ умел привлекать к себе самых разных людей. Моя мать, старая многоопытная женщина, всегда восторженно встречала Матэ и говорила о нем не иначе как «наш милый Матвей Михайлович», «умный, прелестный человек-храбрец». И он, чувствуя эту материнскую ласку, с сыновней, почтительной нежностью здоровался с ней. Однажды, войдя к нам, Матэ весело рассмеялся:

— О, как сильно пахнет абрикосовым вареньем!

Наша старушка ответила ему, что, зная о его приходе сегодня к нам, угостит его свежим вареньем из абрикосов, которые ему «напоминают Венгрию...».

Мы пили чай со свежим, еще не остывшим абрикосовым вареньем. Матэ вспомнил, как в детстве он любил лазить на деревья за абрикосами и как однажды чуть не свалился наземь, но счастливо зацепился курткой за толстый сук и повис на нем. Вспомнил, как хороши плодовые сады в Венгрии, как кудрявы леса на венгерских горах («Понимаешь, будто густой бараний мех»), как красивы луга и долины. Вспомнил и о деревенских музыкантах — особенно о каком-то старике скрипаче: его старые, грубые, распухшие от тяжкой работы руки умели зажигать своей музыкой всех, от мала до велика. Когда он играл, никто («Разве только хромые!») не мог устоять на месте, все пускались в пляс.

— Народ в Венгрии веселый, хоть и мучают его сильно, — помещики одни чего стоят: с собаками из дому выезжают, а псы свирепые, как хищные звери!..

А до тех пор, пока венгерский народ не сбросил с себя «железной кабалы» помещиков, буржуазии и военщины, ему, Матэ Залке, все пути на его бывшую родину отрезаны.

— У-у, я там считаюсь опасный государственный преступник.

Я спросила, скучал ли он по своей Венгрии. Да, первое время он, конечно, скучал — ведь он вдоба-

вок «еще совсем был мальчиком», когда попал в русский плен. Потом, когда его захватила революция, он «отдал все силы новой родине» — Советскому Союзу.

— Здесь я стал коммунистом, вместе с русским народом дрался за советскую власть — и этим все сказано!

Он прочел несколько отрывков из первых глав романа «Кометы возвращаются», и мы проговорили далеко за полночь, причем Залка все время допытывался: «Ну, а тут какие изъяны видно?» Он просил меня «ругаться побольше» и не бояться, что ему «этим можно сделать неприятно», — совсем даже наоборот: похвалы всегда несколько однообразны и «непозволительно успокаивают», зато критика, обоснованная и конкретная, всегда тревожит и возбуждает новые мысли.

Помню, мне сразу понравился его образ старого кавалериста, дяди Жиги и командира Гара. Даже в черновой редакции, несмотря на кой-какие шероховатости, роман можно было считать удавшимся. Я спросила, кто был прототипом дяди Жиги. Он ответил, что дядя Жига скорее собран — «ото всех понемножку».

— Но венгерского в нем не больше, чем русского, — сколько материала я получил, например, от таких ребят, которые поезд с золотом увели.

— Вот как он выплыл опять, золотой поезд, — и на сей раз, как сам Матэ тут же признался, «отвертеться не удалось».

Матэ оказался чудесным рассказчиком, динамичным, остроумным. Мелкие ошибки в русском языке, которые в минуты волнения у него встречались чаще обычного, придавали его речи своеобразную красочность. Его лицо, полное, почти круглое, с мягким румянцем, на первый взгляд типичное лицо сангвиника, сейчас выражало непреклонную волю, боевую решимость и упорство. Чувствовалось, как бурно воспоминания нахлынули на него, но рассказ его, при всей своей эмоциональной живости, был сжат и скуп на слова. Помню, в рассказе об этом событии меня пора-

зила отчаянная отвага, выдержка, с которой был выполнен блестяще задуманный и строго выверенный план.

— Вывезли мы наш поезд спокойно, как по расписанию...

Он почти не упоминал о себе, всюду выдвигая на первый план «мы», как будто не его ясная и смелая голова придумала этот план, как будто не он, Матэ Залка, был командиром этого драгоценного поезда. И опять же «мы» и «они», эти «славные бойцы, замечательные ребята», спрятали и сохранили этот поезд в тайге до самого прихода Красной Армии.

Я спросила, не случалось ли у людей искушений (ведь золото везли!), особенно в то время, когда поезд стоял, укрытый в тайге.

Матэ весело и решительно отмахнулся, голубые глаза его заискрились смехом.

— О, искуситься было невозможно!.. Ведь люди боялись даже близко подходить к составу...

— Боялись?

— Ну да, как черт ладана, курить уходили за полверсты.

— Но почему, почему?

— Я сказал им, что поезд... набит динамитом.

Уж тут нельзя было обойтись без «я», да и, кроме того, воспоминание об этой «хитрости» радовало его, как находка.

Если в начале этого «золотого похода» он был счастлив, что все удалось, то в конце его он был еще счастливее, так как был вызван в Москву, к Владимиру Ильичу Ленину.

— Он сказал: «Здравствуйте, товарищ Залка...»— и обнял меня...

По великой своей скромности Матэ забыл добавить, что по приказу Ленина был награжден золотым оружием.

Однажды, кажется во время съезда советских писателей в 1934 году, я случайно заметила мелькнувший из-под кармана Залки бело-синий треугольник парашютного значка.

— Матэ, ты прыгал?

— А, стоит говорить!

Весной 1933 года Матэ Залка подружился в Сочи с Николаем Островским. У меня хранится письмецо Матэ, которое он написал мне, находясь у Островского:

«Я нахожусь у Николая в гостях. Зашел поговорить. Познакомились и, думаю, подружились с ним. Хороший мужик он. Жаль, что временно так свалился».

Из письма видно, что Матэ немедленно занялся всеми делами Николая Островского. Матэ хлопочет о помещении Николая в дом отдыха, хлопочет о пайках, беспокоится, что редакторы издательства «слишком вольничают насчет сокращениев» в книге «Как закалялась сталь». Николай Островский называл Залку «наш милый венгерец» и «милый Матэ», «бесстрашный Матэ» и считал его жизнь «замечательным примером» храбрости и революционной честности. «А доброта его согревает и поднимает, как рука любимого брата».

Однажды, когда я была у Островского в его московской квартире, пришел Залка. Он вошел, крепкий, здоровый, румяный от мороза.

Среди разговора Николай сказал Матэ:

— Мы ведь оба с тобой, Матэ, конники, кавалерия...

И вдруг, что-то вспоминая, замолк. Матэ подмигнул мне и ответил беспечно-смешливым тоном:

— Ну, Коля, какой я теперь конник — постарел, отяжелел, тумба тумбой!

Милый Матэ! Чтобы вызвать улыбку больного товарища, он готов был записать себя в старики. А когда он смеялся, жмуря глаза и шевеля плечами, каждому хотелось смеяться.

Один из героев романа Н. Островского «Рожденные бурей» — австрийский солдат Пшигодский — рассказывает, как в 1917 году в русском плену поднял пленных «отчаянный парень, лейтенант Шайно». В бесстрашном Шайно, который повел пленных навстречу большевистской революции, нетрудно узнать Матэ Залку.

«Шайно и нас, заводил из солдат, упрятали в тюрьму, собрались судить военно-полевым. Но тут началась заваруха. Добрались большевики и до наших лагерей. Всех освободили. Пошли митинги. И вот часть пленных решила поддержать большевиков. Собралось нас тысячи полторы, если не больше, — венгерцы, галичане... Все больше кавалеристы. Вооружились, достали коней. Захватили город. Открыли тюрьму. Нашли Шайно и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно человек порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй». Лейтенант долго не раздумывал. «Рад стараться. Давайте, говорит, коня и пару маузеров!» И пошли гвоздить господ русских офицеров. И так мне это понравилось, что я целых полгода с коня не слезал. Лейтенант Шайно с военнопленными остался партизанить на Дальнем Востоке...»

Включение этих эпизодов из жизни Матэ Залки в ткань романа продиктовано не только чутьем художника, сразу увидевшего их ценность со всех точек зрения, но и братской дружбой, которую эти два прекрасных большевика питали друг к другу.

Помню зимний вечер 11 декабря 1935 года, когда вагон Николая Островского приехал в Москву. Одним из первых, кто пробился в вагон сквозь осадившую его толпу, был Матэ Залка. Как сейчас вижу его радостно улыбающиеся голубые глаза и выражение его лица, бережное и нежное, когда он вошел в купе, полутемное купе, чтобы обнять своего друга.

— Молодчина он, наш Коля! Настоящий боец! — выйдя в коридор, шепнул мне Матэ, не скрывая влажного, растроганного блеска глаз, и тут же заботливо начал расспрашивать сестру Островского, Екатерину Алексеевну, как чувствовал себя Коля в последнее время, что нужно сделать для него.

До всего ему было дело, все его заботило: квартира, перевозка «нашего дорогого друга» в город, даже погода — «человек же с юга приехал!»

Незадолго до приезда Николая Островского в Москву в квартире его (ул. Горького, 40) заканчивались последние ремонтные работы. Так как я имела

довольно близкое касательство к этому делу, Матэ мне звонил каждый день по разным поводам: то его заботило, достаточно ли просохли стены, то — не слишком ли пахнет краской, то — хороши ли электропечи и обеспечат ли они температуру двадцать четыре — двадцать пять градусов в комнате Николая. Потом сказал, чтобы не удивлялась, что он так беспокоится обо всех этих житейских удобствах для друга.

— Мой революционный энтузиазм не мешает мне быть реалистом! — шутливо добавил он.

В ту минуту он, наверно, не подумал о том, как хорошо выразил он одну из главных черт своего характера — как политического борца и гражданина эпохи. Преданность партии Ленина, безупречная коммунистическая честность, подлинно большевистская скромность, чуткость, доброта и революционный энтузиазм включали в свой круг высоких качеств человека и чувство реального, глубокое органическое умение разбираться в людях, в обстановке, в причинах явлений. «Одной смелостью не одолеешь, надо все делать основательно и добротно — хорошее это русское слово!» — вспоминалась мне брошенная им както фраза. Да, он все делал добротно и основательно, оттого-то и все героическое, что он называл делом и обязанностью, удавалось и побеждало, будь это походы партизан на Дальнем Востоке или увод от белых поезда с золотым запасом.

Рассказывая даже об очень трудных и полных опасностей событиях эпохи гражданской войны, в которых ему довелось участвовать, он никогда не подчеркивал именно этих обстоятельств, а повествовал о них спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. О себе и о том, что ему выпадало на долю, Матэ говорил так скупо, что некоторым даже казалось, что уж вроде не столь много и значило его личное участие в переданном им событии. Может быть, именно эта его черта — «помалкивать о себе», как добродушно посмеивался Матэ, — создавала о нем неверные представления. «Славный парень наш Матэ Залка, — говорили о нем, — приятно с ним на даче вечерком «сразиться» в преферанс, поболтать о том

о сем!» Другие возражали: нельзя забывать, что Матэ Залка, как участник гражданской войны, писатель-коммунист, много видел, испытал и много знает как военный человек. «Ну, да что в нем военного, — сомневались третьи, — это же типично штатский, такой мягкий и симпатичный парень!»

Наконец, четвертые говорили, что такая же, мол, мягкость и даже — «бог ему прости!» — незатейливость повествования и лепки образов характерны и для творческой манеры Матэ Залки. И как же все эти суждения были поверхностны и неправильны!.. «Типично штатский» Матэ Залка оказался боевым, храбрейшим генералом Лукачем, стал любимцем, народным героем борющейся за свою свободу Испании. Мягкая «незатейливость» творческой манеры писателя оказалась на поверку многогранным обобщением образов и событий первой мировой войны, суровым разоблачением черной предательской роли империалистических правительств Австро-Венгрии и вообще Европы в подготовке мировой бойни 1914—1918 годов — в романе «Добердо», одном из сильнейших романов о первой мировой войне. Его мужественный и глубокий реализм широко устремлен в будущее, в грядущие перемены в судьбах трудового народа. В чем это выразилось? Солдатская масса в романе «Добердо» не сплошная, безликая и предельно забитая властью начальников, — нет, в массе происходит внутреннее брожение чувств и сознания и все больше проясняется смысл происходящего, причины народных несчастий и резкой противоположности жизненных устремлений трудового народа и власть имущих. Пробуждающийся народ, ненавидящий войну, жаждущий мира и справедливого устройства общества, — вот они, солдаты на скромной высоте Добердо!

Матэ Залка, с которым, казалось, так недурно «сразиться» в преферанс на даче, оказался народным героем своей родной страны, своей родной венгерской революции и борющейся Испании.

Весной 1936 года на каком-то литературном вечере я встретила Матэ. Он показался мне похудевшим и как-то грустно-сосредоточенным. Я спросила, не бо-

лен ли он. Нет, он здоров и много работает над новым романом, которым сильно увлечен. Время — империалистическая война 1914—1918 годов, но он чувствует, что тема его выглядит «совсем свежей».

— Фашизм бешено вооружается, и Европе опять грозит бойня, страшная бойня!

И он с силой потряс головой. Он, Залка, погрузился в воспоминания о той войне и как бы дохнул опять ее «злого дымного воздуха». Он чувствует и твердо убежден в том, что «о некоторых проблемах той войны» полезно поговорить в наши дни, когда в Европе «все сильнее пахнет войной». На примерах прошлой войны есть о чем задуматься на будущее.

— В европейском масштабе. Возьми, например, вопрос о боеспособности масс в империалистической войне. О, с этим дело стало много, много сложнее!

Конечно, он говорил о романе «Добердо», который был напечатан в первой половине 1937 года.

Эта встреча с Матэ была последней. Когда я узнала, что он уехал в Испанию сражаться в рядах интернациональных войск за свободу и независимость героического народа, я нисколько не удивилась: этот бесстрашный рыцарь интернациональной борьбы включился в свое коренное, родное дело. Было время, он бился за свободу, за счастье русского и других народов, которые разбили цепи ненавистного царского режима. Теперь он пошел биться за счастье и свободу испанского народа, так изменнически преданного в кровавые руки фашистских разбойников. Доходили вести о Матэ Залке, одном из храбрейших бойцов республиканской Испании, о Залке — генерале Лукаче, кого так полюбил испанский народ.

Весть о смерти Залки на боевом посту поразила в самое сердце тех, кто знал его. Долгое время не хотелось верить, что этого прекрасного, беззаветно смелого бойца-коммуниста, талантливого художника и чудесного человека нет больше на свете.

«Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были...» Да, с благодарностью, с гордостью вспоминаем о Матэ Залке — генерале Лукаче, нашем

товарище. И не только мы, но и весь народ героической Испании, который, исходя кровью сынов и дочерей своих, мужественно борется с фашистскими бандами. Жизнь Матэ Залки — генерала Лукача, несгибаемая, благородная, чистая, бесстрашная, вдохновляет, учит, как высокий боевой пример. Она заставляет сжимать кулаки в неукротимой ненависти к врагам социализма и вместе с тем еще увереннее поднимать голову: правда социализма сияет, как солнце, а силы социализма неисчерпаемы, безграничны — и врагам его не жить на земле. Так решила история. За это боремся мы и вместе с нами — честные люди всего мира.

1938





Летом 1927 года по вызову Госиздата я приехала в Москву — для серьезного, делового разговора.

Хотя в Госиздат я пришла точно к назначенному часу, мне сразу стало ясно, что придется ждать довольно долго: товарищ (уже не помню, кто именно), которому был поручен этот важный для меня разговор, где-то задержался. Его уже ожидало около десятка посетителей, пришедших раньше меня, и, значит, нужно было запастись терпением.

Кроме секретаря отдела Евгения Бывалова, старого морского волка и автора морских рассказов и повестей, с которым я уже не раз встречалась в Москве, знакомых мне никого здесь не было.

Смутный говор в комнате вдруг затих, когда в приемную вошел кто-то и негромко поздоровался, сделав общий поклон. Ему приветливо ответили, назвав по имени: Александр Серафимович.

Стул рядом со мной пустовал. Александр Серафимович тяжело, по-стариковски, опустился на него, вытер платком большой лоб и поправил белоснежный воротничок на черной сатиновой блузе-толстовке.

Вдруг я растерянно подумала: как же мне сейчас

быть? Что Александр Серафимович меня не знает — это в порядке вещей. Но ведь я-то его давно знаю, его книги я читала с юных лет!.. Может быть, мне сейчас вот и сказать: «А ведь я вас, Александр Серафимович, давным-давно знаю и люблю ваши произведения!» А он, пожалуй, при этом подумает: «Вот странная молодая особа — объявляет так, будто она одна читает Серафимовича!»

Из этого стесненного положения, сам того не подозревая, помог мне выбраться старик Бывалов. Его морщинистое нервное лицо выражало уж явное недовольство и беспокойство, и, как мне казалось, особенно было неловко ему перед Александром Серафимовичем. Склонившись над его плечом, Бывалов сначала, хотя и шепотком, но «по-моряцки», проклял жару и духоту, потом, явно не одобряя создавшейся обстановки, начал уверять, что запоздавшее начальство все-таки обязательно появится: знает ведь, сколько у людей дел накапливается к приемному дню и как все ожидают его.

— Вот, например, это молодая писательница, — и Бывалов вдруг кивнул в мою сторону. — Вызвали ее для разговора по поводу издания ее собрания сочинений... Представляете, Александр Серафимович, как сердце ее горит и жаждет скорейшего разговора?

— Вполне, вполне представляю, — с добрым смешком сказал Александр Серафимович и повернулся ко мне. Из-под седых, чуть насупленных от густоты бровей на меня как-то ободряюще глянули небольшие и очень пристальные глаза.

Бывалов тут же представил меня старому писателю.

— Вот как! Поздравляю от души и желаю успеха! — И он крепко пожал мне руку, а потом, взглядом указав на меня, добавил как бы уже для Бывалова:— Вот, товарищ секретарь Госиздата, все чаще встречаюсь с молодым поколением нашей литературы... все шире вступает оно в жизнь.

А потом, склонив ко мне лобастую голову, Александр Серафимович спросил меня добрым и серьезным голосом:

— Из чего же составится ваше собрание сочинений?

Все сильнее смущаясь, я стала шепотом перечислять свои скромные труды. Печатаюсь всего пять лет, думалось мне, сделано еще совсем немного, а большой писатель с доброжелательным вниманием интересуется моей работой, право еще мало кому известной. Но какие-то минуты спустя я должна была признаться самой себе, что не учла кое-чего, пусть по молодости и неопытности, но даже очень не учла. Оказалось, что Александр Серафимович решительно со всеми моими вещами был знаком. Роман «Лесозавод» он прочел в издании издательства «Пролетарий», повесть «Двор» — в журнале «Новый мир» за 1926 год, рассказы читал в журналах «Красная новь», «Звезда», «Красная нива». Знал он и журнал «Сибирские огни», где был напечатан роман «Золотой клюв». Вконец смущенная, я вслух поразилась его памятливости.

— Ну-ну!.. Да разве может быть иначе? — произнес он все так же негромко, но уже с нотками строгости в голосе. — Вы, молодежь, пожалуй, думаете, что старый писатель больше всего помнит прошлое и знает только свое поколение?.. Кстати говоря, многие имена недавного прошлого нашей литературы, как известно, очутились по ту сторону баррикады... А молодая наша послеоктябрьская пролетарская литература у нас на глазах растет... и мы, как старшие, должны каждый настоящий талант привечать, помогать ему и знать, отлично знать жизнь литературы. Скажите, пожалуйста, будет ли настоящий кругозор у писателя, который замыкается только в жизни своего возраста, своего поколения?

Мне вспомнилось предисловие Александра Серафимовича к книжке Михаила Шолохова «Донские рассказы». Ни в одной книге мне еще не доводилось читать такого предисловия, где понимание природы таланта молодого писателя было бы выражено так поэтично и прозорливо: да, замечательный русский писатель в высокой степени умел привечать молодые силы советской литературы!

Впоследствии, уже много лет спустя, не раз я возвращалась в своей общественно-творческой практике к мыслям, зароненным в душу этой первой встречей с Александром Серафимовичем.

Вторая моя встреча с ним произошла в конце 1928 года, когда я с семьей уже переехала на жительство в Москву.

Боясь опоздать, я, новый член редколлегии журнала «Октябрь», пришла на заседание, что называется, с петухами и сидела в комнате одна, просматривая материалы.

Александр Серафимович, войдя, приветливо поздоровался со мной.

Говорили, что Александр Серафимович прихварывает, а он появился в редакционной комнате такой бодрый, румяный с мороза, что приятно было смотреть. Глаза его сияли молодой, восторженной задумчивостью, которая, конечно не сейчас возникнув, еще не оставила его.

— А я, знаете, зачитался... — объяснил он, подсаживаясь к столу. — Михаилом Шолоховым зачитался!.. Как здорово это получилось, что мы его напечатали, открыли год его «Тихим Доном»! ...Ох, даже подумать страшно, что такое эпохальное произведение могло бы залежаться где-то в тени, когда народ ждет именно такой эпопеи!.. Талантище-то... а? ...Донская станица, казачьи курени и базы, деревенские улицы... а сквозь все это видишь всю Россию!.. И люди, все эти старики, старухи, парни, молодицы... кажется, вот с самого детства их навидался и вроде все в них тебе знакомо... а вот, поди ж ты, какое волшебство: сколько же нового, изумительного... исто-ри-ческого открылось тебе в этих людях!.. И опять сквозь этих людей как бы видишь бытие всего народа...

Все так же радуясь и восторженно размышляя вслух, Александр Серафимович заговорил о том, как неповторимо Шолохов лепит характеры своих героев, как естественно и доходчиво вводит в глубины их внутреннего бытия, заставляя читателя «сопереживать вместе с ними». Язык шолоховских героев, живописный, точный, полный как бы непосредственного ощу-

щения каждой личности, Александр Серафимович сравнивал с «хрустально-прозрачным родником, где вода поет, играет, утоляя жажду».

Когда началось заседание редколлегии, Александр Серафимович внимательно слушал всех и сам вносил хорошие предложения. А в лице его и во взгляде, как мне казалось тогда, все еще потаенно искрилась охватившая его и сейчас широкая, светлая, несебялюбивая радость и гордость за талант молодого писателя, которого он сегодня назвал «восходящим светилом».

Не однажды случалось мне потом слышать на редколлегии высказывания нашего старшего товарища и руководителя журнала о разных произведениях прозы и поэзии. Их он тоже «привечал», неизменно поддерживая все, что было свежо, умно, самобытно. Он на добрые слова по адресу авторов не скупился, а о слабостях и недостатках художественного выражения, как всегда, говорил убедительно, просто, необидно, всегда с пользой. Однако ни одно из этих суждений все-таки не шло в сравнение с той вдохновенной радостью, которую возбуждало в нем творчество Михаила Шолохова: создатель «Тихого Дона» и в его глазах, конечно, был вне сравнений, как «восходящее светило» молодой советской литературы. Так же восторженно, как и говорил о нем, писал Александр Серафимович в 1928 году на страницах газеты «Правда» о создателе этого эпохального романа.

В годы юности мне довелось прочесть очерк Александра Серафимовича «На Пресне». С первых же строк он захватил меня своей суровой правдой. Хотя в памяти и вставали картины бурных дней революции 1905 года в моем родном городе — митинги и демонстрации под красными знаменами, но о событиях на Пресне я ничего не знала: зелен был жизненный опыт. И вот революционная Пресня, залитая кровью рабочих, женщин, детей, рабочая Пресня, которую в декабре пятого года царские войска расстреливали из орудий, Пресня с ее мертвыми выбитыми окнами и немыми домами, с заревами пожаров с такой болью, ужасом и так выпукло представилась мне, будто я ее действительно видела.

Но кроме мрачных картин безмерных человеческих страданий в воображении юности вставало и другое: героическая борьба рабочей Пресни в том неравном бою.

Когда в конце 20-х годов, уже живя в Москве, я бывала на Пресне, мне всегда казалось, что вновь узнаю эти как бы воочию давно виденные мною места.

Однажды в весенний теплый день приблизительно там, где теперь на Шмитовском проезде возвышается здание Краснопресненского райкома партии, я встретила Александра Серафимовича. Надвинув на лоб темную драповую кепку, он прогуливался неспешной походкой, и глаза его любопытно и зорко поглядывали на солнце, на людей и строительную суету. В черном, наглухо застегнутом пальто, из-под бархатного воротника которого ослепительно белел мягкий («серафимовический») воротничок рубашки, румяный от весеннего ветра, старый писатель выглядел даже молодцевато. Его здесь знали, многие приветливо здоровались с ним. Он жил тогда в Большом Трехгорном переулке, где мы, молодые литераторы, собирались в его небольшой уютной квартире. Мне давно хотелось рассказать ему обо всем, что было пережито над страницами «На Пресне», но в общих, всегда оживленных писательских беседах как-то не удавалось поделиться с Александром Серафимовичем моими давними переживаниями. И вот, случайно встретясь в тот солнечный весенний день, я рассказала ему об этом.

— Да, много, много было пережито здесь, — сказал он задумчиво, шевеля седыми бровями. — Потому и помнить об этом надо, помнить крепче и новым поколениям эту память передать... Какие люди защищали ее! Многие ли знают, что на баррикадах Красной Пресни дрался, например, Петр Заломов, тот самый Заломов, который явился прообразом рабочего-революционера Павла Власова из горьковского романа «Мать»...

В черные годы реакции делалось все, чтобы всякое воспоминание о той Пресне окончательно выветрилось из памяти людской. Но исторические докумен-

ты, воспоминания участников восстания донесли ее героический образ до наших дней. И все-таки, как считал Александр Серафимович, еще мало сделано для того, чтобы напоминать новым поколениям о славной истории этой улицы. Вот, например, корпуса Трехгорной мануфактуры им. Ф. Дзержинского (бывшая Прохоровка). В дни Декабрьского восстания 1905 года на фабрике находился боевой штаб восстания. Во дворе фабрики, правда, увековечена память рабочих-борцов, расстрелянных царскими палачами. Но со стороны улицы нет никаких напоминаний — хотя бы самой скромной мемориальной доски. А где именно была построена первая баррикада? Где находилась баррикада, с которой дружинники вели последний бой за Пресню с озверевшими царскими войсками?.. Об этом тоже нет зримых напоминаний.

Кроме мемориальной доски на старинном здании около краснопресненской пожарной части, других указателей нет. А как прекрасно бы выглядели эти мемориальные доски на стенах новых домов! И не один москвич или приезжий, приостановясь, подумал бы с удовлетворением: «Вот он, зримый образ перемен!» Там, где когда-то стояли кварталы трухлявых, отсыревших домишек, где более полувека назад царские палачи Мин и Риман расстреливали революционных борцов, выросли благоустроенные жилые корпуса, раскинулись цветники, скверы...

Когда пойдешь в сторону Краснопресненской заставы и свернешь на широкое Звенигородское шоссе, городской пейзаж сразу меняется. По правой стороне шоссе до сих пор стоят кирпичные двухэтажные дома или почерневшие от времени одноэтажные деревянные домики.

В конце 20-х годов, когда приступали к реконструкции Москвы, может быть, впервые в истории великого города было с наивозможной точностью подсчитано, какое же именно досталось нам наследство от буржуазно-феодальной эпохи. Один академик архитектуры не без юмора рассказывал: множество московских стародворянских особняков, особенно ампирного стиля, числившихся каменными, на поверку

оказались деревянными, трухлявыми, только искусно оштукатуренными. Оказалось также, что в Москве еще множество малоэтажных помещений, приспособленных для надобностей мелкого частного производства и ремесла, мелкой торговли. Крупные казенные здания, дворцы буржуазных воротил и дворянской знати возвышались, как отдельные матерые дубы среди мелколесья. Их окружали с разных сторон улочки, переулки, тупички — и всюду низкие и просто низенькие домишки.

Помню, в начале реконструкции Москвы цифра этой средней высотности столицы поразила меня — всего полтора этажа!.. А что такое полтора этажа?.. Одноэтажный дом с мезонином — только и всего. Гигантская работа на десятки лет предстояла нескольким поколениям советских строителей, чтобы поднимать Москву ввысь. Эта работа имела не только специально архитектурное, а и самое жизненное содержание — в Москве не хватало жилья, и это было тяжелейшее наследство, оставленное нам прошлым. Да и до сих пор, в конце 50-х годов, оно еще ощущается — на Красной Пресне еще немало старых домов, где люди живут неудобно, скученно. В одной комнате иногда ютятся дедушка с бабушкой, их сыновья или дочери с детишками — три поколения. О жилищной нужде Красной Пресни до сих пор говорят на районных партийных конференциях, на совещаниях и собраниях. И каждый раз в таких случаях мне вспоминаются слова Александра Серафимовича о «больном вопросе» Красной Пресни, к которой он был «как к человеку привязан», отлично знал историю и население этой рабочей улицы и привык «душой болеть» о ней.

— Пройдитесь, — говорил старый писатель, — по тихим московским переулкам, где сохранилось немало старинных особнячков и малоэтажных домов, опустите взгляды ваши вниз, на уровень уличного асфальта или даже значительно ниже, в углубление, обложенное кирпичом, и вы увидите непромываемо грязные окна подвалов и полуподвалов. Домовладельцы — те, кто строил эти домишки с полуподвальными

квартирами, — старались выжимать деньги из каждого вершка своего частновладельческого участка. Это были самые дешевые квартиры, которые снимала городская беднота. Их было очень много — и до сих пор кое-где в старых домах они еще сохранились.

Как бы радовался Александр Серафимович теперь, когда невиданно бурно строится наша Москва! За двадцать два года нашего мирного созидания невозможно полностью перестроить такой огромный город!.. Но того, что создано, ни в одной стране и никогда еще не создавалось! Как бы ни резали глаза, как бы ни раздражали людей в быту остатки прошлого, новый исторический облик Москвы — великого города мира, демократии и международной дружбы всех наций — создан.

Бесконечно радовался бы он и большим переменам, которые уже начались на любимой им Красной Пресне.

Постепенно сносятся старые, обветшавшие дома. Вместе с ними безвозвратно исчезнут подвалы, полуподвалы, тесные, неудобные квартиренки и все, что лишает людей многих простых и здоровых радостей культурного быта.

...Когда я сегодня прохожу по Звенигородскому шоссе, мне вспоминается весенний день в конце 20-х годов, задумчиво-оживленное лицо Александра Серафимовича, его короткие, но очень выразительные рассказы, связанные с Красной Пресней.

Хорошо помню этот день. Разговаривая, мы вышли на Звенигородское шоссе. Во двориках и за палисадниками хозяйки развешивали белье. Простыни и полотенца звучно хлестали на весеннем ветру. Ребятишки с криком шлепали по лужам, рыли канавки; собаки вихрем носились за своими юными хозяевами. Около палисадника, где мы остановились, бойкий подросток, перекликаясь со стоявшими внизу товарищами, прилаживал скворечню меж голых веток.

Жмурясь от солнца, Александр Серафимович некоторое время молча смотрел на эти обычные весенние картинки, а потом с мягкой усмешкой сказал:

— Чем-то деревню напоминает. Правда? А ведь

здесь можно проложить прекрасную широкую улицу, обсадить ее липами и кленами... Да, да... здесь будет отличная улица... Много еще работы предстоит в Москве, но и до Красной Пресни и Звенигородского шоссе очередь дойдет,— повторил он, устремив взгляд, который бывает особенно зорок, когда человеку перевалило уже за половину седьмого десятка.

И вот теперь трассу Звенигородского шоссе я вижу на плане. Очередь дошла и до этой окраины Красной Пресни. На месте обветшавших домов, может быть почти вековой давности, здесь уже начали подниматься многоэтажные жилые корпуса. И потом здесь, конечно, появятся и деревья. Не их ли, эти зеленые навесы, видел в своем воображении большой советский писатель, когда задумчиво смотрел вдаль?

И я, признаюсь, тоже представляю себе, как, например, над Звенигородским шоссе зашелестят лапчатые листья кленов и как такие же молодые липы, набрав цвет, будут медово благоухать.

В 1929 году театр МХАТ 2-й заказал мне пьесу на сюжет моей повести «Двор». Дело было для меня неожиданное и новое. Хотя в театре меня уверяли, что в повести моей «все есть», работа моя над пьесой проходила напряженно, а порой и мучительно. Множество серьезных проблемных вопросов возникло передо мной, когда потребовалось повествовательный материал переливать в новую форму, для сцены. Особенно тревожил меня образ главного героя — Степана Баюкова: в пьесе он, образно говоря, вылеплялся гораздо резче и острее, чем в повести. Пьеса уже стояла в производственном плане театра, нужно было поторапливаться, а мои сомнения и поиски задерживали работу.

Однажды после заседания редколлегии я поделилась с Александром Серафимовичем своей заботой. Он сразу меня понял: да, да, посоветоваться с товарищами, проверить свой замысел очень важное и полезное дело.

— И знаете что? Я знаю, вы живете тесновато — так можно у меня собраться. Согласны?

Еще бы!.. В назначенный день, ближе к вечеру,

я позвонила у знакомого подъезда. Мне почудилось, что лицо женщины, отворившей мне дверь, выразило удивление. Сняв пальто и посмотрев на часы, я ахнула про себя: еще с утра, волнуясь в ожидании обсуждения моей пьесы, я завела часы... на целый час вперед!

Подавленная тем, что меня так «угораздило», я, едва увидев Александра Серафимовича, начала извиняться перед ним за свое слишком поспешное появление. Он добродушно рассмеялся и сказал, что «авторская взволнованность» всегда вызывает в нем сочувствие и желание помочь, облегчить задачу.

— А этот час, право, не помешает, но будет даже полезен для дела... Вот увидите! — пообещал он, хитровато прищурив глаз.

Потом Александр Серафимович взял со стола сложенный вдвое и довольно плотно исписанный лист бумаги со своими замечаниями.

— На обсуждении, наверно, все товарищи захотят высказаться, и я, понятно, тоже выступлю. А сейчас я пока единственный оратор. Смогу более подробно и не торопясь высказать свои соображения. Только не будет ли вам скучно слушать?

— Что вы, Александр Серафимович! Я так счастлива и благодарна...

— Ну-с! — прервал он деловитым и ласковым голосом. — Приступим!

Потом, точнее на другой же день, я никак не могла себе простить (и до сих пор это так и есть), что не выпросила у Александра Серафимовича эти драгоценные для меня записи! Сколько раз я потом корила себя: ну чего стеснялась, чего боялась? Ведь он бы преотлично понял, как бесконечно важно было молодому писателю навсегда оставить себе замечания большого мастера русской прозы.

Но позже я все-таки разобралась в своих тогдашних настроениях: я потому не посмела, что боялась в ответ на внимание и доверие ко мне с его стороны еще как бы в качестве литературного сувенира выпросить себе эти записи.

Вся обратившись в слух, я надеялась на крепкую

память. Этот дружеский вечер, который сильно помог мне в работе, действительно долго помнился мне. Но... уж если камни и города поддаются выветриванию, что говорить о бедной нашей, зыбкой памяти?

С чего именно начал Александр Серафимович, теперь уже не могу вспомнить, но каков был характер его критики, старшего, многоопытного мастера, это помнится. Сначала читал вслух реплику, а если находил ее удачной, повторял полностью, с серьезной и ободряющей улыбкой удовлетворения. При этом он часто дополнял свои замечания коротким и решительным движением руки, будто еще сильнее подчеркивая: вот этого и следует держаться. Но когда реплика ему не нравилась, он произносил недовольное «н-да-а» или: «А вот тут, знаете, не дотянуто» — и сразу же кратко, но исчерпывающе конкретно доказывал, в чем именно эта недотянутость выразилась. Не забывал он отмечать и отдельные эпитеты, сравнения или несоответствие, например, смысловой тональности с речевой палитрой. Потом, как бы подводя итог, Александр Серафимович разъяснил, «в чем главная цель» его замечаний. Я тогда не знала, писал ли он пьесы, но об особенностях драматургии он думал и говорил много раз.

— Драматургия — жанр исключительно емкий, стремительный. Наша советская драматургия особенно развивает в себе эти черты. Знаете, частенько, сидя в театре, я ловлю себя на мысли, что я не только зритель, но и наблюдатель. Очень интересно наблюдать, как от реплики к реплике обнажается пружина действия, как она разворачивается и вот, будто во всю длину, от конца до конца, даже как бы лентой, лежит перед вами (он плавными и точными движениями показал, как видоизменяется эта пружина) — все ясно, что к чему, кто с кем связан, кто от кого зависит... А потом наблюдаешь, как эта пружина действия начинает, напротив, сжиматься, как замыкается ее круг (он с силой, обеими руками обвел перед собой этот как бы даже зримо замыкающийся круг) — и дальше всё, конец, точка!..

Потом он с совсем молодым увлечением заговорил о том, что нам, прозаикам, «есть чему поучиться у

драматургии», прежде всего — вот этой целеустремленности действия. Теперь ясно ли мне, что прежде всего в этом направлении он и развивал свои замечания?

Да, это мне было ясно, бесконечно интересно, однако ответа на главный, беспокоивший меня вопрос — о Степане Баюкове — я еще не получила. Александру Серафимовичу по свойственной ему наблюдательности и чуткости, конечно, передавалось настроение собеседника.

Он усмехнулся с характерной своей мягкой и мудрой лукавинкой, которая мне, как и многим, очень нравилась и будто обнадеживала: знаю, понимаю, что вас волнует, но ведь не все сразу можно сказать.

Уж не помню, в связи с каким своим высказыванием Александр Серафимович наконец прямо перешел к волнующему меня вопросу:

— Вот вы беспокоитесь, не слишком ли резок и груб образ Степана Баюкова? Давайте разберемся в этом.

В качестве литературного примера Александр Серафимович вспомнил некоторые моменты своей работы над романом «Город в степи». Этот роман я читала еще в годы студенчества. Журнал «Современный мир», где в 1912 году был опубликован роман «Город в степи», пользовался немалой популярностью, особенно в среде оппозиционно настроенной демократической молодежи, так как там печатались произведения Максима Горького, В. Вересаева, Д. Бедного и других. Имя Александра Серафимовича, известное нам еще с самой ранней юности по горьковским сборникам «Знание», в годы реакции стало еще более известным и близким нам, молодежи, после опубликования романа «Город в степи». Первостепенно важно было, что на страницах популярного в свое время журнала «Русское богатство», редактором-издателем которого был В. Г. Короленко, появилась статья о романе «Город в степи». Эта статья главным образом и разъяснила художественное и общественное значение романа. Книжки журнала «Современный мир» за 1912 год и книжки журнала «Русское богатство» то-

гда, осенью 1913 года, когда я приехала в Петербург на Высшие женские курсы, передавались из рук в руки.

Помнится мне один из рефератов, экспромтом обсуждавшийся в нашей курсовой библиотеке, так называемой «фундаменталке».

Разговоры и споры на литературно-общественные и особенно злободневные темы среди курсисток вспыхивали постоянно и повсюду. Мы, молодые филологи, тогда, конечно, не знали определения, которое Максим Горький дал тому периоду: «позорное десятилетие» русской буржуазной литературы. Наши незрелые умы многого еще не могли тогда обобщить, но какие настроения, какую критику тогдашней действительности и какие призывы воплощали в себе произведения наших любимых и уважаемых писателей — это мы понимали. Помнится мне, как, например, ненавистен был всем нам образ Захара Короедова, бывшего содержателя грязного трактира, потом крупного торговца, лесопромышленника, беспощадного в своей собственнической жадности и жажде накопительства. В образе Захарки Короедова мы увидели звериный лик капиталистической собственности, в картинах полной безнаказанности его преступной наживы мы видели строй, который окружал нас.

Конечно, Александру Серафимовичу было отлично известно, как оценивали его роман В. Г. Короленко, А. М. Горький и все передовые люди русского общества тех лет. Но мне в тот зимний день 1929 года приятно было хотя бы кратко рассказать о своих мыслях и незабываемых впечатлениях, полученных много лет назад от его романа.

В ответ на этот мой краткий экскурс в прошлое Александр Серафимович раздумчиво-ласково улыбнулся и сказал, что вот сейчас мы «как товарищи, как представители двух поколений советской литературы» обратимся «к этому ненавистному Захарке Короедову» — уже для наших творческих целей. Александр Серафимович рассказал, как из непосредственных наблюдений и встреч родился у него образ Захарки Короедова, что прежде всего поражало художника в

наблюдениях над подобными особями. Страшная, ненасытная жажда наживы, чтобы «намертво закрепить свою собственность», всячески расширять, раздувать эту собственность, «чтобы давить, давить ею всех неимущих». В «наращивании собственности» хищники-эксплуататоры видели «главную крепость жизни».

— Вот он, хищник, сбил себе одноэтажный дом, этакую каменную шкатулку, — и пошел наращивать этаж за этажом, а потом второй и третий домина готовятся. Дальше — больше, можно уж целый квартал отхватить под свою собственность, а там и в набережную сапог свой вонзить, можно и на реке, подобно щуке, разбойничать... можно и в лес свою лапу запустить, рубить его под корень... все, все было можно этой черной собственнической стихии...

Александр Серафимович приостановился, шумно передохнул, обмахнул платком раскрасневшееся лицо и закончил все еще неровным от волнения голосом:

— Вы представляете себе, как я ненавидел эту страшную стихию!.. Великий Октябрь перерезал ей дорогу, но эта нечисть, как остатки заразы, то здесь, то там отравляет воздух... Мы будем бороться с этой подлой стихией, твердо, принципиально, непримиримо бороться! Будем разоблачать ее, преграждать ей путь к человеческой душе, например, таких в основе своей честных и революционных людей, как ваш Степан Баюков. А знаете...

Александр Серафимович, помедлив, усмехнулся и заговорил уже спокойнее. Он «не как-нибудь просто к случаю» решил прочесть рукопись моей пьесы, а с осознанным интересом и пониманием: ведь и в скромных пределах крестьянского двора может разбушеваться темная собственническая стихия. Он считает, что пьеса идет по верному пути и потому «резкого света бояться не следует». Он опять прочел вслух понравившиеся ему строки из разных мест пьесы, которые относились к Баюкову, и высказал мысль, которая запомнилась мне на всю жизнь неожиданным поворотом суждений: «Жадные людишки, подобные Захарке Короедову, которые настолько «въелись» в собственническую мерзость, что давно потеряли вся-

кую брезгливость к ней, — психологических мучений не знают. У них только одна забота — вырвать, схватить, проглотить. Натуры честные и сильные, но поддающиеся временным порывам собственничества, жадности и прочих чувств старого мира, страдают особенно мучительно. Вступая в противоречие с коренными основами своей натуры, «честной, доброй, сильной», они словно потрясены собой. Пусть бессознательно даже, но как они ужасаются жестокой перемене в собственном поведении, в характере, в чувствах.

— Они потрясены собой и какое-то время беспомощны перед этим потрясением... и вот тут вступает уже современная тема... д-да! ...Девушка Липа воплощает ее в себе!.. Да, да, не бойтесь резких линий и красок — Баюков ваш задуман верно [1].

Обсуждение моей пьесы «Двор» в тот вечер на квартире у Александра Серафимовича прошло прекрасно. Глубоко растроганная вниманием добрых и строгих товарищей моих, я возвращалась домой счастливая, обогащенная множеством новых, свежих мыслей.

«Да, это был один из счастливых вечеров этого года», — думалось мне, и в воображении вновь и вновь появлялись дружеские лица, звучали голоса Александра Серафимовича, А. А. Фадеева и других товарищей. В чем сила, красота и благородство искусства? — думалось мне. Конечно, не в самом только творческом процессе осмысливания, поисков художественного выражения и, наконец, завершения, — нет, не только в этом. Искусство сильно и прекрасно еще и тем, что в нем есть всеобщего, всеохватывающего своим светом, объединяющего многие личности. Мне вспомнилось, как в ранней моей юности, читая вдох-

---

[1] Об этом чрезвычайно для меня важном творческом разговоре с А. С. Серафимовичем, когда театр уже приступил к работе над пьесой, я рассказала А. И. Чебану, который играл Степана Баюкова. А. И. Чебан с большим интересом выслушал мое сообщение. Может быть, это уже было мной привнесенное впечатление, но мне часто казалось, что актер изображал на сцене «потрясенного собой» Степана Баюкова.

новенные статьи В. Г. Белинского, я задумывалась: как это выглядит в жизни — литература как всеобщее дело?

И вот я увидела и почувствовала, как это выглядит в жизни!

В последующие годы мне довелось несколько раз вместе с Александром Серафимовичем выступать на встречах с читателями и на читательских конференциях. Четверть века назад это общение писателей с читательскими массами являло собой не только широкий интерес к современной литературе. Это общение выражало также повсеместное развитие и углубление в народную жизнь процессов культурной революции. В начале 30-х годов на московских заводах и фабриках строились клубы, библиотеки — стационары и передвижки; открывалось множество курсов для разных заводских специальностей, филиалов институтов без отрыва от производства; на глазах у всех росла наша рабочая интеллигенция, любители музыки, литературы, театра.

Александр Серафимович на этих встречах чаще просто говорил, чем читал, — уже мешала слабость зрения. Читал он уже замедленно, по-стариковски, приближая книгу к глазам, зато беседовал непринужденно, доверительно-задумчиво, а взгляд его из-под седых нависших бровей в такие минуты казался сосредоточенно-сияющим, особенно если кто-то из слушателей обращался к нему с содержательным вопросом. Однажды в одном заводском клубе какой-то юноша задал вопрос: как становятся писателем, «сразу» или «постепенно»?

Кругом раздались смешки, но Александр Серафимович движением руки остановил их и сказал серьезным тоном, что если даже кому бы и показалось, что он-де сразу стал писателем, это «был бы самообман». Ничто на свете не делается без подготовки. Условия жизни, характеры, знания и способности людей бесконечно разные, а значит, и подготовка, то есть развитие и формирование таланта, происходит у каждого по-своему, в свои сроки. Потом уже новые

голоса спросили: а можно ли самому помогать таланту и что нужно делать для этого?

Александр Серафимович посмотрел в ту сторону внимательным взглядом старого деда, доброго, но и требовательного.

— Что надо делать? Прежде всего читать, много читать и думать.

Раздался новый голос откуда-то из уголка переполненного зала:

— Александр Сергеевич Пушкин тоже много читал?

— Очень много, всегда, всю жизнь. Его прекрасный гений всегда был воодушевлен огромными знаниями. Он, товарищи, был не только величайший писатель, но и великий читатель!

В зале на мгновение наступила тишина — и вдруг поднялась шумная волна рукоплесканий, и разноголосые веселые вскрики полетели отовсюду: казалось, все сначала изумились, а потом поняли и обрадовались каким-то неожиданным и значительным мыслям.

В другой раз (уже не помню, в студенческой или в заводской аудитории) Александр Серафимович рассказывал о Горьком. Алексея Максимовича уже не было в живых, и потому в рассказе старого писателя звучала теплота и печаль. Как зачинались сборники «Знание», как Горький собирал лучшие писательские силы русской литературы начала нашего столетия, как щедро и чутко заботился он о каждом авторе-знаньевце, как многогранна была его помощь и идейно-художественное влияние на писателей — обо всем этом Александр Серафимович рассказывал так задушевно, доходчиво и пластично, что, слушая его, я давала себе слово: обязательно записать сегодня же, как только приду домой... Но что-то помешало, и осталась только запись воспоминаний.

Однажды в середине 30-х годов, на каком-то вечере в нашем клубе, все сидели в большом зале в ожидании концерта. Идя мимо первого ряда к выходу, к Александру Серафимовичу подошел высокий

красивый старик, который держался удивительно статно для своего возраста. Оба в шутливом тоне спросили друг друга о здоровье, потом еще о чем-то, и после крепкого рукопожатия статный старик со словами: «Ну, а я уже до дому» — пошел к выходу. Все, кто сидел вблизи, проводив взглядом ушедшего, спросили у Александра Серафимовича, с кем это он только что разговаривал. Он ответил, что это Николай Дмитриевич Телешов.

— А! «Среда»!.. Сборники «Знание»! — раздались голоса. Тут же вспомнили о книге Н. Д. Телешова, изданной в конце 20-х годов под несколько меланхолическим названием «Все проходит» [1].

Начинался концерт, и разговор о Н. Д. Телешове прервался. Он возобновился гораздо позже — и уже не помню, при каких обстоятельствах. Кто-то вспомнил о Н. Д. Телешове, заснятом много лет назад в широко известной фотографии шестерых: С. Скиталец, Л. Андреев, А. М. Горький, Н. Д. Телешов, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин. Тут же вспомнили о близости А. М. Горького и А. П. Чехова к писательскому кружку «Среды», где в свое время собирались самые передовые писатели дореволюционной русской литературы. У Александра Серафимовича спросили, чем отличались собрания «Сред» в 10-х годах нашего века от литературных собраний в наше, советское время?

— Н-ну... что ж... — начал он в раздумье, поглаживая ладонью широкий лоб. — Литературные собрания той поры были довольно узкие собрания не только хорошо знакомых людей, но и прежде всего друзей, годами связанных между собой общими делами и заботами — взять сборники «Знание», альманах «Слово» и другие книгоиздательские дела.

Он просто не помнил случая, чтобы кто-то никем не рекомендованный пришел на собрание «Среды» — для этого требовалось «явно обещающее творческое обоснование».

[1] В 1948 году книга воспоминаиий Н. Д. Телешова вышла в исправлеииом и добавленном виде, под иазваиием «Записки писателя».

Его опять спросили, чем это объяснялось: известного рода замкнутостью людей, давно привыкших быть и думать вместе, — или этот обычай «вхождения в круг» можно было объяснить политико-общественной жизнью тех лет?

— И то и другое, — ответил Александр Серафимович и, о чем-то вдруг задумавшись, снова потер ладонью широкий лоб. — Мы, советские писатели, в большинстве своем конечно, куда сильнее и глубже чувствуем и понимаем исторический смысл событий, чем понимали его писатели в те годы. Возможно, еще и потому, что многие литераторы тех лет, наверно, не столько знали, к чему дело идет — в историческом смысле, а больше всего остерегались.. проще говоря, боялись тех мрачных начальников, которые могли вмешаться в дорогую сердцу творческую жизнь... да, прежде всего тогда литератор или артист знали, кого надо бояться! — И Серафимович прищурился с мудрой стариковской хитрецой. — Известная настороженность была по отношению к новичкам: кто ты, откуда, кто знает тебя? Говоря совсем грубо: боялись шпиков, которые шныряли повсюду.

Седые брови сдвинулись, веки опустились, губы резко сжались под щеточкой усов — о чем он вдруг вспомнил, никто не знал.

Те, кто помнил в то время первое издание книги Н. Д. Телешова «Все проходит», спросили: когда, по мнению Александра Серафимовича, «Среды» переживали свой лучший период?

Он решительно подчеркнул:

— Самый цветущий период «Сред» — в годы близости с Горьким!

— А потом, в последующие годы?

— Политическая обстановка в стране менялась, усложнялась и, конечно, врывалась в литературную жизнь, в которой тоже происходили свои перемены.

Как же внешне это выглядело? Может быть, помнятся ему какие-то живые картинки тех перемен?

— Н-ну... как же... всякое бывало, — произнес он с медлительной улыбкой. — Литературные встречи в те годы, среди отлично знакомых людей и большей

частью друзей были не только серьезные творческие беседы и дискуссии, но были на этих литературных встречах и моменты радости и простого удовольствия. Вечер завершался обычно ужином... н-ну, не какой-нибудь лукуллов пир, а добротный московский ужин, шутки, тосты.

Кроме того, кружок «Среды» был хорошо знаком с известными актерами, художниками, певцами и певицами.

— Ближе к ужину часто, бывало, зайдет «на огонек» кто-нибудь из театральных знаменитостей, бывали и дамы. Заедет какая-нибудь «дива», прямо с концерта, после шумного успеха, счастливая, нарядная... Бриллианты, вечерний туалет, декольте... В такие моменты Иван Алексеевич Бунин, как один из хозяев вечера, был особенно хорош, обаятельно держался, остроумный, изящный. И, как мне всегда казалось, это в полной мере чувствовали также и те избалованные жизнью дамы... ведь перед ними, черт возьми, раскрывалась поэтическая душа одного из виднейших русских лириков начала двадцатого века!

Лучик далекой дружбы осветил лицо человека, более чем за семьдесят, и задержался на несколько секунд.

Предреволюционные годы совпали с первой мировой войной, или, как ее в народе называли, русско-германской, а то и просто германской. Александр Серафимович напомнил всем известные факты, которые уже в первые месяцы войны показали, что «русско-германская» все сильнее толкала страну «под откос».

— Вы представляете себе дорогу, которая ползет во все стороны, разъезжается под ногами? — спросил Александр Серафимович, строго хмуря седые брови и качая головой. — Вот в таком положении, представлялось мне тогда, чувствовали себя некоторые писатели... и пытались найти какую-то свою меру вещей, свой выход, свою какую-то тропинку... Для этого делались крутые повороты... и явно — вправо. Леонид Андреев, например, после своего нашумевшего в начале 900-х годов «Рассказа о семи повешенных», в 1915 году написал пьесу «Король, закон и свобода».

— Ах! — сказала я, не сдержав волнения. — Я была на премьере этой пьесы в Александринском театре!

Еще до постановки этой пьесы была создана шумная реклама.

В партере было много военных, которые особенно рьяно вызывали автора. Я впервые увидела тогда «живого» Леонида Андреева. В длинной своей черной блузе, с пышным черным бантом у ворота, Андреев показался мне коротконогим и неуклюжим, а лицо его, еще довольно красивое, выглядело отечным и хмурым. В ответ на вызовы публики Л. Андреев отрывисто кланялся, будто нарочито резко взматывая черными, свисающими на лоб волосами.

С безопасной нашей галерки, сплошь набитой учащейся молодежью, мы вперемежку со свистками выкрикнули свой «заряд» возмущенных фраз, дословное содержание которых не удержалось в памяти. Ведь по Леониду Андрееву получалось, что бельгийский король Альберт (его играл Юрьев) оказался самым надежным хранителем свободы!

Кое-что в моей мимоходом, краткой справке рассмешило Александра Серафимовича.

— Воображаю, — сказал он со своей басовитой усмешкой, — как вы все с «высот» галерки бросали свои обличения в день андреевской премьеры!.. Случайно, вы спрашиваете, или вообще характерно для Леонида Андреева это хмурое выражение лица — и, главное, когда? В день премьеры в Александринском театре! Нет, то было не случайное, а характерное для него в ту пору выражение, — уверенно ответил Серафимович. — В те годы он вообще чувствовал себя как-то неблагополучно, нервно, хмуро...

Но тут начался концерт, и рассказ А. С. Серафимовича прервался, а после концерта не возобновился.

В антракте мы трое — Ю. Н. Либединский, Н. И. Замошкин и я, — все еще под впечатлением рассказанного Александром Серафимовичем, вспомнили известную историю из жизни «Среды», уже после Великой Октябрьской революции. Его, автора замечательных произведений, писателя революционной темы, подвергли настоящему остракизму, исключили

из состава членов «Среды»! И за что? Только за то, что он горячо отозвался на призыв газеты «Известия» принять на себя заведование литературно-художественным отделом молодой советской газеты!.. Рассказывали также, что после провозглашения позорного решения «изгоняемый» из членов «Среды» писатель-революционер спокойно спросил, все ли присоединяются к данному постановлению? Оказалось, присоединились все. Мы, люди того поколения, которому А. С. Серафимович годился в отцы, по книгам и портретам отлично знали тех писателей, которые исключили А. С. Серафимовича из состава членов «Среды». Как все раньше считали, «Среда» объединяла демократически настроенных русских писателей — и вот весь их «демократизм» развеялся, как дым от ветра: история с «исключением» А. С. Серафимовича сразу прояснила, каков был этот «демократизм». Нам живо представлялась эта картина: писатель смотрит навстречу давно знакомым лицам вчерашних друзей — да неужели они в самом деле подвергают его остракизму, все и без колебания? Мы представляли себе, **как** он спросил тогда, все ли присоединяются к решению исключить его. Чужие, холодные взгляды и враждебное молчание ответили ему: да, все. Известна была нам и такая подробность: Юлий Бунин, старший брат Ивана Бунина, так протянул ногу поперек тропки между стульями, чтобы «исключенный», уходя, еще и споткнулся бы, — право, трудно себе представить более низменное хулиганство!.. Но Серафимович не «споткнулся». Конечно, огромным усилием воли он переборол свой мгновенный гнев предельно оскорбленного человека — и вышел в большой мир революционных перемен и нового созидания. В 1918 году он вступил в партию, стал фронтовым корреспондентом «Правды», а когда его сын погиб на фронте, Владимир Ильич Ленин обратился к осиротевшему отцу с сердечным, ободряющим письмом, которое стало известным всей стране.

Вспоминая все эти давно отпечатавшиеся в нашей памяти события, поговорили мы и о том, как закономерно целая группа членов «Среды» оказалась по-

том в эмиграции как политические слепцы. Не могли мы не отметить и того, как двадцать лет спустя (да и конечно не однажды) встречались два старых писателя: тот, кто холодным молчанием «исключал», и тот, кого более двадцати лет назад исключили. А в чем закономерность здесь, в дружественном спокойствии этой встречи, у нас на глазах? Конечно, не только в том, что прошло много лет, — здесь сильнее действовало, как нам казалось, другое, более сложное начало. Из экспромтного рассказа Александра Серафимовича о «Среде» нельзя было не отметить сдержанно, но вполне определенно выраженное различие наших советских писательских организаций и дореволюционных кружков: «Мы, советские писатели, куда сильнее и глубже чувствуем и понимаем исторический смысл событий, чем понимали их писатели в те годы». Не случайно определил Александр Серафимович как «самые цветущие» годы кружка время его близости с Горьким. К числу этих в свое время не понимавших исторического смысла событий относился и тот старый писатель, с кем Александр Серафимович так дружески поговорил накоротке, словно никогда и не было никаких расхождений между ними. Откуда это благожелательное спокойствие со стороны Серафимовича? Это прежде всего мудрость понимания: наша великая эпоха делает свое, учит, воспитывает людей, обогащает их мысли и волю опытом социалистического строительства, но у каждого человека это происходит по-своему, по-разному. Одни более подготовлены к восприятию и пониманию нового, а другие слишком «застаиваются на опыте прошлого», как сказал Ю. Н. Либединский, — словом, каждый достигает понимания истории в свое время, у каждого свои сроки открытий и вхождения в общий строй. А если люди в одном строю, тогда все находит свое место.

Но мы все-таки сожалели, что начало концерта прервало рассказ Александра Серафимовича о Леониде Андрееве.

Прошло немало времени (еще довоенного), когда, встретясь опять в нашем клубе с Александром Сера-

фимовичем, Н. И. Замошкин и я напомнили ему о прерванном концертом рассказе о Леониде Андрееве. (Теперь почти всегда, проходя мимо одного из окон нашего старого здания, я вспоминаю, как, уединившись здесь за чашкой чая, мы слушали продолжение рассказа о Леониде Андрееве.) Александру Серафимовичу, конечно, было понятно, что не пустое любопытство владело его настойчивыми слушателями, а писательское стремление глубже познать явления литературы предоктябрьской эпохи.

В годы юности нашего поколения Леонид Андреев был одним из самых известных писателей, о нем молодежь спорила особенно часто. Не помню, кто из критиков той эпохи писал, что Леонид Андреев будто «начинен метаниями и страхами». Лев Толстой сказал: «Он пугает, а мне не страшно...» Другие критики, напротив, считали Леонида Андреева «мудрым», «сложным» и одним из самых «значительных» писателей XX века. Некоторые называли его произведения скандальными, декадентскими и т. д.

После Октябрьской революции книги Леонида Андреева, как эмигранта, много лет не переиздавались у нас, и потому люди помоложе вообще ничего о нем не знали. А. М. Горького уже не было на свете, и «живой историей» русской литературы, соединяющей в себе прошлое и настоящее, считали А. С. Серафимовича. Поэтому, когда он появлялся в клубе или в доме Правления Союза писателей, его непременно окружали писатели разных поколений, спрашивая о здоровье, о работе, советуясь о чем-нибудь важном. И в тот вечерний час, когда мы сидели за столиком у окна, тоже подсели желающие послушать его. Он начал, как обычно не торопясь, раздумчиво поглаживая просторный лоб:

— Н-ну... давайте продолжим наше обозрение прошлых лет...

Кто-то спросил, какого мнения Александр Серафимович о таланте Леонида Андреева.

— Талант был настоящий, даже хочется сказать — великолепный талант! — убежденно ответил наш старшой. Он вспомнил, как во многих произведениях Лео-

нид Андреев в первые годы своей творческой жизни сочувствовал «маленьким людям» и обличал темные и жестокие силы феодально-капиталистического строя, которые делали жизнь миллионов людей бесправной, униженной, беспросветной. Было время, когда Леонид Андреев, чувствуя «нарастающую волну» революционных настроений в стране, страстно разоблачал кровавую расправу самодержавия с революционерами.

— Так чего же ему не хватало?

— Чего?.. Не хватало ему исторического мышления, — с той же убежденностью ответил Александр Серафимович. — Он считал себя философом, моралистом, гуманистом, мыслителем... и вообще учителем жизни, а в действительности ничего не понимал в историческом процессе и в закономерностях истории. Для него ничего не существовало, кроме его собственной личности и его субъективного отношения к жизни и людям...

Александр Серафимович вдруг горько усмехнулся и укоризненно покачал головой:

— Знаете, если бы я преподавал русскую литературу, я остерегся бы советовать молодежи изучать, например, эпоху революции пятого года по произведениям Леонида Андреева. Талантливо, ярко, порой даже поразительно... и — недействительно!.. В каком смысле?.. Революцию Леонид Андреев представлял себе как анархический бунт, а революционеры его все те же анархиствующие нигилисты, взбалмошные мистики или безвольные пессимисты с распадающимся сознанием.

На вопрос, каким ему помнится Л. Андреев в годы молодости, Александр Серафимович ответил с мягкой и печальной усмешкой:

— В молодости он был красив, благожелателен, жизнерадостен. Одно время носил тонкосуконную поддевочку, сапоги, русскую рубаху, — и все к нему очень шло. Никто из наших собратий так не одевался, но ему никто не удивлялся — красивый парень, открытая душа. Была у него жена, удивительное существо, звали ее Александра Михайловна; а Горький

прозвал «дама Шура». Была у Леонида Андреева в те годы одна черта, которая и меня очень трогала: он любил Льва Толстого, благоговел перед ним, а о многих толстовских героях говорил как о живых и бесконечно дорогих ему людях. А в Наташу Ростову он был просто влюблен! «Знаешь, Серафимыч, — говорил он мне, — я до такой степени ясно ее вижу, Наташу Ростову, что вот кажется мне — отворится дверь, и она войдет, посмотрит на меня, просияет своей очаровательной, шаловливой улыбкой и скажет мне что-то такое, что приносит счастье на всю жизнь...» Очень мне эта черта в нем нравилась! Но вдруг он взял да и написал... «Бездну»! По поводу этого злосчастного рассказа не помню кто сложил каламбур:

Будьте любезны,
Не читайте «Бездны».

Газеты рассказ изругали, в сатирических журналах Андреева стыдили как подрывателя нравственности.

— А он?

— Вначале огорчался, что, мол, критики не поняли «трагического смысла» рассказа, а потом «ругань» стала ему даже импонировать. Потом стал говорить о том, что «вся суть» отображения жизни заключается в «самой личности» писателя, в том, *что* эта личность «в себя принимает», а все прочее отпадает и даже как бы не существует.

Однажды А. С. Серафимович, как старший его друг, в откровенном разговоре определил такие настроения как «дичайший нигилизм», который несовместим с творчеством писателя-реалиста.

— Он этого не ожидал, расстроился. «Что ты, Серафимыч!.. Разве я могу изменить реализму? Отойти от жизни? Что ты, Серафимыч!..» И такое, знаете, лицо у него стало несчастное, что я даже подумал, не слишком ли сурово я за него «взялся»? Но не так уж много воды утекло, как мне стало ясно: он и от жизни отошел, и реализму изменил.

Известно, что Леонид Андреев испугался революции. Мрак смерти и безнадежности, который он на-

гнетал в своих пьесах и рассказах, шел от этого ужаса перед революцией, перед народным восстанием. Чем дальше, тем больше путаясь, шатаясь, он все более отходил от широкой прямой дороги. По сути дела, он отражал собой безумную растерянность буржуазной интеллигенции, совершенно в стиле пресловутых сборников «Вехи». Разница, как считал А. С. Серафимович, была только в том, что «Вехи» беззастенчиво объявляли, что только самодержавие может охранить и спасти их от «ярости народной», а декаденты делали это иносказательно: «в обертке мистики, мрачных предчувствий, тоски и ужаса», убегали от борьбы и познания в ту же сторону, что и «Вехи».

— Не однажды, в бурном споре, я именно так и высказывался... Тяжело было и горько, а нельзя было иначе! Леонид Андреев спорил, огрызался и с обидой говорил, что все забыли о несчастье, о невозвратимой его потере... О ней все и всегда помнили: Александра Михайловна, прелестная «дама Шура», как-то страшно неожиданно умерла. Все жалели о ней, но не о нем. После ее смерти он буйствовал и наконец женился. Его вторая жена ничем не походила на Александру Михайловну. Но причина была не только в этой большой личной потере, а в том, что он — годами! — все дальше и дальше уходил от современности...

Купил он себе дачу в Финляндии, оборудовал по-своему и все звал в гости. Наконец я и еще кое-кто отправились к нему. Дача его показалась мне огромной и какой-то холодной, да и все внутри было такое же. Особенно поразил меня кабинет, огромный, с высоченными окнами, с колоссальным письменным столом. А сам хозяин, в черном бархатном халате или мантии, походил не то на монаха, не то на какого-то мага-волшебника, а лицо у него было торжественное и даже высокомерное. Первые минуты от недоумения я даже не знал, что сказать: для чего эти огромные комнаты и вся эта театральщина?.. Вдруг мне вспомнились его слова о том, что он «учит» людей. Уж не с этой ли целью вся эта комнатная гигантомания и вся эта театральность обстановки, чтобы приподнять себя

над людьми как «учителя» жизни?.. Н-ну, в таких «учителях» народ не нуждался.

Александр Серафимович помолчал и добавил:

— Это история не только о том, почему дружба пропала, а и о том, как может человек загубить свой талант! Талант — это самое лучшее и прекрасное, самое сильное и, хочется сказать, даже вечное в человеке!.. Но талант, извините, не битюг какой-нибудь — взвали, мол, на него что попало, и он, мол, все вывезет. Нет! Талант художника — чувствительнейший инструмент: начни его бросать как попало, терзать его мраком, удушьем, страхом смерти и вообще всякими «судорогами души» — и он не выдержит, задохнется, умрет! Ведь сила таланта — в едином, общем дыхании с жизнью народа, с жизнью родной страны. Погибнет талант — погиб и человек-художник. И ведь был когда-то человек, молодой, обещающий талант, живой, общительный характер, веселость, доброта... И все вместе с талантом загублено, исчезло... эх!..

Он безнадежно махнул рукой, с горькой усмешкой закончил:

— Построил себе человек огромные покои... и умер там как эмигрант, изгой... изгой по своей воле.

Слушая рассказ Александра Серафимовича об этой никогда не виданной даче в Финляндии, я представляла себе знакомую московскую квартирку в Большом Трехгорном переулке, где в конце 20-х — начале 30-х годов мы, молодые, собирались иногда. Помнились мне тепло и уют «серафимовической» квартиры, полки с книгами в рабочем кабинете одного из старейших наших писателей, задушевные беседы с умной шуткой.

Серафимович был для нас живым источником жизненного и партийного опыта, подлинным летописцем жизни трудовых людей нашей страны. Мало кому из писателей конца XIX и первых десятилетий нашего XX века довелось так многосторонне в течение десятилетий изучать и прочувствовать работу, быт, характер и борьбу трудовых людей, — и кого только нет в этой галерее: рыбаки на берегах Ледовитого океана,

донецкие шахтеры, заводские рабочие, учителя, врачи, железнодорожники, матросы, речные перевозчики, ремесленники, крестьяне со всеми их классовыми различиями: от богатеев кулаков и купцов до безземельной батрацкой бедноты; обнищавшие безработные, их жены, дети без детства. В образах женщин и детей Серафимовича мы найдем не только богатую палитру красок и деталей, но и особенный лиризм и тепло: ведь женщине-матери в ту эпоху бесправия трудового народа было тяжелее всех — и потому ее судьбе писатель по-братски и по-сыновьему сочувствовал. Написав первый свой рассказ «На льдине» в 1889 году, Серафимович за полвека творческой работы увидел и познал жизни человеческие сквозь призму живого, исторического времени: от жестокой поры бесправия, духовной темноты и придавленности к бурному времени революции пятого года, а от него все дальше, по пути классового мужания, — к великому взрыву Октября. И сам он, начавший творческую свою жизнь в конце 80-х годов, шел трудным, но прямым и мужественным путем революционного писателя. Уже после смерти Александра Серафимовича я случайно узнала, что во время своей ссылки в Мезени он подружился с одним из организаторов знаменитой Морозовской стачки — Петром Анисимовичем Моисеенко. Воспоминания Петра Моисеенко, как утверждали, были напечатаны в начале 30-х годов. Много лет спустя мне довелось разыскать книгу «Рабочее движение в России в описании самих рабочих» (издательство «Молодая гвардия», 1933 год). Моисеенко был сослан в Мезень, где и встретился с А. С. Серафимовичем.

«В 1887 году прибыл к нам Александр Серафимович Попов, студент Петербургского университета, донской казак. Он внес в нашу семью еще больше сплочения и, одобрив наше занятие, принялся и сам с увлечением за работу» (стр. 169). Переведенные потом в Пинегу, Моисеенко и Серафимович братски несли вместе все тяготы ссылки на дальнем севере, вместе занимались столярным ремеслом, всякой работой, вместе читали Маркса и Короленко. Моисеен-

ко писал: «Желающие ознакомиться также с ссылкой могут прочесть рассказ Серафимовича «У холодного моря», где он мастерски обрисовал нашу жизнь» (там же, стр. 172).

Если бы он, наш старший товарищ из поколения наших духовных отцов, а также и как главный редактор журнала «Октябрь», держался бы с нами, например, учительного тона, мы бы считали, что так и быть должно. Однако в том и состояла особенность его характера, что он вообще не умел держаться учительно и говорить авторитарным тоном. Да и говорил он прежде всего для того, чтобы разъяснить или подчеркнуть главную суть вопроса, выразить свое утверждение или несогласие с чем-то. Вообще, казалось мне, он вступал в разговор, когда видел, что все хотят знать его мнение и что это необходимо для дела. Гораздо больше он любил слушать. Мне до сих пор помнится выражение лица Александра Серафимовича во время слушания. Неторопливо обернувшись в сторону говорящего, А. С. всматривался в него, словно желая запомнить выражение его лица, и, слушая, не прерывал, полный внимания и самого благожелательного интереса. Казалось, он вслушивался в голоса и мысли не только нас, молодых писателей, сидящих за его столом, но и как бы вслушивался в голоса нового поколения советской литературы. Потом я очень жалела и досадовала, что не записывала по горячим следам наших вечерних бесед на квартире А. С. Серафимовича.

Известно, что одним из недостатков, присущих молодости, является самонадеянность памяти: уж она-то все сохранит, а на поверку оказывается — далеко не все. Общий разговор, когда перекрестно, как мячи в игре, перебрасываются от одного к другому неожиданные мысли и вопросы, когда возникают противоречивые мнения и споры и старший, многоопытный, в какой-то момент находил «главное зерно» или «равнодействующую», как шутя называл это А. С., и прояснялся смысл и значение сказанного, — вот это, общее, окрашенное разностью мнений, голосов, выражений, забывается раньше всего. Легче и глубже за-

поминается рассказанное в ответ на интересующий тебя вопрос; помнятся долго и те встречи, которые заставили тебя заново продумать знакомые представления, даже как бы и надолго утвердившиеся в твоем сознании.

В конце тридцать первого года, на одном ответственном заседании, в присутствии группы членов ЦК ВКП(б), разбирался вопрос о работе толстых журналов. Естественно, в обсуждении работы нашей художественной журналистики главное внимание было обращено в сторону недостатков — идейных и антихудожественных срывов, редакторских ошибок. Много внимания было уделено и причинам этих журнальных ошибок и недостатков — на почве каких именно явлений возникали они? Почва эта была и в недостатках работы литературных организаций. В литературе происходили примечательные и разносторонние творческие процессы, которые показывали, что наступала иная пора: обогащенные животворными идеями и опытом новой, социалистической эпохи, все отряды художественной интеллигенции проявляли в своей работе больше сходства, чем различия. Таков был смысл высказываний ряда ораторов на том собрании. Но вот попросил слова Александр Серафимович. Он встал, оправил свой белоснежный воротничок над неизменной черной толстовкой и несколько секунд молчал, будто готовясь к чему-то очень важному, и неторопливо заговорил. Теперь невозможно вспомнить, как, с чего он начал свою речь, как она развивалась и какими словами закончилась, — слишком сильно было впечатление и волнение мое от всего необычного, нового и смелого, что я услышала тогда от него. Мне уже довелось рассказывать читателям, что я вступила в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) прежде всего потому, что мне было важно, с к е м там я буду работать вместе. Решающим для меня было знать, что А. Серафимович, Д. Фурманов, А. Фадеев, Ю. Либединский, А. Жаров, А. Безыменский и ряд других известных писателей создали РАПП — передовую литературную организацию. И вот на ответственном собрании один из

ее создателей, наш старший товарищ, писатель горьковского поколения, сурово критикует РАПП за многие недостатки и промахи, разные случаи администрирования и зазнайства, за недооценку тех глубинных идейно-творческих процессов, которые происходят в широкой писательской общественности.

Серафимович говорил неторопливо, временами даже приостанавливался, но не для поисков слова — конечно же все его суждения были давно продуманы. С обстоятельностью старого и мудрого борца он хотел тут же ощутить, как принимается его критика, направленная своим острием против недостатков и ошибок РАПП. Лица слушателей выражали серьезность и внимание, и никто ни одним намеком или жестом не показывал — время, мол, уже, время. Товарищи из аппарата и члены ЦК ВКП(б), казалось, слушали и наблюдали с особо пристальным вниманием и за настроением собрания — ведь люди не только слушали, но и у каждого возникали мысли, скорее всего навстречу высказываниям нашего старшего друга. Кроме всего настоятельно важного, что содержалось в его речи, было в ней и достаточно того, что называется подтекстом. Разве не могла взволновать, например, такая мысль: достаточно ли для писателя, современника великой эпохи, «упиваться» тем, что он, мол, вдохновлен мировоззрением пролетариата? Он может всем и всюду рассказывать, как справедливо и высокочеловечно это мировоззрение, но разве можно удовлетвориться самим собой? И не является ли доброжелательной заботой именно этого писателя помогать идейному становлению народа, а значит, и всей нашей работе? Сколько раз говорил Владимир Ильич Ленин, как бесконечно разны пути, которыми люди приходят к пониманию великих исторических задач социалистического строительства. И ведь все это зависит не только от того, к какой литературной организации принадлежит писатель, а прежде всего от того, насколько глубинно художник слова познает бытие социалистического общества, — ведь это познание открыто всему народу, равноправно для всех, только бы человек стремился к этому

познанию!.. А коммунисты могут этому только радоваться и отмечать, как все новые художники слова впечатляюще и верно отражают в своем творчестве живые, характерные черты современности. А чего больше в этой радости: удовлетворения члена РАПП или какой иной организации — ах, как, мол, такое произведение отражает «наши установки»! — или эта радость исполнена партийного удовлетворения и одобрения? Конечно, важнее всего — второе. Не одна только «ведущая» литературная организация должна опережать всех, важнее совсем иное: широкая и многогранная общность литераторов всего Советского Союза. Именно в предвидении этой широкой общности, как ему представлялось, ни в одном документе о литературе партия не подчеркивала, что какая-то литературная организация должна главенствовать как «ведущая» — и, следовательно, любой «нажим» и всякое «администраторство», например со стороны РАПП, не выражают линии партии. Писатель-коммунист, конечно, не бесстрастный наблюдатель, но его влияние выражается в средствах и методах общения с товарищами по литературе: честный, открытый спор по конкретному поводу, поиски путей для взаимного понимания и сближения точек зрения, убеждение, изучение, понимание, сравнение...

Выражение лица Александра Серафимовича показывало, что он переживал, может быть, один из ответственных моментов жизни, и это, конечно, было нелегко: ведь ему тогда шел шестьдесят девятый год. Едва ли ему когда думалось, что об организации пролетарских писателей, одним из создателей которой он был, доведется говорить непримиримо и требовательно — и не о каких-то мелких и временных ее недочетах, а о самой «линии» ее работы. Кто знал, сколько им было передумано перед тем, как высказать все это вслух! Да ведь и прийти к этому решению старому человеку гораздо сложнее, чем молодому, полному еще не растраченных сил.

Несколько месяцев спустя, читая в «Правде» постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации РАПП, я вспомнила речь А. С. Серафимовича, и она предстала

передо мной еще резче и многозначительнее: уж не сыграла ли она роль одного из тех жизненных и принципиально убедительных сигналов, которые могли подтолкнуть выход в свет исторического решения от 23 апреля 1932 года? Было ли так в действительности, я не пыталась проверять, но убеждение в этом осталось у меня до сих пор.

Александр Серафимович очень точно, как он не однажды говорил, соблюдал «общественное время»: на заседания редколлегии журнала «Октябрь» он приходил часто раньше всех. Так же точен он был и во всех совместных начинаниях писателей и общественных организаций. В начале 30-х годов вместе с клубом и ткачихами-активистками на фабрике им. Дзержинского, или Трехгорке, как и до сих пор еще ее называют, был задуман какой-то вечер на литературные темы. Я должна была известить Александра Серафимовича, в какой день я смогу прийти на это собрание. Но болезнь моих детей заставила меня забыть на время обо всех делах и обещаниях. Вдруг я получила короткое письмецо от Александра Серафимовича, в котором он с дружеской заботой спрашивал, не больна ли я, так как письма моего он не получал.

Ужаснувшись собственной забывчивости, я тут же позвонила Александру Серафимовичу, объяснила, почему это случилось, и попросила его передать мои извинения также и трехгорским ткачихам.

— Ну, ну... беды никакой нету! — ответил он мне ласковым, отцовским голосом. — Потому я вам и написал, что от людей узнал — детки ваши уже поправляются... и, значит, надо помочь вам скорее включиться в общую работу. Вот и все.

Помню крепкое рукопожатие, которым он встретил меня на вечере, заботливые его вопросы о здоровье моих детей.

После собрания по пути с нами пошли две ткачихи, молодые матери. Обе с самой непосредственной

откровенностью похвалили старого писателя за его «заботу и любовь к детям».

Он мягко усмехнулся:

— Да как же и не любить-то этот маленький народ? Мой ли, ваш ли ребенок, он дорог и близок всем нам — ведь в нем, будущем созидателе, наше бессмертие!

Та, что первая заговорила о детях, рассказала, что весь ее «рабочий род» и она сама родились на Пресне. Деда ее убили на баррикадах, отец и мать ее «там же дрались». Сама она родилась в 1910 году, но что было на Пресне за пять лет до ее рождения, она полностью себе представляет также и по очерку А. С. Серафимовича «На Пресне».

— Как вы с сыночками вашими, с малыми детишками, под обстрелом были!.. И, несмотря на такой ужас, еще и свои мысли записывали!

Когда мы продолжали путь уже только вдвоем с молодой матерью, она снова заговорила о том, как правдиво и любовно Серафимович рисует образы детей и в ряде других его произведений, а потом добавила: только все эти дети «в тяжелой обстановке показаны, когда самодержавие над народом страшную расправу учинило». А теперь кто посмеет поднять руку на ребенка для расправы — «ведь навек прошли эти страшные времена». Ей хочется пожелать «большому художнику слова — изобразить детей среди радости».

Прошло некоторое время, когда я, вспомнив об этом пожелании молодой матери, передала его Александру Серафимовичу.

— «Изобразить среди радости»... — хмуровато повторил он. — Хорошая женщина-мать это мне пожелала, да ведь не от нас только это зависит... Испанскую республику фашисты разгромили, Чехословакию волки окружили, Австрию «аншлюсом» за горло взяли...

Широкой ладонью он с силой потер лоб и шумно вздохнул:

— Рады бы радоваться, да вот начеку стоим днем и ночью!..

Разговор на эту тему больше не возобновлялся. С разных сторон надвигались тяжелые тучи, небо мрачнело, но люди еще не представляли себе, как близка была невиданно страшная гроза войны.

. . . .

Однажды в грозные годы Великой Отечественной войны я услышала от кого-то из наших писателей-военных, что Александр Серафимович был на фронте.

— Да что вы? — усомнилась я. — Ведь ему без малого уже восемьдесят лет!

Правда, тут же мне вспомнился известный всем нам факт: в годы первой мировой войны пятидесятилетний Серафимович был братом милосердия и много-много дней пробыл во фронтовых бараках среди раненых русских солдат, видел неисчислимые страдания. А вокруг этих страданий и смертей начальничье равнодушие, жестокая беспечность, неразбериха, грязь... В этом барачном аду Серафимович познакомился с Марьей Ильиничной Ульяновой, которая пришла туда для того же подвига. Слова из письма В. И. Ленина: «...рассказы сестры», конечно, относились к тому времени, когда Марья Ильинична работала вместе с Александром Серафимовичем. Он, пятидесятилетний, уже тогда не принадлежал к числу военнообязанных, ему не надо было ни прятаться, ни хитрить. Но его совесть писателя революционной темы звала туда, где за безудержные прибыли торгово-промышленного капитала гибли миллионы людей.

Но как ни тяжело ему было видеть ужасы войны, все-таки в пятьдесят лет у человека еще достаточно сил, чтобы вынести испытания войны. Однако уже на восьмидесятом году жизни быть на фронте — это просто невероятно!

Но пришлось поверить: в сентябре 1942 года я прочла в «Правде» очерковый рассказ «Ребенок». Вот когда снова появился образ детства, — и так много беспощадной правды, а вместе с этим столько нежности и глубины было в этом небольшом рассказе, что тут же захотелось прочесть его раненым в госпитале. Недалеко от улицы 8 Марта, где я тогда жила, в ста-

ринном здании середины прошлого века помещался госпиталь, где мне случалось довольно часто бывать. В одной из палат я прочла рассказ вслух, и не было человека, который не сделал бы взволнованного замечания, а некоторые почти дословно повторяли разные моменты и детали рассказа и, мало того, особенно тронувшие всех строки просили прочесть вновь. Все было кратко, точно и сурово отобрано в этом рассказе, и потому каждая строка и даже самая мелкая подробность казалась удивительно весомой. Голая степь под солнцепеком. Длинный эшелон, в котором эвакуируют тысячу детей из детских домов. Зловещий дым фашистских взрывов. Разбегающиеся, залегшие где попало детишки и взрослые. Дедушка и пятилетняя внучка Светлана, крохотная девочка в одних трусиках («все выскочили из вагонов в чем были»), увидевшие своими глазами чудовищное убийство и смерть от фашистских бомб множества детей, бредут вдоль полотна по знойной степи. Встреча с красноармейцами, их суровая ласка и забота о совсем не по-детски потрясенном, измученном ребенке. «В атаку бы теперь пойти!» — говорит один из красноармейцев в конце рассказа.

— Только эти слова и можно было сказать! Как все верно здесь написано! — говорили выздоравливающие бойцы, среди которых немало было и таких, которые, окрепнув, уже готовились вернуться на фронт.

Позже в газете «Красная звезда» (январь 1943 года) был напечатан, тоже навеянный фронтовыми впечатлениями, рассказ Серафимовича «Веселый день».

Прочитанный вслух раненым бойцам в том же госпитале, рассказ был принят слушателями с исключительным воодушевлением. Были среди раненых и танкисты, которые особенно горячо высказывали свое одобрение и признательность автору: их бесконечно восхищала «русская сметка» наших бойцов. Ночью, неуловимо для врага, выключив все шумы в механизме, бойцы задним ходом увели советский танк «с голого поля, которое раскинулось между нашей и вра-

жеской линией». Совсем так же, как и бойцы в рассказе, слушатели высмеивали фашистских артиллеристов, которые долго били по пустому месту: они предположили, что советские воины... подкопали танк, он опустился, а его забросали землей. А когда все наши бойцы узнали, как «опростоволосились» гитлеровцы на том участке нашего фронта, где это произошло, все хохотали.

После того как рассказ был во всех деталях и с огромным удовольствием обсужден, один из слушателей-танкистов объявил: если доведется ему доставить с поля танк, он применит обязательно тот же «способ доставки», что и в рассказе «Веселый день». Все так дружно захлопали, что дежурная медсестра беспокойно заглянула в палату — что случилось? В госпитале оказался свой «веселый день». Мне очень хотелось рассказать об этом дне самому А. С. Серафимовичу. Но рассказать ему я смогла только летом 1943 года на большом писательском собрании по поводу чествования Федора Васильевича Гладкова в связи с его шестидесятилетием.

Александр Серафимович произнес хорошую и дружескую речь в честь нашего юбиляра; держался бодро и оживленно. Однако на облике нашего «старшого», больше чем на многих, отразилось все пережитое за первые два года войны. Он сильно осунулся, запали глаза, лицо как-то потемнело, только воротничок знакомо и безукоризненно свежо белел поверх черной суконной толстовки.

В начале 1948 года многолюдно и сердечно прошло чествование Александра Серафимовича в день его 85-летия, а в январе 1949 года мы простились с ним навсегда.

В тот час думалось, многие, знавшие его десятилетия, вспоминали, что значил в их жизни этот большой писатель, человек большого сердца и широкого прямого пути, один из зачинателей советской литературы, друг Максима Горького, художник слова, так проникновенно отмеченный Владимиром Ильичем Лениным. Конечно же для нас, новых поколений русской литературы социалистической эпохи, опыт жизни,

опыт революционного мужания писателя и его творчества представлял непреходящее значение. В нашу эпоху великой борьбы за мир каждый разумный человек разносторонне познает значение общности труда, духовных стремлений, национального и международного содружества в достижении поставленных благородных целей, двигающих вперед науку, технику, искусство, народное хозяйство. Разве человек, обладающий таким кругозором, может сказать, будто лишь он один «собственной особой» является всеобъемлющим мерилом опыта и познания, что все значение бытия воплощено только в нем самом? Нет, напротив: он будет ясно помнить и осознавать, чей пример, чьи знания имели немалое значение для его духовного развития, кто помогал ему двигаться вперед. Когда мы говорим о влиянии нашего советского общества на любого из нас, мы всегда видим это влияние воплощенным в личности людей, которые, иногда сами того не замечая, нравственно обогащали нас, помогали нам стать сильнее, опытнее и дальше смотреть вперед. К таким людям принадлежит наш старший товарищ, Александр Серафимович.

Москва — Барвиха, 1962





Приближаясь к Москве летом 1927 года, я поделилась заботой с моими спутницами по купе: перед отъездом из Ульяновска я не успела подать телеграмму в гостиницу, где обычно, бывая в Москве, останавливалась, и потому, пожалуй, не смогу достать хороший номер. Мне посоветовали, в случае неудачи, обратиться в так называемую «Лоскутку», точнее — в Лоскутную гостиницу, где всегда можно остановиться. Это, правда, старомодная гостиница, доживающая свой век, но она в центре города, около Охотного ряда, и, кроме того, есть в ее «биографии» выразительная подробность: в «Лоскутке» останавливался Ф. М. Достоевский. Конечно, без всяких поисков и заездов куда-либо в другое место я сразу направилась в «Лоскутку».

Тридцать один год назад Лоскутный переулок, Лоскутный тупик и Лоскутная гостиница находились там, где в наши дни простирается обширная площадь: на одном ее конце станция метро «Улица Горького», а на другом — монументальное ампирное здание бывшего Манежа, ныне Центральный выставочный зал. Там, где теперь машины делают на площади круг

напротив Моховой улицы, находился тот «лоскутный» уголок старой Москвы, исчезнувший в первые же годы реконструкции нашей столицы.

Итак, я решительно на сей раз выбрала Лоскутную гостиницу. Дом действительно был очень неказист: облезлые, давно не штукатуренные стены, узкие окна, над входом проржавевший колпак на таких же, давно не крашенных железных столбиках со старинным узорцем «под рококо». Даже воздух в гостиничной прихожей, как попросту ее там называли, был какой-то уныло-застойный, — да, эта старинная московская гостиница доживала свой век.

Но продолжение разговора о «Лоскутке» еще впереди, так как он непосредственно связан с началом моих воспоминаний об Александре Александровиче Фадееве.

Накануне первой встречи и знакомства с ним я познакомилась в Госиздате с Александром Серафимовичем Серафимовичем — и весь день находилась под обаянием его доброты и внимания ко мне, тогда молодой писательнице. Назавтра я опять приехала в Госиздат, чтобы подписать договор. День был чудесный, как и мое настроение, и обедать в мрачноватом ресторанном зале «Лоскутки» мне совсем не хотелось. Я решила поехать в Дом Герцена, где мне уже ранее случалось бывать. Я заняла единственнный свободный столик, в уголке за жардиньеркой. Обедающих было много, а обслуживающего персонала явно не хватало. Я уже досадовала, зачем приехала сюда, — уж лучше бы мне пообедать в «Лоскутке». Наконец, решив уйти, я поднялась было с места — и тут мое внимание привлек высокий молодой человек, который быстрым, широким шагом шел к ресторанному уголку под полосатым тентом.

Кто-то вышел навстречу высокому, который обернулся как раз лицом в мою сторону. Высокий обнял встретившего его и потом оживленно заговорил о чем-то, похлопывая другого по спине и временами обмениваясь с ним шутливыми восклицаниями: «Да, вот так!», «Ну, а ты как, старина?..», «Вот какие дела,

старик...» Высокому до «старика», в прямом смысле, было еще очень далеко. Во всем его облике, в манере держаться чувствовалась привычная подтянутость военного человека. В те первые годы после гражданской войны эти черты отличали многих недавних командиров и бойцов Красной Армии. Черная «кавказская» рубашка с высоким воротником (несмотря на летнюю жару!), узкий кожаный пояс с серебряными насечками, отлично подогнанные военные сапоги будто еще дополнительно показывали: да, пусть другие носят красивые галстуки и модные костюмы, а вот мне приятна эта строгая полувоенная одежда. Уверенность, что этот заинтересовавший меня человек бывший военный, подкреплялась еще и тем, как разговаривал он с людьми. Это были разговоры накоротке или какие-то вопросы, на которые, возможно, лучше всех мог ответить именно этот высокий тонкий юноша в полувоенной одежде. Лицо его, словно еще недовылепленное, было так худощаво, что на запавших ямками щеках, как тончайший дымок, темнела тень, когда он поворачивал голову. Русые волосы лежали на ней неровно и даже слегка торчали, как мягкие иглы, — наверно по привычке, он частенько прочесывал их худой стройной рукой. Это впечатление стройности, как бы свойственной ему, ничуть не нарушали, например, забавно, по-мальчишески торчащие уши или большой рот, который казался слишком подвижным и будто врезался в его тонкие щеки. Но вот что-то рассмешило его, и быстрая, совсем юношеская улыбка, обнажив белую подковку зубов, осветила его лицо, голубоватые глаза весело заискрились. Смеялся он почти по-детски, слегка захлебываясь и чуть откидываясь назад, и было в этом негромком смехе что-то задушевное, приятно-заразительное, и, наверно, потому так содружно с ним смеялись его собеседники. О чем шел у них разговор в тени раскидистых старых деревьев, мне было не слышно. Зато совершенно очевидным казалось мне, что все здесь знали его, что многие нуждались в нем, искали случая поговорить с ним — и вот, конечно очень довольные, застали его здесь. Наконец до меня четко долетело

его имя: «Александр Александрович» — звали его одни, а другие просто — «Саша».

Александр Александрович... так ведь зовут Фадеева!.. Мне сразу вспомнились рассказы об Александре Фадееве товарищей, которым доводилось видеть его на московских литературных вечерах. Да, конечно же это Фадеев!.. Хотелось познакомиться с ним, но кругом никто не знал меня, и никто не мог меня представить ему.

Вдруг Фадеев, прервав разговор, быстрым широким шагом направился в сторону ресторана. Чернобородый метрдотель, похожий на древнеассирийского царя, предупредительно проводил Фадеева в уголок за жардиньеркой.

— А... да тут еще и прохладно в тени! — довольным голосом произнес Фадеев и, кивнув мне, спросил: — Разрешите?

— Пожалуйста, — ответила я и, полная самого жгучего любопытства, спросила: — Простите... вы Александр Фадеев?

Он взглянул на мое пылающее смущением лицо и ответил с доброй улыбкой:

— Да, я Фадеев. А вы?

Так мы и познакомились.

За обедом Фадеев расспрашивал, над чем я теперь работаю (в то время я заканчивала роман «Лесозавод»), поинтересовался моей семьей, а о детях моих (которые уже начали ходить в школу) сказал убежденным тоном, что не только для сердца матери, но и для творческого настроения писателя «ребятишки эти, конечно, значат бесконечно много». Потом, выслушав в ответ на его вопросы мои впечатления об Алтае и других знакомых мне местах Сибири, Александр Александрович заметил: да, Сибирь громадна и чрезвычайно разнообразна. Его юность прошла на Дальнем Востоке. Тут я вслух вспомнила о многих картинах природы, об очень характерных чертах жизни и даже мелких подробностях в его романе «Разгром», которые показывают: люди и природа Дальневосточного края не только хорошо знакомы, но глубоко, органично пережиты автором.

— Я там жил и воевал в партизанском отряде, — просто пояснил Фадеев.

Теперь уже я стала расспрашивать его о Дальнем Востоке, который знала прежде всего по книгам В. К. Арсеньева. Сейчас, много лет спустя, уже невозможно точно восстановить в памяти тот сжатый, но красочный рассказ Фадеева о Дальнем Востоке. Но до сих пор помнится общий его колорит и настроение какой-то романтической озаренности, которую возбуждала в сознании эта живая передача пережитого молодым писателем. Мне случалось видеть (в начале 20-х годов) сибирскую горную тайгу на Алтае, и потому дальневосточная мне представилась почти зримо. Среди дикой красы той дальневосточной тайги, так художественно-зримо описанной Арсеньевым, идут ее новые бесстрашные хозяева и борцы. Конечно, там, на таежных тропах, над кострами тревожных ночевок, среди опасностей и боевого напора партизанской борьбы, зародился замысел «Разгрома». Эти высказываемые вслух мысли Фадеев слушал с задумчивой улыбкой, а потом сказал тоном спокойного убеждения: «Да, творческий замысел «Разгрома» связан именно с тем незабываемым временем». Потом я рассказала, как горячо обсуждают роман «Разгром» в знакомой мне комсомольской среде; как характерно совпадение впечатлений и мыслей разных людей о героях романа — Левинсоне, Метелице, Морозке, Бакланове... Слушая высказывания нашей совпартшкольской молодежи о романе, заключила я, очень ясно и конкретно представляешь себе, как помогает это произведение формированию мировоззрения.

Фадеев, слушавший до этой минуты с молчаливым вниманием, вдруг переспросил:

— Мировоззрение?

Я повторила уже сказанное, а он, заметив мое удивление, с доброй улыбкой и чуть лукаво помаргивая, пояснил:

— Мне тем более приятно слышать это слово, что в нашей литературной среде есть люди, отвергающие это понятие.

«О ком это он говорит?» — мелькнула у меня смут-

ная мысль. Но так как в его глазах будто светился настойчивый вопрос: «А что же вы на это ответите?» — додумать мне было уже некогда. А главное, мне и хотелось ответить.

— Как же можно отвергать проблемы мировоззрения, — снова удивилась я, — когда сама жизнь наталкивает миллионы самых обыкновенных людей размышлять о ней — и, следовательно, вырабатывать в себе новое мировоззрение, о котором, кстати вспомнить, они до нашей советской эпохи и не знали, что это такое.

— Значит, от жизни это идет, а не только от нас, Российской ассоциации пролетарских писателей!.. — сказал Фадеев, посмеиваясь, уже с нотками торжествующей иронии. К кому-то была обращена и эта ирония, но Фадеев опять никого не назвал, — возможно, потому, что я не знаю людей, вызвавших это ироническое замечание.

Потом, посмотрев на меня уже серьезным взглядом, Александр Александрович начал было:

— А вот, простите, как это понять... — но тут же сразу смолк, будто раздумав. И снова какая-то неясность возникла в нашей беседе. «Что вы хотели сказать?» — только собралась я спросить, но Фадеев уже перевел разговор на другое и, между прочим, поинтересовался, как я устроилась с гостиницей — ведь летом в Москве столько разных съездов. Тут я рассказала о старой «Лоскутке», доживающей свой век и только тем интересной для нас, что в ее старомодных номерах останавливался Достоевский.

— Да ну-у? — изумился Фадеев, и голубые глаза потемнели от любопытства. Он попросил меня рассказать, что я слышала о пребывании Ф. М. Достоевского в стенах «Лоскутки».

После обеда Фадеев предложил пройтись пешком по Тверской до Лоскутной гостиницы — «на ходу както хорошо говорится и думается, правда?..». Ему очень интересно, что же мне удалось услышать в «Лоскутке» о Достоевском? Какие «следы» остались там о нем?

Мне пришлось несколько разочаровать Александ-

ра Александровича в его ожиданиях: нет, «следов» совсем мало, — и я рассказала обо всем, что удалось мне собрать, в той последовательности, как это происходило.

Прописываясь в гостинице, я спросила, почему она — Лоскутная? По одной версии, гостиницу назвали так по имени ее строителя — Лоскутова. По другой версии, на месте гостиницы, лет восемьдесят назад, находился так называемый «Лоскутный ряд», где торговали ситцевым лоскутом и тряпьем. Возможно, в конце концов «именитым гражданам первопрестольной» надоело видеть в самом центре Москвы неопрятный тряпичный рынок, и там была построена второразрядная гостиница «для торгового люда попроще».

По поводу пребывания Ф. М. Достоевского в Лоскутной гостинице существовало тоже два мнения. Две пожилые дежурные утверждали, что писатель не однажды останавливался в «Лоскутке» и живал подолгу. Но древнего вида старичок коридорный, в ватном пиджаке и в легких, подрезанных валеночках, какие и летом носят ревматики, решительно опровергал это мнение: по его словам, Достоевский был в Лоскутной только однажды, прожил меньше недели.

— Я-то лучше всех знаю, — шамкал старичок, — ведь я и в те поры тоже коридорным был и всем самовары в номер, утром и вечером, подавал!

Легко себе представить, что древний старичок, около полувека проработавший коридорным, показался мне главным звеном воспоминаний, которые мне так хотелось услышать. Я было закидала его вопросами, но старик мог ответить только на некоторые из них. Запись этой беседы, к сожалению, не сохранилась, в памяти всплывают теперь только отдельные слова и выражения моего собеседника, черточки умной народной наблюдательности. Своеобразно, например, описывал старик наружность Достоевского: «Большелобый, волосики и бороденка тонкие, лицо востроносенькое, скулы кожей обтянуты, будто недавно выхворался, еле из-под смерти ушел», а в общем писа-

тель напоминал собой... «странника с кружкой, что на погорелый храм собирает...». Обращение писателя с такими «маленькими людьми», как коридорный в «Лоскутке», «не в пример иным-прочим, было душевное», будто и сам он был «из простых».

«Поначалу я даже не сдогадался, кто он такой, а он, оказывается, книжки пишет! Вот чудно!»

Когда разговаривал с ним Достоевский? Чаще всего вечером за самоваром. Пока коридорный готовил все к чаепитию, Достоевский расспрашивал его о житье-бытье и о том, почему он, молодой, сильный, ушел из деревни, оставил там жену с детишками. На этот вопрос коридорный ответил, что одним осьминником пятерым ртам не прокормиться — в их округе земля барская «как на горло наступила» мужицкой земле со всех сторон. От этого «страшенного безземелья» и человеку и скотине не спастись от голодухи — вот и становится пахарь отходником и, как он, к примеру, день-деньской топчется в душной суете коридорной службы. Писатель подробно расспрашивал и обо всей деревенской округе: кто и куда ушел на заработки, сколько кому удалось заработать для семьи, кто уберегся от «соблазнов» большого города, а кто поддался им и, значит, погиб для семьи и т. д. Спрашивал, понятно, и о делах самого рассказчика, сколько жалованья получает, как питается, одевается, сколько денег домой посылает, дают ли чаевые (сам он давал их щедро), не обижают ли его приезжие? Видя такое сочувствие, коридорный рассказал и о тех «обидах неминучих», которые достаются на долю маленького человека, и, пожалуй, даже одного «из самых последних» — до того незначительна «его судьбинка». Коридорный не мог не поведать также и о том, что больше всего обид, непотребных слов и оскорблений вынес он от купцов и вообще толстосумов, которые приезжали в Москву не только деньги наживать, но и гулять до одури («А для таких в старое время удержу ни в чем не было!»).

Писатель слушал с исключительным вниманием, а сам «головой качал, и так прегорестно, будто на своей спине те же беды носил». Простился он с го-

стиничным знакомым задушевно, дал денег и подарил ему совсем хорошую сорочку из тонкого полотна.

Через несколько месяцев вся Россия узнала о смерти Достоевского. Гостиничный его знакомец еще долго не мог привыкнуть к мысли, что с ним «так попросту говорил» и сердечно сочувствовал его судьбе такой знаменитый человек. А сорочку из тонкого полотна он еще многие годы надевал только на пасху и в самые торжественные дни своей жизни.

После этого безыскусственного повествования я спросила старичка, что же было потом, как сложилась в дальнейшем его жизнь?

Старик печально отмахнулся: теперь уже «краешек от жизни остался». Когда более полувека назад он приехал в Москву, думалось ему: если в столицу «отовсюду деньги плывут», достанется и на его долю «хоть малая толика». Он надеялся через несколько лет скопить столько денег, чтобы «вернуться на землю», к семье. Но как ни учитывал он каждую копейку, ничего скопить не мог — все заработки отсылались в деревню. Потом сыновья подросли и тоже подались в город, а жена его, как верный сторож, хранила старую избу, огород, несчастный осьминник — «всю жизнь нашу он сглодал, проклятый». Бедная женщина все надеялась, что хотя бы к старости он сможет вернуться в родные места. Но в русско-японскую войну погибли на море два старших сына, а в русско-германскую убиты были двое младших. Много всякого навидалась его старуха, а тут пришел ей конец. Остался он с самой младшей дочерью, уже вдовой, и ее ребятишками, помогает им как может. К «Лоскутке» он привык, «тут без малого вся жизнь прошла», работать уже не может, так, по привычке, заходит сюда иногда. Он теперь «герой труда», грамоту имеет. Только досадно и тяжко, ревматизм его так донимает, что уж, видно, совсем конец ему, старику, приходит.

Вот и все, что мог мне рассказать один из свидетелей пребывания Ф. М. Достоевского в «Лоскутке». Но как тогда, так и теперь этот бесхитростный повествователь не в силах объяснить, почему знамени-

тый писатель — и не однажды! — беседовал с ним, чего искал в его ответах и жалобах на горькую долю. Перед ним ведь был один из «униженных и оскорбленных», о судьбах которых он думал всю жизнь. Представляешь себе, какую длинную вереницу людей горькой судьбы он вот так же расспрашивал, пропуская сквозь свое сознание с его первой потрясенностью, возмущением перед ужасами нищеты, бесправия народных масс, придавленных жесточайшей машиной феодально-капиталистического государства. Но разве это всё — жалеть, возмущаться, братски сочувствовать Макару Девушкину, несчастному подростку, Соне Мармеладовой и другим? Им-то, униженным и бесправным, какой прок от этой жалости и сочувствия, что изменится к лучшему в их жизни? Куда он звал их, что рисовал им в будущем, какой выход предлагал к иной жизни? На кого призывал он надеяться, кому верить, на кого опереться, за кем идти? Все эти мысли, еще со времени моей юности определившие мое отношение к творчеству Достоевского, вдруг вспомнились мне во время шамкающего стариковского рассказа. Поэтому я не могла не спросить его: ведь уж наверно не одни только деньги дал ему на прощанье писатель, но и как-то напутствовал, что-то посоветовал. Ведь и о том подумать: молодой крестьянин, безграмотный, растерявшийся перед резкой переменой жизни, — и знаменитый писатель, повидавший свет и людей, выдающийся талант, сердцевед... уж кто, как не он, мог одарить душу «маленького человека» навек незабвенным словом, советом, напутствием!.. Итак, что же он сказал на прощанье, расставаясь с «Лоскуткой»? В ответ старичок недоуменно пожал плечами и покачал лысой головой и наконец сбивчиво забормотал: «Сказал вроде бы так... ежели, мол, кругом зла много, не соблазняйся, не поддавайся злу...».

— Да, очень похоже, что старик в основном сохранил в памяти то, что было ему сказано, — согласился Фадеев. — Это были, конечно, не те слова, которые поднимают волю и мысль человека.

Потом Фадеев заговорил о том, как Достоевский,

беспощадно правдиво описав ужасы царской каторги в «Записках из мертвого дома», сам оказался «до смерти запуганным» царизмом. Наверно, ему представлялось, что уже ничего нельзя поделать с этой государственной как бы вечной системой, что и бороться с ней невозможно, во избежание еще больших несчастий.

А вскоре, четыре года спустя после смерти писателя, вспыхнула Морозовская стачка, отзвуки которой прокатились по всей России. Как-то бы он отнесся к этой массовой, организованной борьбе рабочего класса против текстильных «королей» Морозовых?

Подумав об этом повороте в беседе, я насмешливо заметила:

— Вот уж и размечтались два советских писателя, как принял и понял бы и как отозвался бы «жестокий талант» на Морозовскую забастовку?

— А, в самом деле, отозвись бы он... — заговорил Фадеев вдруг мечтательно, блеснув голубыми глазами. — Записал бы он свои мысли, например, в «Дневнике писателя»... или вложи бы он их в уста какого-нибудь нового своего героя... а?.. Ведь если бы мог случиться в его душе такой поворот, какой бы новой, чудной силой налился бы его талант, его изобразительное мастерство!.. И как поднялось бы значение его творчества в глазах нашего общества!..

Однако тут же он с явным сомнением покачал головой и даже отмахнулся:

— ...Но не так-то просто и быстро у художника такого типа, как Достоевский, мог произойти подобный поворот. Скажем даже лучше так: смерть освободила его от серьезного испытания, которое он едва ли бы выдержал... Да, это просто воображаемое путешествие в последнюю четверть девятнадцатого века! — закончил Фадеев и вдруг, хитро и весело подмигнув, добавил: — Взглянули на него на минутку... и опять в наш родной и бурный двадцатый век!

Так вот, иногда балагуря, мы шагали по Тверской последних лет нэпа, картина которой осталась только в воспоминаниях.

Двухэтажные, реже трехэтажные дома, большей частью старые, показывали свои обветшалые фасады со следами былых архитектурных красот — рококо, ампира или чахлого модерна, который начал было преуспевать, да тут и кончился.

Фасады, голубые, желтые, зеленые, розовые, пестрели вразнобой вывесками магазинов, магазинчиков, кафе, ларьков. Среди мелкой и крикливой суеты нэпа солидно выделялись государственные магазины с большими вывесками «Моссельпром» и «Мосторг». Продавщицы и продавцы в круглых и высоких фуражках-бадейках, на которых золоченой нитью вилось то же слово «Моссельпром», бойко торговали прохладительными и сладостями. Их зазывания сливались с частыми звонками трамвая, который тогда еще ходил по Тверской. По сравнению с Невским в Ленинграде, наша тогдашняя Тверская была низкорослой, довольно неряшливой улицей, во многих местах выстланной щербатыми плитами. Только кое-где радовали глаз ее некоторые здания (например, прекрасное своими благородными пропорциями, тогда еще двухэтажное здание Моссовета, более века тому назад выстроенное великим русским зодчим Матвеем Казаковым), площадь имени Моссовета, памятник Пушкину, окруженный щебечущей детворой, выходящий на Тверскую Проезд МХАТа с невысоким театральным зданием и тремя его входами, скромно и вместе с тем как-то многозначительно украшенными оправленными в металл стеклянными клеточками, в блеске которых словно светится такая знакомая еще с дней юности и всегда желанная встреча с мечтой и волшебством большого искусства. Вот, пожалуй, и все, что запомнилось на Тверской второй половины 20-х годов.

Как давно привычна и мила глазам прекрасная картина кремлевской площади, которая еще издали открывается нашему взору в проходе между зданием Музея В. И. Ленина и зданием Исторического музея. А в те годы этого прохода не было, он был забит неуклюжей, закопченной свечами Иверской часовней. Вокруг ее синего, заляпанного звездами конусообразного купола, вокруг ее стен, икон, дымных огоньков

свеч и лампад гомонила толпа богомолок, хрипло-голосых певчих и нищих.

Фадеев посмотрел на Иверскую беглым, холодно сощуренным взглядом.

— Хватит им тут кадить, — усмехнулся он, — скоро, поговаривают, начнется реконструкция Москвы, и одним из первых рухнет все это скопище.

Наконец я решила поделиться с Фадеевым моей большой радостью, но одновременно и заботой, с которыми приехала в Москву. Радость мне принесло письмо Государственного издательства с предложением издать как «Собрание сочинений» мои скромные труды. А вот по поводу досадной моей заботы я непременно хотела посоветоваться с А. С. Серафимовичем и Александром Фадеевым, потому что не знаю, как люди выходят из затруднения, подобного моему.

— Да говори, говори, в чем дело? — прервал он, устремив мне навстречу добродушно-насмешливый, но и властный взгляд. — Зачем досадовать насчет того, представится еще или нет случай встретиться с Фадеевым?.. Чудачка, вот же я тут и готов помочь твоей заботе! Ну, рассказывай.

Мне сразу стало легко от твердого и ясного чувства уверенности, что Фадеев все поймет и даст совет. Конечно, от этой уверенности залитая солнцем жаркого полудня Красная площадь, куда мы вышли, показалась мне сказочно красивой и величественной.

В начале весны 1925 года, когда наша семья еще жила в Сибири, я получила письмо из Москвы, от редактора журнала «Красная новь» А. К. Воронского. Уже не помня, за давностью лет, этого письма дословно, я тем не менее отлично помню его содержание и дружескую теплоту тона, что ведь тоже было очень важно и дорого для меня, тогда молодого автора. А. К. Воронский извещал меня, что моя повесть «Медвежатное» скоро выйдет в свет, поздравляя меня с началом сотрудничества в журнале «Красная новь». Очень растрогали молодого литератора также и вопросы редактора, старого большевика, над чем автор сейчас работает и что может предложить журналу в ближайшее время. Письмо закончилось приглашением

обязательно побывать в редакции журнала, когда буду в Москве. Легко себе представить, с каким восторгом отвечает молодой литератор на это доброжелательное письмо ответственного редактора самого популярного в те годы журнала «Красная новь»!.. Вскоре мной были посланы А. К. Воронскому два рассказа: «Рыжая масть» и «Каленая земля». А еще немного времени спустя, направляясь для лечения в Крым, я остановилась в Москве, чтобы побывать в редакции журнала «Красная новь» и уже лично познакомиться с А. К. Воронским. В редакции мне все понравилось: просто, скромно и как-то приятно деловито. Очень приветливо встретил меня сначала Василий Васильевич Казин, а вскоре в редакции появился и А. К. Воронский, по-весеннему оживленный и не такой уж старый, как я его себе представляла. Он встретил меня крепким рукопожатием, много расспрашивал о Сибири, о Поволжье, о родине Ильича Ульяновске, где я жила со второй половины 1925 года.

В ответ на один из его вопросов я сказала, что литературная моя родина — Сибирь, где я прожила пять лет, плодотворных, веселых, может быть, даже и самых чудесных лет моей жизни. Сибирь, Алтайский край, его природа и люди всегда будут близки и дороги моей душе.

— Вижу, вы влюблены в Сибирь! — шутливо заметил Воронский. Мне были чрезвычайно приятны его отзывы о журнале «Сибирские огни» и о писателях-сибиряках, о чем я тут же откровенно ему заявила. Так живо и непринужденно шла наша беседа, которая, конечно, порадовала бы любого, особенно молодого автора, будь он на моем месте. Правда, был в этом разговоре один момент, который несколько не соответствовал моему настроению: мне казалось, что эти высказывания редактора «Красной нови» как бы задевают какие-то случаи и воспоминания, до которых мне, право, никакого дела не было. Он, Воронский, хотел бы объединить писателей вокруг журнала, пусть бы каждый чувствовал себя свободно, легко, во всей «непосредственности творческого бытия» и с той детской полнотой «данности мира», какой он об-

ладает, и т. д. А вот есть люди, которые критикуют эти принципы объединения и стремятся, напротив, разъединить писателей и осложнить обстановку своими «декларациями и пристрастной критикой» и т. д.

Я не знала, о ком идет речь, и потому не могла понять, почему лицо Воронского стало сумрачным, а в голосе его звучала ирония и недовольство. Мое приподнятое настроение в тот прекрасный весенний день, по дороге в Крым, к лучезарному морю, отвлекало меня от всяких иных поворотов в беседе. С беспомощно-нетерпеливым видом я пожимала плечами и качала головой, показывая: право же, бесполезно со мной говорить на эту тему. (Правда, позже, вспоминая об этих моментах разговора с А. К. Воронским, я возмущалась собственным невниманием в те минуты — мне как раз было бы очень полезно и важно заинтересоваться именно этой частью беседы, а она прошла стороной.) Разговор вскоре перешел на прежние рельсы, чтобы закончиться столь же приятным образом.

В эту же цепь приятных впечатлений, связанных с журналом «Красная новь», без труда попало письмо, полученное мной в конце 1925 года. Написал его писатель, которого я знала по его произведениям, но лично не была с ним знакома. Он писал, что при журнале «Красная новь» организуется творческое объединение писателей, горячо преданных реализму, живописности, сюжетности и отражающих в своем творчестве жизнь рабочих и крестьян, бытие широких трудовых масс. Писатели-«красноновцы», как заключал он свое обращение, будут единодушно приветствовать мое вступление в это творческое содружество.

Помня свои весенние впечатления, я подумала: а почему бы, в самом деле, не вступить мне в это содружество или объединение? Да, меня больше всего влечет к себе жизнь трудового народа, да, реализм, современный, действенный, с неустанными поисками ясной целеустремленности, живописности, широты. сюжетности. Пожалуй, можно вступить в это содружество, — да, наверно, так это и происходит: по общему мнению членов творческой организации, писа-

телей и поэтов просто приглашают в данное содружество, вот и все.

Одно вызывало у меня недоумение: странное название новой организации — «Перевал». Что это означает? Перевалами, как известно, называются наиболее доступные для преодоления горных высот дороги или тропы — обходные, зигзагообразные (как представлялось мне) — по горным хребтам или косогорам, а то и спускающиеся в низины. И сколько же времени, сил, энергии затрачивалось на такие медлительные перевалы!.. Но ведь Великая Октябрьская революция всюду прокладывает новые пути в будущее — во времени, на земле, в сознании людей. Так почему же смотреть назад, в прошлое, когда ни у кого и мыслей не было о новых путях; сейчас ведь люди не «переваливают», а смело и прямо идут вперед?.. А по этому названию выходит, что для писателя якобы лучше продвигаться в познании жизни методом «переваливания» с тропы на тропу, по методу староинтеллигентской постепеновщины, которую мы, молодые современники, яростно ненавидели. Мои близкие разделяли мое недоумение, но ничего посоветовать не могли. А когда в 1926 году на страницах журнала «Красная новь» появилась «программа» новой творческой организации, я уже ясно поняла, что ошибочно вступила в эту литературную группу. Вот тут мне вспомнились отдельные высказывания и их тональность в устах А. К. Воронского в тот весенний день, когда я слушала их так невнимательно, — а как бы мне следовало тогда вслушиваться и вдумываться!.. Теперь мне стало совершенно ясно, что эта, как я ее прозвала, внешне «рабоче-крестьянская» декларация направлена, по сути дела, против пролетарских писателей: А. С. Серафимовича, А. А. Фадеева, Демьяна Бедного, Дмитрия Фурманова, Юрия Либединского и других, чье творчество я глубоко ценила. Живя далеко от Москвы и вращаясь главным образом в партийно-педагогической среде, я как-то не задумывалась о своем организационно-литературном «оформлении». А теперь, вступив в организацию, я не знала, как мне из нее выйти.

Александр Фадеев слушал внимательно. В светлых глазах его то мелькала ироническая усмешка, то явная досада. Большой рот мальчишеского склада вдруг забавно сжимался, что-то смешило его, а порой его сосредоточенный взгляд словно говорил: «Да, здесь есть о чем подумать... и мы подумаем».

В заключение я рассказала, как совсем неожиданно произошла разрядка в моем напряженном настроении: я получила письмо от Михаила Лузгина[1] из журнала «Октябрь». Незнакомый писатель не только дружески обращался ко мне, но и как бы «снимал» с моей души все, что раздражало и возмущало меня. Зная, что уже несколько лет я работаю над романом «Лесозавод», Михаил Лузгин передавал мне пожелание редакции журнала «Октябрь», органа Российской ассоциации пролетарских писателей, напечатать в журнале мой роман или дать отрывок. Факт моего пребывания в группе «Перевал», как заключил свое письмо Михаил Лузгин, не имеет значения, так как мое творчество «вполне созвучно и вообще в плане журнала «Октябрь». Эти заключительные строки письма словно влили в меня бодрость. Значит, есть на свете люди, кому небезразличны промахи молодого литератора.

— Ну вот... видишь теперь, ты напрасно боялась, что Серафимович, Фадеев и другие рапповцы тебя не знают, — с мягкой улыбкой произнес Фадеев. — Мы были очень рады получить твой отрывок из «Лесозавода». В будущем ты дашь нам роман полностью?

Я с восторгом ответила: «Да, да», а потом приступила к расспросам: куда надо обратиться и как надо написать, что я выхожу из литгруппы при журнале «Красная новь» в РАПП?

Текст моего заявления по этому поводу, тут же устно составленный, Фадеев одобрил и сказал, что оно может быть напечатано в журнале «На литературном посту».

— Но учти... — и предостерегающе кивнул мне, —

[1] Погиб за родину в годы Великой Отечественной войны.

учти, что это заявление тебе так просто не пройдет... Почему? Видишь ли, здесь будут действовать свои причины и особенности, которые встречаются только среди людей искусства. Да ведь и более ранимых людей, чем они, пожалуй, не найдешь. Представь себе, что бы ты почувствовала, если бы твоих детишек стали называть уродами... верно, ведь обидно? А в искусстве еще глубже: тут уже не только рожденное, а созданное, сотворенное... и, может быть, даже на века, черт возьми!.. Дети, мол, вырастут, заживут своей самостоятельной жизнью, а вот созданное мной, думает такой творец, сохранится на века! И вот при журнале «Красная новь» объединилась группа таких творцов, и ты своим выходом из этой группы, конечно, нанесешь ей известный моральный урон. Твоя связь с журналом, так успешно начавшаяся, наверняка порвется, а те, кто обидится и даже возненавидит тебя, потом всегда найдут повод тебе «припомнить»... Известно, что в литературе умеют «припоминать» зло, тонко и остроумно, а следовательно, и особенно больно; где ударят, а где и кольнут мимоходом — все доведется испытать... Мне хочется дать тебе дружеский совет на будущее... — сказал он потом с медлительной серьезностью, как бы подчеркивая нечто новое и важное, что мне следовало узнать. — Ты так решительно настроена в защиту партийности в литературе, что хочешь немедленно разминуться с инакомыслящими, — это хорошо, полезно для дела. Но вот, когда ты у них поспешила увидеть то же самое мировоззрение, что у тебя, — это уже идет от неопытности и прекраснодушия!.. Этому чувству, как известно, очень свойственно видеть людей и обстоятельства в улучшенном виде и, значит, как бы снимать трудности и противоречия и, наконец, упрощать...

Далее, как пример внешней «правильности» он выбрал «рабоче-крестьянскую» часть красноновской программы и клятву творить для реализма. Но как показывать этих новых героев жизни, выдвинутых историей? Какие новые задачи поставила наша история перед каждым писателем-реалистом? Какие стороны духовного бытия героев и какие их дела, поступ-

ки и стремления отбирает и обобщает художник как «самые решающие, характерные» своей неповторимостью, которую открыла людям наша революционная эпоха? Об этом ничего не сказано, потому что «самые глубокие идейные истоки» этого нового художественного выражения рождаются не только талантом видения, а и мировоззрением художника, его принципиальным отношением к действительности. Некоторые надеются «обойти» вопрос о мировоззрении и взамен этого выставляют вперед, видите ли, лояльность собственного понимания: да, они видят и учитывают, что на оценку истории вышли рабочие и крестьяне, а они, писатели, конечно, согласны. А человек, не знающий обстоятельств дела, «так вот и поверит этой якобы рабоче-крестьянской линии», что «является одним из следствий незнания», в данном случае — литературной обстановки.

Я сказала, что история возникновения разных литературных группировок в советской литературе, причины их столкновений между собой и т. д. мне представляются еще смутно, а спросить было не у кого.

Фадеев глянул раздумчиво на мое огорченное лицо и сказал с серьезной и доброй улыбкой:

— Ну... этому горю не так уж трудно помочь.

И он начал рассказывать, «что делается у нас в советской литературе».

Мы шли вдоль набережной Москвы-реки. От кремлевских стен и башен уже веяло предвечерней прохладой. Это была Кремлевская набережная до начала пятилеток. В те годы Москва-река еще не была обрамлена новыми набережными и могучими широкими мостовыми, к которым мы привыкли теперь. Не было тогда еще в обычае сажать в городе взрослые деревья, вынутые лебедками с большим кубом родной лесной земли, что так просто делалось в 30-е годы. В конце же 20-х во многих местах Москвы еще не существовало той зеленой живой каймы, которая теперь украшает наши улицы и набережные. Не было также привычных нашему глазу белых речных трамваев; не скользили тогда по волнам Москвы-реки спортивные моторки, глиссеры, яхты, байдарки, ски-

фы — веселая и легкая флотилия водного спорта, которой уже давненько наши юные, молодые и даже пожилые «болельщики» привыкли любоваться на состязаниях по гребле. Да, многого, без чего теперь мы просто не представляем себе улиц, площадей и набережных около древних стен Кремля и Москвы-реки,— многого тогда еще не было. Но и тогда, без многих зримых дополнений, внесенных градостроительством первых пятилеток, здесь все казалось прекрасным.

Мощные кремлевские башни с высокими черепичными кровлями, простейшей кладки стены с каменным кружевом зубцов, сквозь которые гляделось розовеющее небо, — вся эта картина исконно русской, в веках сохраненной красы так торжественно-свободно устремлялась ввысь, что казалось: сама бессмертная душа великого города открывается каждому любящему его.

Несомненно, Фадееву тоже были близки и милы эти места, потому что несколько раз, никуда не сворачивая, шагал он по набережной из конца в конец. Временами он приостанавливался у парапета. Ветерок поднимал его русые волосы, чистый лоб его казался выше и шире; в голубых глазах, устремленных куда-то вдаль, к серебристому мареву над рекой, появлялось выражение глубокой и деятельной задумчивости. Все, что он говорил, было бы трудно записать даже по свежим следам. Это было, с одной стороны, размышление вслух, с отступлениями в сторону, с остановками и подчеркиваниями, с неожиданными сравнениями и оттенками разной тональности по отношению к разным писательским именам. С другой стороны, его рассуждения ничем не напоминали какой-либо экспромт, с его произвольной игрой настроения, как иногда бывает, под влиянием минуты и преходящих обстоятельств. Напротив, все его высказывания поражали своей четкой определенностью и ясной силой убеждения. В авторе «Разгрома» мне вдруг открылся критик, очень вдумчивый, серьезный, с философским строением мышления и глубокой любовью к советской литературе. Мне думалось, если бы все критики так чувствовали и знали нашу литературу, как

Александр Фадеев, то тысячи ее читателей проходили бы подлинную школу нового, социалистического понимания литературы.

В высказываниях Фадеева, как еще никогда до этого, я как бы увидела картину бытия советской литературы, ее поколений, жизненно и философски разноликих, с неизбежными противоречиями и сложностями идейной борьбы.

Так как в то время у меня еще не было непосредственных впечатлений от литературно-общественной жизни, я спросила, не скрывая иронии, о странной «платформе» такого, например, «теоретика» реакционно-эстетского склада, как Лев Лунц. Ко времени, мной описываемому, Льва Лунца уже не было в живых.

Как мог в нашу советскую эпоху — хотя бы и недолго! — влиять на умы этот отпрыск буржуазного декадентства?

В духовном бытии нашего советского общества, конечно, нет почвы для развития декадентства, говорил Фадеев. Однако не следует думать, что вместе с появлением новой советской литературы «как бы сами собой» исчезнут отголоски декадентско-мистических, эстетско-формалистических и прочих реакционных течений в предреволюционной русской литературе.

Известны всем «барды декадентства» — Андрей Белый, Федор Сологуб, З. Гиппиус, Д. Мережковский, позже Леонид Андреев, Арцыбашев и другие. Поддерживаемые буржуазными «меценатами», указанные «барды» вели себя каждый на свой образец — «пророчествовали» и изумляли легковерных тайнами и мистикой «непознаваемого», отвлекали людей от действительности, от проблем современности. Декадентство, как известно, не было одноликим, маскировалось под разные «измы» (символизм, кубизм и т. д.). Подличая перед самодержавием и капитализмом, ненавидя революцию и боясь «ярости народной», декаденты изображали себя «неподкупными ревнителями» заповедного мира, своей творческой специфики. Пусть, мол, что угодно происходит за пределами этого заповедного мира, уж он-то «останется» неизменным,

в нем-то, дескать, и заключается «некая наивысшая свобода духа», в которой и есть главный смысл бытия. Интеллигенты, не разобравшиеся в смысле и направленности общественных событий, легко попадались в декадентские сети. Попадала в них и часть молодежи последних предреволюционных лет, которая так же смутно разбиралась в реакционной сущности декадентства, как смутно понимала и смысл общественных событий.

Каждый, кто счастливо обошелся без декадентских «мод», вспомнит с благодарностью о тех, кто воспитывал в душе молодежи любовь и уважение к реалистам русской литературы. А главное: в те последние годы царского режима в литературе был Горький! Все передовые крупные реалистические таланты, как мы, студенчество, себе представляли, группировались вокруг Максима Горького.

— Да! Горький! — торжествующе повторил Фадеев. — Как ни пытались они, все эти мистики, эстеты и прочая и прочая... как ни нападали они на Горького и тех, кто был близок ему, — он стоял себе спокойно, твердо, как скала!

Фадеев быстро выпрямился, крепко сжал кулаки и, держа их на уровне груди, некоторое время стоял так, словно радуясь про себя той умной и улыбчивой силе, которая играла в нем.

— Вот ты вчера познакомилась с нашим Александром Серафимовичем. Недолог был первый разговор, а ты почувствовала, что наш старик один из тех кряжей, что шли вместе с Горьким.

Лицо его вдруг приняло выражение восторженно-строгое.

— Какая жизнь... а! Сильная, прямая, мудрая, всегда с народом!.. Откуда она такая, от каких корней?

«Корни» эти Фадеев видел в традициях русской революционно-демократической литературы, всегда крепко связанной с жизнью народа, — в традициях, которые у нас в России особенно глубоки, сильны и постоянны, переходят от поколения к поколению, как «самое дорогое духовное наследство». Именно «вот такие люди-кряжи, как наш замечательный ста-

рик Серафимович, — а их было много!» — не давали ходу декадентству, как это было, например, в истории западноевропейской литературы. Нигде в Европе нет писателя, нет «такого могучего реалистического таланта, как Горький», в кого так верил, кого любил и ценил великий Ленин. Вот почему он, Фадеев, никогда не боялся никакой «декадентской порчи» для русской литературы и «не поддавался возмущению» против всяких архизеленых прорицателей и скороспелых теоретиков, которым так и не суждено было созреть.

Почему в искусстве не следует «поддаваться возмущению» (повторил он мой вопрос), независимо от того, идет ли речь о прошлом или о переживаемом моменте? Потому, что от возмущения в конечном счете меньше пользы, чем от изучения, познания, понимания.

Известно, что декадентство со всеми своими личинами, маскарадами, подобьями, школками и течениями успело все-таки «набросать немало мусора» в память современников, особо нервных сынов нашего века! Реакционная сущность декадентства не всеми и не сразу была разгадана, зато довольно легко воспринимались утверждения, что внутренний мир каждого художника единственный в своем роде; неповторимость же со всеми ее красками и потенциальными возможностями может развиваться только на зыбкой основе полной отрешенности писателя от жизни, общества, что называлось на их языке «свободой художника».

— Вот кое-кто и задумывался, не поступиться бы, не потерять бы, мол, эту неповторимую свободу! — иронически усмехнулся Фадеев. — Какое, дескать, мне дело до исторических перемен и закономерностей? Напротив, чем меньше меня это будет касаться, тем, мол, я буду сильнее... хо-хо!

В коротком смешке его прозвучали презрительные нотки.

— Вот, например, пребывает в советской литературе Андрей Белый — один из последних символистских «бонз», мистик и философ идеализма. Всю жизнь он только и делал, что повторял в своих книгах «фи-

лософические» измышления русской реакции, в сущности следовал ее «курсу» клеветы на рабочий класс, на революцию и, поди ж ты, все время окруженный целыми заграждениями мракобесия, ощущал себя... «свободным»!..

(Фадеев бегло, но так точно описал мне наружность Андрея Белого, что впоследствии, увидев на одном из литературных собраний, я сразу узнала «бонзу» русского символизма.)

— Человек этот, — продолжал Фадеев, — еще не так стар, а уже кажется физически и духовно таким немощным, будто он уже непоправимо изжил себя и притоков жизненных ему взять абсолютно негде. Рассказывают также, что беседовать с Андреем Белым на литературные темы почти невозможно — столько зауми в его словах, что человеку здорового мышления просто трудно понять, что к чему! А недавно один товарищ передал свое впечатление от беседы с Андреем Белым: «Знаешь, он живет словно во сне!..» Это в наше-то время — во сне! — И он расхохотался, по-мальчишески, увлеченно встряхивая головой. Насмешливое выражение лица, однако, тут же сменилось серьезностью, а во взгляде, устремленном куда-то вдаль, читалось глубокое и зоркое раздумье.

Не следует, конечно, впечатления, внушенные Андреем Белым, «обобщать как нечто однотипное» для многих. Люди, характеры, кругозор мышления, сроки познания ими новых явлений действительности бесконечно разнообразны, у каждого по-своему. Есть «мелкодонные талантики», которые, усвоив для себя некий, например, «мистико-формалистский угол зрения», уже не в силах выйти «из своего закутка» на широкую дорогу. Случается, большой, сильный талант по пути своего развития попадает и в зыбкие болота, иссушающие пески или в скверную непогодь разных модных и преходящих течений в искусстве. Но самой природе сильного и богатого таланта свойственно стремление «дышать свежим воздухом и настойчиво искать широкую дорогу».

— Вот наш современник увидел эту широкую, прямую дорогу... — и Фадеев, словно примериваясь

к раскинувшемуся простору, приостановился и по-хозяйски задумчиво прищурился.

Весело усмехаясь и будто вспоминая на ходу какой-то приятный ему разговор, Фадеев продолжал:

— «Да, да, здорово! — говорит этот сильный и прекрасный талант. — Но разрешите, пожалуйста, вглядеться, вдуматься, что для меня нужно, естественно, вдохновляюще полезно». Пожалуйста, вдумайся, друг!.. Мы, коммунисты и твои собратья по перу, всегда готовы помочь тебе! — И Фадеев, широко приглашая, раскинул руки. Каждая черточка его худого, угловатого лица засияла такой доброй и щедрой улыбкой, что почудилось: это выражение и всей души его, щедрой, открытой людям.

Теоретические термины ничуть не мешали и не нарушали строя фадеевской речи, а придавали ей оттенок четкости и точности. Кроме того, в нем, несмотря на молодость, чувствовался давний и страстный пропагандист, привыкший помогать людям, подталкивать их мысль. На литературные темы он, видно было по всему, особенно любил говорить. И сколько теплоты и даже нежности звучало в его молодом голосе, когда он произносил имена писателей, особенно дорогих ему.

Сколько раз потом вспоминался этот первый разговор с Александром Александровичем, — как ясно предвидел он прекрасное будущее тех писателей, доныне здравствующих и обогативших советскую литературу выдающимися, эпохальными произведениями!

Знают ли они о том, как тонко он понимает и ценит их, тем более что они ведь не члены РАПП? Первую часть моего вопроса он как бы опустил, насчет нечленства в РАПП кратко ответил: показная приверженность к определенному творческому коллективу «еще не полностью объясняет писателя».

Увидев новый вопрос в моем взгляде, Фадеев дополнил дальше: не вечно будут существовать группировки в советской литературе — придет время, когда они и вовсе не понадобятся. Год от года познание действительности, идейное и эмоциональное ее влияние на развитие таланта, а также творческие и обще-

ственные связи между писателями достигнут ясности и осмысленной взаимной необходимости, так что всякого рода «перегородки» уже просто будут стеснять движение и рост советской литературы. Когда это будет, он не знает, но убежден в этом — ведь «социалистическое переустройство жизни объединяет людей всюду». Нельзя при этом забывать, что советская литература «складывается как до сих пор еще небывалая, качественно новая литература». Это глубокое размышление вслух, когда говорилось о произведениях здравствующих писателей — и с каким волнующим подтекстом (ведь все это были отзвуки живого общения Фадеева с ними!); когда перед тобой словно проходили картины литературной жизни — ни в одной статье или даже исследовании такие непосредственные свидетельства, конечно, не встретишь, — и тем более все услышанное было мне дорого и незабываемо. А сам Фадеев, художник слова, открылся мне не только как натура многогранная, но и богатая мечтой предвидения, идущего от новых корней действительности. Говоря кратко, но метко о творчестве разных писателей, Фадеев обязательно подчеркивал сильные и прекрасные стороны таланта, отличительные свойства языка, его красок, тональности, смыслового звучания, — удивительно, как точно и увлеченно он помнил и говорил об этом и как много знал. И что еще особенно было необычайно привлекательно в этих экскурсах — горячий интерес и забота о действенности работы всей советской литературы. И думал он о ней не просто как один из талантливых, уже известных всей стране писателей, а и, конечно, как один из ее руководителей.

В облике А. С. Серафимовича, с которым я познакомилась накануне, я почувствовала глубокое обаяние большой писательской личности, жизненного опыта, мудрости и нравственной силы старого революционного борца. За плечами Александра Фадеева еще не было и тридцати лет, все в нем искрилось недавней боевой юностью, здоровьем, жизнелюбивой уверенностью в будущем, широтой духовных интересов и какой-то, так и хотелось сказать, просторной и неис-

сякаемой жаждой познания. Мысли и настроения, выражаемые им вслух, казались мне гораздо старше его возраста. Его духовная личность, раскрывавшаяся так щедро и просто, была больше и значительнее его внешнего облика, боевито-скромного и командирски подтянутого, — и все это потому, что в этом человеке читался руководитель, мечтатель, борец, щедро отдающий себя общему делу.

То, что я сегодня услышала от Фадеева, свежим ветром ворвалось в мои мысли и открыло им новые просторы. А думалось мне как раз о нем, о добром товарище, который так быстро и хорошо сдержал свое обещание помочь мне.

Считаю даже, что мне посчастливилось познакомиться с ним именно теперь, когда столько творческих запросов, мечтаний и планов теснится у меня в голове.

Фадеев улыбнулся и покачал головой:

— Ну, один человек все-таки не может своими разъяснениями дать так много, как, например, целый писательский съезд.

— Съезд пролетарских писателей?

— Да, первый съезд пролетарских писателей будет, очевидно, в конце этого или в начале следующего, двадцать восьмого года. Со всех концов Советского Союза съедутся сотни молодых борцов за нашу новую, пролетарскую литературу, за наш революционный реализм.

Пожелав мне счастливого пути, Фадеев уже с серьезной и ободряющей улыбкой добавил:

— Значит, до съезда!

Эти часы первого знакомства с Александром Фадеевым пронеслись в памяти просторно и красочно, как из окна вагона морская ширь или зеленые горные долины, пестреющие коврами цветов.

«Какой хороший, какой богатый день был сегодня!» — думалось мне, пока я поднималась по лестнице доживающей свой век «Лоскутки», которая в момент этого приподнятого настроения мне даже показалась довольно уютной.

Потом мне подумалось, что в состоянии счастливой

душевной наполненности обязательно присутствует радость познания людей: а ведь я сегодня познакомилась с человеком большого таланта, сильного, светлого нравственного облика.

На следующий день у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы до моего вечернего поезда заехать в Дом Герцена.

В небольшой комнатке журнала «На литературном посту» находился один из рапповских молодых критиков, который и принял от меня письмо в редакцию [1].

Менее чем через год, в начале мая 1928 года, я снова встретилась с Александром Фадеевым, уже на Первом съезде пролетарских писателей. Но до этого была еще одна, короткая встреча.

Накануне съезда я увидела, как со стороны Кузнецкого моста, неторопливо тарахтя, поворачивает к Петровке старая извозчичья пролетка. Старик возница, один из представителей последнего, уже исчезавшего в те годы извозчичьего племени, сутуло покачиваясь, сидел на козлах и вяло помахивал кнутом, будто всем показывая: нам торопиться некуда. Словно под настроение хозяина, лошаденка плелась кое-как. Зато седок, в черном пальто и такой же кепке, явно торопился. Касаясь рукой сутулой спины извозчика, он что-то говорил и нетерпеливо встряхивал головой. Еще секунда — и я, рассмотрев знакомый профиль, невольно позвала его.

— А! Здорово! — весело откликнулся Фадеев, обратив ко мне разрумянившееся от прохладного ветерка лицо. Пролетка остановилась. — Везу авторские «Разгрома», завтра раздам на съезде товарищам, на добрую память! — с широкой улыбкой пояснил он, указывая на несколько плотно увязанных тюков, заполнивших утлую старинную пролетку.

---

[1] Письмо в редакцию журнала «На литературном посту» о моем выходе из группы «Перевал» и вступлении в РАПП было напечатано в одном из осенних номеров журнала за 1927 год.

Я попросила его не забыть, среди множества имен, надписать книгу и мне. Он обещал не забыть, звонким голосом произнес «до завтра» и поехал дальше.

Первый съезд пролетарских писателей происходил в Харитоньевском переулке. До сих пор помнятся мне целые толпы молодых людей в вестибюле, на лестнице, в зале заседаний. В их оживленном разнообразии, в речевой манере зримо виделось многоликое братство народов Советского Союза, живое чувство творческой дружбы. Все выражало ее: блеск глаз, улыбки и дружные раскаты смеха, перекрестные шутки и расспросы, мгновенно возникающие знакомства, крепкие рукопожатия.

Это большое всесоюзное собрание писателей, казалось мне, сверкало всеми красками молодости. Наверно, как и многим в тот день в Доме съездов, мне думалось: такого молодого съезда писателей, пожалуй, не бывало в истории русской литературы, да и будет ли когда именно такой? Пройдет пять или десять лет, и многие из присутствующих здесь делегатов уже будут людьми среднего возраста, обогащенными жизненным и творческим опытом. Люди станут старше, мудрее, но вот этой искрящейся красками молодой непосредственности уже не будет. Потому-то и хотелось вглядеться пристальнее, запомнить покрепче эту картину.

Многие рапповцы-москвичи расхаживали по коридору (тогда еще не употреблялось слово «кулуары»!) или, собравшись кучками в зале заседаний, оживленно и громко делились мыслями и впечатлениями.

Александр Фадеев, торопливо проходя через зал в комнату президиума, был сразу окружен делегатами. Удивительно, как он успевал отвечать на вопросы, которые сыпались со всех сторон. Мне хорошо была видна эта плотная группа, окружавшая Фадеева. Близко к ней некоторые делегаты, стоя на стульях, тоже ожидали ответа на свои вопросы. А эти вопросы были, конечно, разные, потому что выражение лица Фадеева быстро менялось — то серьезное, то напряженно-внимательное, то ироническое, то смешли-

вое. Ему приходилось смотреть во все стороны и поднимать взгляд и к тем, что стояли на стульях. Он отвечал всем с открытой и щедрой готовностью общественного человека, глубоко ценимого и нужного многим. Вдруг, по противоположной ассоциации, мне вспомнилась картина из моих студенческих лет. На один из земляческих наших вечеров, в числе других поэтов, был приглашен Бальмонт. После его выступления группа студентов, провожавшая Бальмонта до вестибюля, успела задать поэту вопрос: как велико, наверно, счастье поэта, когда он, как бард, окружен множеством людей, слушающих его стихи? Бард иронически усмехнулся и ответил, что люди только мешают поэзии и лучшее его счастье — одиночество, вдохновение для себя, стихи для себя. Проводив знаменитость, мы только растерянно переглянулись и не стали больше говорить о нем.

Мне стало еще отраднее наблюдать эту уже знакомую фадеевскую открытость и доброжелательную широту общения с людьми — и главное, в какой момент: когда ему, главному докладчику, вполне позволительно было бы сейчас, перед открытием съезда, поберечь силы и время. «Человек для людей», — вспомнилось мне любимое выражение одного старого большевика, обозначающее высокую степень сознательного отношения к партийному и общественному делу.

Внимательный читатель конца 50-х годов, изучая этот доклад, достаточно широко представит себе, чем жила и дышала тогда молодая советская литература.

Проблема партийности и связи литературы с жизнью, борьба реализма и партийности против идеалистических, иррациональных теорий и проповедников «бессознательного», борьба с формалистско-эстетским штукарством, призывы неустанно учиться у наших великих классиков-реалистов, проблемы художественного обобщения явлений действительности и живых образов наших современников — все это и теперь идет от той главной идейной основы.

Но вернемся к воспоминаниям о съезде.

Не успели смолкнуть бурные рукоплескания по

окончании доклада, как Фадеева тут же снова окружила оживленная толпа. И, неведомо как, приблизились к ней два паренька, вида явно непрофессионального, оба очень юные, худенькие, как дети. Уже не помню их лиц, только запомнилось, что на одном красовалась белая новенькая рубашка-косоворотка, вышитая васильками, — наверное, постарались для этого заботливые материнские руки. Ребята неотрывно смотрели на Фадеева, но приблизиться к нему не могли.

Сделав шутливый жест — надо же, мол, горло промочить после доклада, — Фадеев широким шагом пересек эстраду и направился к распахнутым дверям комнаты, куда направлялись другие члены президиума. Но тут ребята (уж наверное друзья закадычные) перехватили его, стали по обе стороны и с настойчиво-умоляющим видом отвели его в сторону. Деликатно прижав его к стене, а сами не сводя с него глаз, ребята начали наперебой что-то рассказывать Фадееву. Лицо у него было усталое, но, понимая, что он очень нужен этим пареңькам, несколько минут внимательно слушал их. Потом, очевидно про себя решив что-то, быстро обвел взглядом почти опустевший в перерыве зал, увидел меня и знаком подозвал к себе.

— Ведь эти юные товарищи, — заговорил Фадеев, кивая в сторону своих собеседников, — так горячо любят художественную литературу, что решили посвятить ей свою жизнь... от всего отказаться и даже оставить свой завод... чтобы, так сказать, ничто им не мешало... вот как... да.

Потом, познакомив ребят со мной, он кратко рассказал им обо мне и тут же подчеркнул, что моя профессия педагога, которую он считает «одной из труднейших», не мешает, оказывается, совмещать ее с писательской работой. Посоветовав мне еще рассказать о моей школьной и политпросветской работе с комсомолом, Фадеев добавил серьезно, с оттенком печали, что, пожалуй, стоит напомнить этим юным товарищам о трагической судьбе поэта Николая Кузнецова. Так представил себе Фадеев программу нашей

беседы. Но я, выполняя это поручение, выбрала иную программу и рассказала ребятам биографию Александра Фадеева. Они слушали, многозначительно переглядываясь, а потом тот, на ком красовалась косоворотка, вышитая васильками, спросил:

— А что случилось с Николаем Кузнецовым?

В первой половине 20-х годов в советской печати появился ряд статей и откликов общественности о трагической судьбе комсомольского поэта Николая Кузнецова. Сын ткача, сам рабочий завода «Мотор», Николай Кузнецов, комсомолец с 15 лет, писать начал рано, и немногие стихи его запоминались читателю своей лирической задушевностью, поэтическими картинами свободного рабочего труда. Это было радующее начало, но только начало. Молодой поэт, переоценив свои еще не окрепшие творческие возможности и поспешив стать профессионалом-литератором, порвал все связи с заводом, с родным рабочим и комсомольским коллективом. Литературная богема нэпа, куда он попал по неопытности, разлагающе подействовала на его творчество, начались неудачи, болезненные срывы, недовольство собой, безденежье, отчаяние — и двадцатилетний поэт покончил жизнь самоубийством. Как о горьком уроке преждевременной профессионализации и отрыва от своего класса говорилось по поводу этой человеческой трагедии в нашей печати. Согласны ли они, что гибель этого молодого поэта предостерегающий пример для всех других? Они согласны с этим? Хорошо, может быть, они поделятся со мной, почему у них появилась такая уверенность, что они уже настоящие поэты? Оказалось, в майской листовке, выпущенной заводской газетой, были напечатаны стихи наших юных друзей, комсомольцев-фрезеровщиков, — «вот голова и закружилась».

После перерыва Фадеев спросил меня, как завершилась наша беседа с заводскими поэтами. Я передала ее суть и мое впечатление, что у юных заводских поэтов вид был задумчивый. Фадеев удовлетворенно кивнул: да, раздумье очень полезно для них. И он долгим взглядом посмотрел на замолкающий перед

заседанием большой зал, будто снова увидел там и этих двух заводских пареньков, юные лица которых, конечно, остались в его емкой памяти.

Летом 1928 года, как член правления РАПП, я была вызвана в Москву: началась новая полоса жизни. Мне представлялось, что моя творческая работа теперь будет постоянно обогащаться новыми мыслями и литературно-общественным опытом — ведь РАПП, как я была тогда убеждена, конечно, самая передовая писательская организация. Но странно: чем дальше шло время, тем сильнее укреплялось во мне убеждение, что множество заседаний и совещаний, в которых мне довелось участвовать, оставляют впечатление нескончаемых рассуждений по организационным вопросам. Часто с досадой думалось, что многие наши рапповские собрания похожи на какую-то комиссию, разбирающую нескончаемые столкновения и споры между разными литературными группировками. Некоторые товарищи и сами признавали, что организационные вопросы поглощают слишком много времени и внимания, но все оставалось по-прежнему. Неужели, думалось мне, осмысление развития советской литературы обязательно должно быть связано с этой непрестанной организационной проверкой — кто с кем и против кого: может быть, А. К. Воронский опять организует какие-нибудь иррационально-перевальские блоки; или кто-то из «кузнецов» [1] выступил где-то против РАПП; или в тихой заводи тогдашнего Союза писателей началось какое-то движение; или конструктивисты собираются что-то декларировать и т. д. А если что-нибудь подобное действительно происходит, то где, как и кому следует выступать, в каком разрезе и т. д. Так, иронически стилизуя свои многодневные впечатления, однажды осенним днем 1929 года я поделилась с Александром Александровичем своими мыслями и сомнениями. В мои сибирские

[1] «Кузница» — Всесоюзное общество пролетарских писателей — на Первом съезде пролетарских писателей вошла в состав организованного тогда объединения ВОАПП.

времена, вспоминала я, когда мы, молодые литераторы, собирались в нашем скромном барнаульском Лито, работа у нас шла гораздо интереснее. Как главное нас занимали проблемы творческой работы и пропаганда лучших произведений советской прозы и поэзии. Теперь круг этих новых талантливых произведений становится все шире, в литературе происходят глубокие идейные и художественные сдвиги и поиски, но серьезного стремления к изучению этих явлений в нашей рапповской практике не видно. Партийные документы учат и вдохновляют нас, но ведь эти документы открыты всем. Многие талантливые советские писатели, не члены РАПП, путеводную звезду своего идейно-художественного роста видят именно в этих документах.

Только что кончилось наконец утомительное заседание в тесном прокуренном зальце Дома Герцена. За окном хлестал осенний дождь, выйти на воздух было невозможно. В переполненном разными литературными организациями Доме Герцена в те времена невозможно было и уголка найти для отдельного разговора, люди просто «захватывали» коридорные окна. На низких широких подоконниках можно было сидеть, как на скамьях. В перерывы между многочасовыми заседаниями окна были сплошь заняты. Но уже наступило тихое, расхожее время, можно было выбрать любое окно и усесться, свесив ноги и удобно прижавшись плечом к стене. Однако ведь Александр Александрович устал, тем более что, пожалуй, не бывало заседания правления без его выступлений, всегда ярко содержательных. И на том заседании, в дождливый октябрьский день, Фадеев тоже выступал, затратив массу нервной энергии. А я вот, — как, впрочем, делают и другие, — что называется, «перехватила» человека перед уходом домой, и вот ему приходится отвечать на вопросы еще одной беспокойной души — и пусть он и на этот раз не сердится на меня за это.

— Ну... что там — сердиться, — отмахнулся он. — В такое время живем. Становление, развитие литературы — вот оно, здесь, и тут и там.

Он легким жестом махнул рукой в разные стороны, как бы напоминая о бескрайности литературных связей. Ни тени досады, усталости уже не было на его лице, напротив: оно даже как-то посвежело от ясной своей готовности отвечать и разъяснять каждому человеку, кто нуждался в нем.

— Вот мы говорим — история литературы, да... — заговорил он. — А ведь эта история нам досталась в честной борьбе, которая отражает классовую борьбу в стране... знаешь, сразу ведь от этой истории не оторвешься... ну, как вот от собственной молодости.

Он помолчал, потом опять раздумчиво протянул свое «да-а» и сказал:

— Пройдет каких-нибудь десять лет... и наша литературная жизнь так сильно изменится, что о многом, что нас сегодня волнует, мы тогда, возможно, и вспоминать не будем.

Потом, согласившись с рядом моих замечаний, он перебрал разные недостатки рапповской работы и вдруг, как бы переводя разговор круто в другую плоскость, в упор спросил:

— Скажи, тебе трудно?.. Я не об авторских твоих делах спрашиваю, — здесь, я знаю, у тебя все хорошо. Тебе трудно работать из-за противоречий в рапповской практике? Но в чем тут трудность именно для тебя, мне еще не совсем ясно. Значит, выкладывай уж до конца.

А я именно к тому и стремилась, — и как теперь все облегчалось, благодаря остроте его понимания. Мне досадно, что на заседаниях я, хотя и член правления РАПП, часто чувствую, что мое желание выступать активно стеснено привходящими, не от меня зависящими обстоятельствами. Все главное — партийность нашей литературы, проблемы художественного мастерства, поиски стиля, связи с жизнью нашего общества, — все это мне дорого, все это я горячо поддерживаю. Но некоторые лозунги РАПП (я сказала какие) кажутся мне случайными, скороспелыми и даже рискованными по отношению ко многим талантливым, хорошим писателям, которые не состоят в РАПП. Когда я попыталась говорить на эту тему с

некоторыми членами правления РАПП (я назвала фамилии ныне уже покойных товарищей), они мне ответили, что я просто не понимаю теоретических обоснований этих лозунгов. А по-моему, обращение с марксистской теорией у них слишком легкое, даже произвольное. Да и обращение их с людьми, с членами своей же творческой организации, часто переходит в нетерпимость и властную непререкаемость, смысл которой: не тебе, мол, это постигнуть и тем более решать.

Тут я даже так вспылила, что кое-какие моменты беседы изобразила в лицах — например, знакомый всем литераторам тех лет «тигриный» взгляд одного из руководителей РАПП. Этот «тигриный» взгляд (уже не помню, кто его так окрестил) не сулил ничего хорошего тому, кто вызвал его гневные искры. Изобразив и другого собеседника с его характерными приметами, я вдруг спохватилась — не слишком ли... и тут же услышала, как Фадеев смеется. Закинув голову с забавно качающимися хохолками русых волос, он заливался теноровым негромким смехом, с легкой приятной хрипотцой, как бывает у детей в минуты увлечения. Отсмеявшись и пригладив ладонью волосы, он обратил ко мне уже серьезное лицо и заговорил мягко, но с оттенком некоторой строгости. Он считает, что мои волнения большей частью «надуманы», «от мнительности» или от «нервной впечатлительности», которая, очевидно, «свойственна женщинам». Если какие-то лозунги РАПП по отношению к хорошим писателям, не входящим в РАПП, кажутся спорными, непродуманными и случайными, — возможно, есть и такие, — то едва ли они долго удержатся в литературе. Нельзя также забывать, что наряду с духовной «ранимостью», может быть, нигде не найдешь таких споров и такого «упрямого отстаивания» порой даже «мнимых духовных ценностей», как в искусстве. И пожалуй, только в искусстве завязываются иногда самые противоречивые связи и возникают отталкивания по самому неожиданному поводу. Что же, выходит по-моему, решить бы все разом, избавиться бы от всех сложностей и противоречий? А они ведь не

только в окружающей нас обстановке, но и в разнообразии творческих натур. Коллективно отстаивая большие и главные принципы литературного бытия, творческие натуры могут различаться не только своим отношением к явлениям литературы и искусства, но и своим участием в общей работе организации. А ее руководство («на то оно и руководство, черт возьми!») обязано учитывать, кто и как может проявлять себя в общей работе, кому что свойственно, а для кого то же самое трудно и даже противоречит его творческой природе.

Когда мы вышли на крыльцо, дождь уже прошел, на тихом, чистом небе сияла луна.

— Да... творческая природа... — повторил Фадеев, с наслаждением вдыхая свежий влажноватый воздух. И вдруг с тем же задушевным смешком сказал: — Творческую природу тоже... зря нагружать и ломать не следует, она не двужильная.. Вот, к примеру, ты... извини меня, но «трибунной» жилки в тебе нет... и не тревожься ты об этом. У тебя натура, склонная к раздумью, творчеству и познанию жизни, ты любишь изучать, работать, ездить... вот это и есть в тебе главное, основное.

Этого «основного» он и советовал мне всегда держаться, и тогда «будет свободно и легко на душе».

Я пошутила, что он словно дал мне «отпущение грехов», — и в самом деле: после многих дней недовольства собой и дурного настроения на душе у меня действительно стало легко и свободно.

Мы прошлись несколько раз от ворот Дома Герцена до угла. Растроганная, я спросила Александра Александровича: наверное, и другие вот так же приходят к нему «исповедоваться» и просить совета?

— Бывает, — ответил он, мягко усмехнувшись.

А это бывало бесчисленное множество раз. С годами эта особая фадеевская открытая душа, эта щедрая отдача всего его духовного существа большому, сложному делу советской литературы все шире проявляла себя. Сколько раз, в течение многих лет, доводилось мне слышать, как Александр Александрович предлагал «поручить Фадееву» выполнение разных дел, и

всегда ответственных и важных, требующих немалой затраты времени и сил.

Приемные часы Фадеева в Союзе писателей всегда были многолюдны. «Был у Фадеева», «Фадеев посоветовал», «вмешался в мое дело», «обещал прочесть», «прочел», «выяснил», «поддержал» — в этих кратких, полных радостного удовлетворения отзывах выражалось не только конкретно-деловое, но и нравственное значение общения большого писателя и общественного деятеля со многими писателями. Но было бы неправильно представлять себе эту фадеевскую щедрую отдачу сил как некую стихийную черту. Он не только умел вглядываться и вслушиваться в людей, но и знал многих, всегда взвешивал их деятельность в связи с задачами общей работы.

Однажды в приемные его часы я позвонила Фадееву, чтобы спросить, когда я могу поговорить с ним по одному общественному делу. Можно сегодня, ответил он, после приемных его часов. Я зашла в назначенный час и увидела, что Фадеев хмур, сердит, и не просто от усталости. Он сидел за столом, быстро листая знакомые мне страницы. То были дневники дежурства членов Всесоюзного Президиума — одно время, в конце 30-х годов, ежедневно кто-нибудь из нас дежурил в Союзе писателей.

— Товарищи члены Президиума, кто внушил вам этот ложный демократизм?

Он придвинул ко мне дневник дежурств и с тем же недовольным лицом указал на некоторые записи, среди них оказалась и одна моя. Уже не помню сейчас, чья именно фамилия была там отмечена мной, но содержание моей дежурной записи было сходно с другими, на которые сердито взирал Фадеев.

В беседы дежурных членов Президиума по практическим и теоретическим вопросам с членами Союза писателей вдруг вклинивался некий случайный разговор с никому не известным посетителем. Болтуны такого рода обычно держались очень назойливо, стараясь выудить содействие своим фантастическим планам, например издания... несуществующих произведений, или просто выпросить «безвозвратную» ссуду в

Литфонде. Боясь нарушить правила демократического обращения и приняв неизвестного просителя, дежурные члены Президиума Союза писателей не знали потом, как избавиться от его неправомерных просьб и посещений. Нашлись среди этих случайных посетителей и такие дотошные ходоки, которые, раздосадованные, но вместе с тем и осмелевшие (оттого что их выслушали!), записывались на прием к Александру Александровичу, чтобы пожаловаться ему на якобы «нечуткость» к их предложениям со стороны дежурных членов Президиума!

— Вот ведь чушь какая получается в результате этого ложного «демократизма»! — досадливо закончил он своѐ «обозрение» дневников наших дежурств. Мне случалось замечать: по поводу всякой неправильности, мешающей общей работе, он обязательно хотел высказать все свои «против» до конца, чтобы досадный случай больше не повторился.

Выговорившись, он откинулся на спинку кресла, помолчал, облегченно вздохнул — и уже ровным и добрым голосом спросил меня о деле, ради которого я пришла. Потом, когда я собралась уходить, Фадеев полушутя посоветовал мне и в следующий раз так же спокойно слушать и наблюдать его, когда он сердит. Я ответила, в тон ему, что тем более спокойно могу слушать, так как у меня есть в запасе наблюдения абсолютно противоположные.

— Вот как? — удивился Фадеев. Но я сделала загадочное лицо и с тем удалилась, предоставив ему самому допытываться, что именно я имела в виду.

А вспомнились мне события уже более чем десятилетней давности, связанные с приездом в СССР Алексея Максимовича Горького летом 1928 года.

Помню миг торжественно-взволнованного молчания, когда высокая фигура Горького появилась в глубине эстрады в нашем невысоком зале заседаний по улице Воровского, 50, в старинном соллогубовском особняке, который, по преданию, Лев Толстой описал в своей эпопее «Война и мир».

Едва Горький приблизился к столу, накрытому красной бархатной скатертью, за которым стоя встре-

тили его члены президиума собрания, как переполненный зал словно содрогнулся от грома рукоплесканий. Горький поклонился всем и сделал рукой знак, как бы показывая, что благодарит, тронут встречей, но давайте, мол, товарищи, приступим к делу!

Но аплодисменты от этого разразились с новой силой, чему немало помогал и президиум собрания. Фадеев стоял у правой кулисы, как раз на одной линии с трибуной, где стоял Горький, и аплодировал ему с яростной и веселой страстью. Из-под сильных молодых его ладоней взрывались звонкие и четкие хлопки, похожие на легкие удары вешнего грома.

Пока Горький говорил, Фадеев смотрел на него неотрывно, словно впивая в себя каждое слово и всецело отдаваясь новым, не испытанным ранее впечатлениям — видеть, слышать великого писателя, живого классика. Казалось, однако, что радость видеть и слышать Горького еще сильнее оживляла напряженную работу его мысли. Она читалась в блеске его глаз и в той сдержанно-строгой смене выражений лица, когда человек беспредельно занят познаванием чего-то многогранно-значимого. Оно и к нему имело самое близкое отношение и было ему так же необходимо и дорого, как, например, сияние прекрасного летнего дня за окнами нашего зала. Да и могло ли быть иначе? Люди нашего поколения были современниками Льва Толстого, Чехова, а творчество Горького, его жизнь и мужественная борьба против феодально-капиталистического мракобесия, горьковское творческое окружение, особенно период сборников «Знание», где участвовали самые талантливые и передовые писатели России, — это для идейного становления трудовой демократической интеллигенции с самых юных ее лет значило так много, что без всего этого просто невозможно было бы даже и представить развитие собственной духовной жизни!

И вот Горький среди нас, наши ладони хранят тепло его рукопожатия, он знакомится с нами, молодой литературой Страны Советов, как он любит называть Советский Союз.

Мне представлялось, что решительно каждый че-

ловек не просто присутствовал, а по-своему переживал эту встречу с Горьким.

Когда собрание уже начало расходиться, я спросила Фадеева: «Ну! Как?»

Он ответил тихо, что «сегодняшний вечер, конечно, никто не забудет!».

* * *

В начале 30-х годов писатели получили новое помещение для клуба — старинный особняк, так называемая «Олсуфьевская масонская ложа».

Теперь никто не замечает архитектурных деталей и стилизованной отделки нашего клуба, который уже давно стал для нас тесен. А в начале 30-х годов наши остряки довольно долго в шутках и экспромтах обыгрывали бывшую масонскую ложу, готические дубовые панели, украшенную резьбой лестницу.

Придя на совещание (заводских газетных кружков) в середине дня, я неторопливо поднималась по лестнице. Вдруг наверху с грохотом хлопнула дверь, кто-то почти выбежал на верхнюю площадку и, тяжело топая, стал спускаться по лестнице. Дойдя до поворота лестницы, я увидела, что навстречу мне спускается... Фадеев! Багровый румянец пламенел на его щеках, нахмуренные брови нервно дергались, а губы, сведенные резкой дрожью, казалось, все еще ощущали жар и остроту каких-то слов, только что им произнесенных.

Спросить, что случилось, было невозможно: подлинно буря чувств и мыслей бушевала сейчас в груди этого дисциплинированного и открытого людям человека. Еще далеко не остыв после только что пережитого, он ступал тяжко, неловко, будто в больном полусне, никого не замечая. Я негромко поздоровалась с ним, но он, обычно зорко внимательный к людям, не расслышал и, никого не замечая, прошел вниз.

Внизу уже собирались молодые активисты заводской печати. Некоторые, узнав Фадеева, посмотрели ему вслед. Но Фадеев, не останавливаясь, прошел в коридор и, ясно, уехал домой.

Один из прозаиков-рапповцев, подсев ко мне, спросил, заметила ли я, что Фадеев «сегодня очень странный, словно совсем не в себе». Но что с ним случилось? По поводу чего был у него, конечно с Л. Авербахом, крупный конфликтный разговор? — размышлял вслух мой собеседник. Я тоже была убеждена, что именно с ним был тот крупный разговор, который и довел Фадеева до такого бурного накала чувств: говорили, что с Л. Авербахом у него появились большие расхождения.

Мне вспоминается Фадеев на вечере встречи с Горьким, радостно-притихший, сосредоточенный в счастливой полноте дум и чувств. И вот он, сегодняшний Фадеев, снова и снова вспоминала я в тот день, рассказывая дома о впечатлениях неожиданной встречи с Фадеевым. До этого случая его характер представлялся мне в тех красках и чертах, которые определяли мое первое впечатление о нем: что-то командирское, боевое, ясность и четкость мышления, идущая от живой практики, такая же ясно осмысленная открытость и определенность в общении с людьми — и все как бы сходилось одно к другому. Ранимость и противоречивость из моих представлений о характере Фадеева почти исключались, об этом даже не думалось. Неожиданная безмолвная встреча с Фадеевым на лестнице как бы в мгновенной вспышке света, резко ударившего в глаза, вдруг проявила те черты его внутреннего мира, которые гораздо шире показали мне, так сказать, объем его характера. Это так запомнившееся мне зримое выражение бурного отклика его натуры на какие-то противоречия литературной жизни так же мгновенно раздвинуло границы моего представления о Фадееве как о характере сложном, с неожиданными и резкими переходами. Что вызвало их? Я тоже была убеждена, что неизвестное мне конфликтное столкновение произошло на почве все усиливающихся противоречий внутри РАПП. Как-то не пришлось к случаю спросить об этом Фадеева, а потом вообще показалось неудобным любопытничать по поводу единичного случая и его неизвестной мне причины.

Теперь, много лет спустя, когда уже далеко позади противоречия, споры и столкновения тех давних лет в развитии нашей советской литературы, в памяти всплывают порой отдельные черточки общего движения, которое находило свое частное отражение в суждениях и поведении разных людей и показывало также и степень понимания происходящего.

Кто не помнит, как Владимир Маяковский на одной из конференций читал вступление к своей новой поэме «Во весь голос». В памяти многих писателей старшего поколения до сих пор, конечно, сохранился образ Маяковского в тот день, выражение его лица и, особенно, голос, звучный, глубокий, с подлинно артистическими модуляциями, которые исключительно сильно подчеркивали смысл каждой строки.

Фадеев слушал полный внимания и творческого удовлетворения, чудилось даже, что он повторяет про себя те незабываемые, эпохальные строки «Во весь голос».

Когда все стали расходиться, один из «руководящих напостовцев», довольно посверкивая коричневыми, будто из полированного стекла глазами и, как говорят, вещая «на массы», громко сказал:

— Ну!.. Теперь к нам в РАПП все идут! Я не удивлюсь, если, например, даже все фотокорреспонденты попросятся к нам... ха-ха!.. Вот и Маяковский оставил Леф и принял нашу рапповскую веру... вот чем мы можем гордиться!

Как бы перекрывая этот торжествующий смех, Фадеев произнес медленно и твердо:

— Уж чем нам прежде всего надо гордиться, так это тем, что к нам пришел великолепный, могучий поэт!

Едва ли у слышавших эти слова могли возникнуть сомнения, кто смотрел вперед, а кто смотрел в «напостовский» вчерашний день.

Кто бы мог тогда подумать, что вскоре в том же зале мы будем поочередно стоять в почетном карауле у гроба Маяковского!

Мы стояли у окна и смотрели на все растущую очередь читателей, стремящихся войти в зал, чтобы

проститься с поэтом. Однако не так-то просто было пройти в дом, даже несмотря на четкий порядок на буквально забитом людьми нашем круглом дворе дома № 52. В распахнутых воротах и на улице уже всюду чернела толпа, и так плотно, что транспорт уже не ходил по улице Воровского.

— Вот уж действительно, — тихо сказал Фадеев, ни к кому не обращаясь, — «не зарастет народная тропа».

А потом сказал, что так же будет и с воспоминаниями о Маяковском в душе народной.

Кто-то добавил: пожалуй, даже не всех наших великих провожали такие толпы.

Потом мы долго шли в рядах все густеющей и все дальше растягивающейся по улицам толпы.

Фадеев шел медленно впереди, весенний ветер слегка развевал его русые волосы. Когда огромное, растянувшееся на километры шествие достигло древних стен Донского монастыря, разговаривая с кем-то, повторил с горькой силой:

— Этому могучему таланту и сто лет прожить было бы нипочем!

Летом тридцатого года вместе с бригадой Гослитиздата я ездила на Днепрострой. На вопрос Александра Александровича: «Как съездилось?» — я рассказала о некоторых своих впечатлениях об одной из самых знаменитых строек первой пятилетки и ее людях.

Более четверти века назад наша техника требовала повсюду ручного труда. До бульдозеров, шагающих «ЭС-114», портальных кранов и прочих машин-великанов наших дней было еще далеко. Поэтому зрительные впечатления всегда были связаны с пестрыми картинами многолюдья, которое, словно живое человеческое море, поднимало все выше строительство гиганта советской энергетики — Днепрогэса. В борьбе по преодолению множества трудностей исключительно выпукло показывала себя производственная дружба молодежи и людей старшего поколе-

ния, рабочих, инженеров, работников культурного фронта — журналистов местной печати, библиотекарей, книгонош.

Помнится, к этим кратким характеристикам «днепростроевских встреч» я добавила несколько одинаковых по смыслу свидетельств инженеров. Им чаще всего приходилось общаться с иностранными консультантами, которые «за валюту» приглашались тогда на большие наши стройки. Не пытаясь, а то и просто не умея понять характерные черты советской жизни, иностранные специалисты высказывали нашим инженерам свое недоумение и недовольство: уж слишком, знаете ли, в советском обществе «все перемешано», и часто трудно понять, кто начальник и кто подчиненный. Пожилой инженер, наблюдательный и насмешливый рассказчик, поведал мне конец одной из бесед такого рода. Он задал «испытательный» вопрос иностранному специалисту: а что мог бы тот предложить для более точного распознавания, кто начальник, а кто рядовой работник и т. д.? «Перегородки, — ответил иностранец торжественно, — побольше перегородок! И пусть эти перегородки будут настолько высоки, чтобы невозможно было перейти «из одного состояния в другое».

— Перегородки! — подхватил Фадеев и вдруг, помрачнев, иронически засмеялся. — Вообразить себе всю жизнь... вот в этих перегородках! — и он поднял руки, описал ими тесный круг, в котором бы едва можно повернуться. — Чушь какая... верно? — сумрачно спросил он.

Небольшой этот разговор, с понятным мне подтекстом, запомнился опять же в связи со все обостряющимся внутренним ощущением несообразностей и противоречий в РАПП, которые уже стали превращаться в помеху творческой работе.

В конце лета тридцатого года меня вызвал «весьма срочно» один из руководящих товарищей в РАПП. Это был способный молодой писатель, его очерки о становлении колхозов, их первых борцах и практиках, а потом его фронтовые очерки о грозных днях Великой Отечественной войны читались с интересом. Его

имя, в числе многих других павших смертью храбрых за нашу советскую родину, выбито золотом на белом мраморе при входе в ЦДЛ. В тридцатом году это был полный энергии и задора молодой литератор. Участник гражданской войны, он, как мне казалось, даже чрезмерно берег в себе черты несколько лихой романтики и даже часто приговаривал, что любит действовать «по-военному», быстро и решительно. Он, конечно, знал жизнь, но вместе с тем механически-наивно отождествлял каждый литературный лозунг с партийными директивами. Призыв «ударников в литературу» он определял как «половину дела». По поводу второй «половины», то есть «проведения лозунга в жизнь», я и была вызвана к нему как руководителю «по оргвопросам». В качестве оргзадания по «призыву ударников в литературу» он предложил мне уж не помню какой московский завод. Я категорически отказалась, заявив, что просто не знаю, как это надо «призывать» в литературу, и убеждена, что каждый автор приходит естественно, от мыслей и переживаний, вдохновленных в нем жизнью, опытом труда и пробуждением таланта. Лозунговый же «призыв ударников в литературу» представляется мне искусственным, надуманным. Деловой разговор быстро перешел в спор. Оба спорщика, по вспыльчивости, наговорили друг другу достаточно неприятных слов.

Уже не помню, почему не довелось мне посоветоваться с Александром Александровичем в то время. Но беседа по поводу «призыва» все-таки состоялась, только гораздо позже.

Увлеченная новой работой, я уже успела забыть о спорном разговоре по поводу «призыва», но тот же неугомонный адепт этой проблемы возобновил его — на этот раз мне предложено было поехать в Кузбасс. Там, где «ближе к земле», в «гуще созидания Кузнецкстроя», как уповал наш товарищ, идея «призыва» найдет больше откликов в массах и т. д. Пропагандировать «призыв» мне совсем не хотелось, но перспектива увидеть одну из строек первой пятилетки заставила меня согласиться на командировку. Учитывая это мое стремление и понимая, что главный мой

интерес будет направлен к картине строительства и знакомству с его людьми, руководящий наш товарищ взял с меня «в пользу РАПП» одно совсем скромное, по его мнению, обещание: в небольшой статье для местной газеты я только должна общедоступно разъяснить, чего ожидает РАПП от «призыва», и провести собрание, на котором и должны последовать первые отклики. Статья была мной написана, ее доступность и понятность, по моей настоятельной просьбе, была выверена в редакции до последнего слова. Коммунисты и комсомольцы, активисты газеты, особенно молодежь, приложили все свое усердие, чтобы созвать собрание. Пытались два или три раза, но ничего не вышло. Зато задушевные вечерние беседы на разные темы в бараках-общежитиях полностью прояснили и «призывную» проблему — «пока не до того».

А один бригадир, помнится, даже образно об этом сказал: спел бы птицей, да деревца посадить пока негде. Другой добавил, что дерево любит «убранную и мягкую землю», а тут, на стройке, земля пока что «вздыбленная», разумея в прямом и переносном смысле. То был начальный, еще тяжелый период стройки на просторах сибирской степи. Наша техника тогда была столь же молода, как и опыт строительства гигантов индустрии, — и действительно, вздыбленная тогда была земля на Кузнецкстрое, птицы, деревья и песни были еще впереди.

Трудности строительства на Кузнецкстрое еще жестоко усиливали морозы и ветры. Общаться с людьми — значило прежде всего. не замечать, сколько километров прошагал и пробежал. Легкие боты и пальто для московской осени были здесь плохой защитой, и в самый разгар работы я вдруг заболела и свалилась, с температурой под сорок. Спасибо врачам и сестрам, которые заботились обо мне. Не успела я еще подняться — вдруг телеграмма из дома: моя младшая дочь заболела воспалением легких!.. Продвигаться домой больной, ослабевшей, в ужаснейшей тревоге за ребенка, когда поезда на целые часы останавливались из-за дикой пурги и заносов, — мне казалось тогда, что я сойду с ума.

Мы с дочкой еще довольно долго болели обе, а командировка вспоминалась мне как тяжелый сон.

Обо всем этом я решила рассказать Фадееву, потому-то ни с кем не хотелось мне говорить, особенно с оргсекретарем, который к тому же требовал написать «очерк-отчет», как на Кузнецкстрое прошел «призыв ударников» в литературу. Но после того, что я видела и слышала на Кузнецкстрое, я могла написать только против «претворения в жизнь» (да его и не могло быть!) лозунга, выдуманного схематическими представлениями.

Перенесенные за ребенка муки страха, еще не окончательно ликвидированная болезнь дочери и мое ослабленное состояние придавали бы моим доводам несколько раскаленную температуру. Но, не считая возможным откладывать этот принципиальный разговор, я созвонилась с Фадеевым о встрече. Он предложил встретиться у него дома. Он сам отворил мне дверь. Мне показалось, что в квартире никого не было. Но в другой комнате стоял у окна командир Красной Армии, очень похожий на Александра Александровича. Если бы не худощавость и легкость фигуры гостя при сравнительно небольшом росте, обоих можно было бы принять за близнецов. Фадеев познакомил меня с братом и полушутя спросил, не рассержусь ли я, если он закончит с ним разговор? Пожалуйста, я подожду.

Не вслушиваясь в беседу двух братьев, но следя за выражением их лиц, я невольно отвлеклась от своих дум. Было даже трогательно-забавно, как оба, словно зеркало, отражали родственную манеру улыбаться, шевелить бровями, помаргивать, вскидывать головой, посмеиваться.

Проводив брата, Фадеев сел за письменный стол и спросил с насмешливой осторожностью, что я, похоже, уже слегка успокоилась? Да, пожалуй, ответила я, хотя пришла сюда в совсем ином настроении. Правду говоря, сейчас даже досадно, что вот так, вспылив, невольно обнаруживаешь дурные черты характера. Впрочем, лучше об этом не распространяться — авось,

занятый родствеиной беседой, Александр Александрович ничего и не заметил.

— Н-иу! — усмехнулся ои н непередаваемо верно нзобразил, какой у меня был взгляд н вообще выражение лица в минуту прнхода. — Боже ты мой, — комически вздохнул Фадеев, — сколько же этих самых характеров мне довелось узнать!.. Ведь каждый литератор обязательио прнсоедняет к своему делу н... свой характер!

Я невольно рассмеялась. Однако от прежней «раскалеиности» еще немало осталось в моем рассказе о кузнецкстроевской командировке.

Фадеев сидел за письменным столом н слушал, временами посматрнвая в мою сторону н задумчиво вертя в руках бронзовую статуэтку Дон Кихота. Похоже было, Александр Александрович не нспытывал ни уднвления, ии чувства неожидаиности, а слушал он так спокойно н вннмательно, что мое многодневное раздраженне словно вот нменно сейчас наконец и схлынуло. Закончила я свои рассуждения откровеиным прнзнанием: протнворечия не легко даются человеку. Трн года назад, вступая в РАПП, я считала ее самой передовой творческой организацией. Теперь, чем дальше, тем все глубже, я чувствую, что временами вступаю в противоречне с ее практнкой, а стилем приказа, адмнннстрнрования возмущаюсь. Живой, творческой работе все это страшно мешает, а писателей разъедняет, — уж так лн нужно это отстанвать?

— Не в этом вопрос, нужно нлн не иадо отстаивать, — заговорнл ои и твердым, точным двнжением поставил бронзовую фнгурку иа место. — Да, ие в том вопрос, — повторил ои, — а в измеиившейся обстановке.

В иачале 20-х годов, напомнил он, группа писателей-коммунистов, участников гражданской войны, чувствовала себя в литературе «как на поле бнтвы». Каждый шаг, каждое слово, помогавшне «прорубаться к новому» н утверждать его бытие, казались тогда бесспорнымн н неповторимыми. Началась мирная, социалистическая стройка, культурная революция, идей-

ное перевоспитание широких слоев технической и художественной интеллигенции, их сплочение вокруг партии. Все эти исторические и благородные процессы не могла не отразить наша литература.

— Партия, как известно, никогда не заявляла, что поддерживает предпочтительно кого-то одного... скажем, РАПП. Однако некоторые товарищи забывают об этом... и, случается, чувствуют себя как в начале пути. А оно уже да-алеко в прошлом... далеко! — протянул он и высоко взмахнул рукой назад, будто навсегда прощаясь с чем-то давно отжитым.

Потом, с уже знакомым мне по давнему разговору оживленным интересом и знанием, он заговорил о множестве новых творческих успехов советской прозы и поэзии, которые теперь уже надо рассматривать как «общую картину движения вперед». С глубоко радостным удовлетворением он называл произведения не только известных всей стране писателей, но и совсем молодых авторов, которые, по его мнению, «славно сделали свой первый запев». Рассказывая, с кем из них познакомился, он показывал не только радость щедрой и богатой души, но и обстоятельные знания решительно о каждом, кем восхищался.

Потом, очевидно вспомнив начало нашей беседы, он спохватился с доброй и смущенной улыбкой:

— Извини, что я чуть не забыл о твоей просьбе. Конечно, если у тебя нет настроения сейчас написать о командировке, — напишешь потом. Может быть, материалу даже полезно будет «отлежаться».

Потом с дружеской иронией он посоветовал мне: право, не надо так бурно переживать недостатки общей работы и отдельных человеческих характеров. Народная мудрость говорит, что «мирское тягло на все плечи легло», а тем не менее «всяк молодец на свой образец».

В тон ему я тоже вспомнила кое-какие пословицы насчет того, что «норов на норов не приходится», — и оба рассмеялись.

— Ну вот... то-то и есть, — уже серьезно одобрил Фадеев.

Вдруг зазвонил телефон. Отвечая кому-то, Фадеев

сказал, что в ближайшее время пока никуда не поедет. В трубке чей-то разочарованный голос насмешливо предположил, что не собрался ли Фадеев побольше «пребывать» дома.

— Нет, до этого не дошло еще, — в тон спрашивающему ответил Александр Александрович. — Просто, знаешь, пропустил я что-то за этот месяц. Уж очень людный он выдался!..

«Людный месяц!» — вспомнилось мне потом. В самом деле, сколько же людей приходит к Фадееву со своими заботами, просьбами, нервами и какой затраты всех сил требует эта работа!..

Позже я поняла: благодаря тому, что Фадеев так широко и многолико знал литературную жизнь, он больше других был подготовлен к последующим событиям.

Мне вспоминается первый пленум Оргкомитета (осенью 1932 года) после ликвидации РАПП. Все участники того исторического пленума, конечно, помнят речь Александра Фадеева. В свое время эта речь была опубликована, и нет нужды ее цитировать. Весь строй его высказываний, с их резкой самокритичностью и четкими перспективными планами новой полосы литературной жизни, показывал не только ясность и широту мышления, а и самые стойкие черты его характера. В спокойном его облике не было и намека, что человек застигнут неожиданной переменой. Напротив, думалось мне, никто не был так подготовлен к переменам, как Фадеев. Его постоянное стремление изучать и осмысливать общую работу, подлинно многогранно знать творческие индивидуальности писателей — все это, годами накапливаемое и проверяемое партийной совестью, воспитало в нем исключительную широту зрения на вещи. Его плодотворная роль в работе Оргкомитета по подготовке Первого съезда советских писателей была абсолютно бесспорной. Даже люди, критиковавшие его, говорили, что «просто трудно себе представить без Фадеева работу Оргкомитета».

Однажды в зимний день в телефонной трубке раздался знакомый голос, с мягким теноровым смешком.

Сначала он спросил, все ли у меня дома здоровы, хорошее ли у меня «творческое и жизненное настроение». Получив утвердительный ответ, Фадеев попросил меня помочь Оргкомитету «в собирании сил перед съездом» — поехать с бригадой в Самару.

— Ты будешь как старшой в артели, — пошутил он, — бригаду тебе дадим хорошую.

Он тут же назвал симпатичные мне писательские имена.

После во многом интересной самарской поездки мне пришлось несколько раз выступать с докладами о подготовке Первого съезда советских писателей. Требований со всех концов только по Москве было так много, что, помнится, большей частью приходилось выступать в единственном числе. В распоряжении каждого докладчика было достаточно познавательно-литературного материала, собранного Оргкомитетом по живым следам встреч, наблюдений в разных городах и республиках Советского Союза. Но чем ближе придвигался срок открытия съезда, тем чаще слушатели задавали вопрос: что говорят в Союзе писателей о докладе Горького? Помнятся и два таких случая настойчивого любопытства к этому вопросу: зная о предстоящей встрече, некоторые товарищи даже «заказали» разузнать побольше, о каких писателях и поэтах будет говорить Горький в своем докладе. В другом месте мне рассказали, что среди читателей возникают «довольно азартные споры», кого Горький раскритикует и кого будет хвалить.

Созвонившись, я зашла в Оргкомитет к Фадееву посоветоваться, как быть. Кое-что из рассказанного мной рассмешило его, но в основном он отнес и серьезное и смешное к проявлениям широчайшего народного интереса к писательскому съезду.

— Так и хочется сказать — под горьковским крылом Союз писателей зарождается! — произнес он с открытой гордостью. — Но как же все-таки ответить на вопрос о будущем горьковском докладе на съезде? — продолжал Фадеев раздумывать вслух. — Ответить просто: «Нет, не знаю», — как-то пассивистски получается, будто у нас в Союзе писателей все сплошь

какие-то вялые, бесстрастные личности», которых ничто не волнует. Но ведь, напротив, всех бесконечно интересует, как построит свой доклад Горький, наш живой классик!.. Не найдется ведь такого простака, который задал бы «в лоб» этот вопрос нашему великому докладчику: как, мол, будет построен ваш доклад, Алексей Максимович? Значит, остается предугадывать и на основе знания прежних горьковских высказываний и статей, и «романтического видения» его личности.

Бывают натуры, всегда как бы запертые в самих себе, характеры, которые французы метко называют «boutonné» — застегнутый на все пуговицы. Они всегда держат себя так, будто боятся, как бы собеседник не унес с собой хотя бы одно словцо или мысль, которую они себе представляют только как свою исключительную собственность и выдумку, которую нельзя сравнить ни с чьей другой. Натура Александра Фадеева была словно вылеплена жизнью для широкого общения с людьми, и размышлять вслух было одной из самых примечательных черт его личности.

Происходил этот разговор в кабинете И. М. Гронского, в большой высокой комнате с целой стеклянной стеной и балконом, выходящим на площадь Пушкина. В предвечерний зной ворвался ветерок, потом, спустя немного, полил и солнечный обильный дождь. Сквозь его струи, как сквозь звуковую завесу, приглушенно доносился шум города. Фадеев расхаживал по комнате своим четким, крупным шагом. Он все так же одевался, только вместо черной «кавказской» рубашки теперь носил летом и светлую. Припоминая что-нибудь, он устремлял взгляд в одну точку и как бы застывал на месте, словно собирая в эту минуту воедино всю свою память. Потом, довольно сверкнув голубыми глазами, он присоединял к уже сказанному новое доказательство в пользу того, что он горячо желал бы предугадать как главное содержание будущего доклада Горького на Первом съезде. Вновь и вновь он вспоминал горьковские высказывания о литературе и ее связи с историей и жизнью народа. Потом он

начал цитировать по памяти отдельные места из переписки В. И. Ленина с Горьким.

— Разве такой доклад исторического значения может быть расчленен на какие-то (он поискал слова)... междоусобные части: одним, мол, хвала и слава, а другим осмеяние, одни подняты, а другие принижены?.. — взволнованно говорил он, часто приглаживая волосы сильной и гибкой рукой. — Я вполне допускаю, что Горькому могут — и даже очень! — не нравиться какие-то произведения... но чтобы он для их осуждения или спора с ними выбрал бы трибуну съезда, — нет, это... это просто чушь! — и он решительно отмахнулся от такого предположения. — А далее, самое основное... — продолжал он все увереннее, — создается Союз советских писателей, многонациональный творческий коллектив... и нужно начинать с объединения всех отрядов нашей литературы товарищеской спайкой... А что это значит? А что значит — объяснить всем новые, исключительно важные идейно-творческие задачи, встающие именно перед такой громадной организацией, как Союз писателей. Да, да!.. Доклад Алексея Максимовича будет исключительно проблемным, многообъемным и... романтическим!..

Дождь уже отшумел, но его последние капли поблескивали на стекле. Оранжево-розовое, вечереющее небо снова разгорелось над асфальтом Пушкинской площади.

— Здорово... правда? — спросил Фадеев и во всю ширь плеч взмахнул руками, будто обнимая вечерний городской пейзаж.

Все еще сохраняя на лице выражение сосредоточенности и деятельного оживления, Фадеев сел за стол и начал перебирать какие-то бумаги, папки и складывать их в ящик. Ну как, помог он мне своими советами? Да, еще бы, конечно! Душевное спасибо!

Через несколько дней, здороваясь со мной, он шутливо вспоминал о своей «импровизации» и спросил, как прошли те две встречи с моим докладом о съезде, о которых я беспокоилась. Я ответила, что благодаря Фадееву оба вечера прошли очень оживленно,

а все участники их просили меня передать Александру Александровичу самый пламенный привет.

— Мне привет? Но ведь доклад делала ты? — удивился он.

— Нет, никакого доклада я и не собиралась делать. Запомнив — почти как стихи! — предугадывания Фадеева по поводу доклада А. М. Горького на Первом съезде советских писателей, я и передала этот разговор своим слушателям. Конечно, при этом не была забыта и фадеевская манера думать на людях, и расхаживание по комнате, и теплый дождь...

Выслушав это краткое объяснение, Фадеев сначала рассмеялся, а потом озабоченно сказал:

— А вдруг я... не предугадал?

Но в основном он предугадал верно.

Все мы, участники Первого съезда советских писателей, помним появление А. М. Горького на трибуне Колонного зала. Встреченный бурной овацией всего зала, великий наш классик, глава советской литературы открыл съезд гордыми и торжественными словами, которые заставляли предполагать, что его доклад о советской литературе будет многогранно-проблемным. Так оно и было. А что касается писательских имен, то, как известно, Горький в своем докладе упомянул только два: Марии Шкапской и Марии Лемберг.

Доклад А. М. Горького уже подходил к концу, когда я, кивнув Фадееву, перевела потом взгляд на высокую фигуру Горького и, наконец указав на свою скромную персону, заулыбалась с таким видом, который должен был выражать: я очень рада, что фадеевское предвидение оправдало себя!

. . . .

Умение Фадеева нащупывать и вскрывать в гуще привычных явлений черты нового, формирующегося и умение притягивать к нему всеобщее внимание были известным всем. Было также всем понятно, что такого рода «вскрывающий» характер познания действительности обязательно связан с конкретной и часто острой критикой, а также твердостью и смелостью.

В литературной среде такие качества руководителя производят всегда сильное впечатление. Сообщение, что «сегодня выступает Фадеев», неизменно вызывало всеобщий интерес и оживление. От самых разных людей доводилось и мне слышать буквально совпадающие отзывы о выступлениях Фадеева, главный смысл которых сводился к мнению: любое дело, любой вопрос работы Союза писателей «становится головой выше, когда за него берется Фадеев». Кроме того, в его выступлениях никогда не чувствовалось ни назидательного менторства, ни этакого «руководящего» нажима и самомнения. Он обладал счастливой способностью выступать не только в теоретически серьезном плане, а и разговорно, с юмором, вызывающим дружный смех и аплодисменты. Но последнее никогда не нарушало политической направленности его мыслей.

Вспоминается мне, например, выступление Фадеева после его возвращения с Дальнего Востока, куда он выехал в 1935 году для собирания новых материалов — он работал тогда над третьей частью романа «Последний из удэге». По его беглым высказываниям и ответам на вопросы товарищей в первое время после возвращения в Москву легко можно было себе представить, как много подлинно социалистических перемен и сколько интересных, самобытных людей увидел он в родном краю. По общему мнению, поездка на Дальний Восток повлияла на Фадеева благотворно. Он заметно раздался в плечах, а румяное, заметно округлившееся лицо уже окончательно потеряло свою прежнюю угловатость.

Свою речь на большом писательском собрании весной 1937 года Фадеев посвятил вопросам критики и самокритики. Союз советских писателей существует для того, чтобы все члены его создавали хорошие, нужные народу произведения. Поэтому надо критиковать не только работу Союза, но и развивать принципиальную, правдивую и конкретную критику произведений писателей, «невзирая на лица». Эта партийная критика должна как-то «сбить» самодовольство и самоуспокоенность, от которых страдает работа не-

которых молодых, начинающих, а также и «наших зрелых и кончающих писателей».

В зале раздается дружный смех. Окидывая зорким взглядом тесные ряды знакомых лиц, Фадеев продолжает уже с той напористой увлеченностью, которая является первым признаком глубокого убеждения. Он приглашает всех вспомнить, как Максим Горький критиковал наших «корифеев». Великий художник, вокруг которого группировались писатели всех поколений, делился с ними своими планами и творческим опытом, но он же и критиковал их, и это было «полезное дело», прежде всего — для самих критикуемых. В их числе был и он сам, о чем он вспоминает без малейшего снисхождения к себе. Он повторяет суровые слова, сказанные в свое время Горьким о первой книге его романа «Последний из удэге», которые он, автор романа, прочел, уже находясь на Дальнем Востоке.

Однако о том ли только хочет рассказать Фадеев, что переживает писатель, когда его «громыхнуло» горьковской статьей? Нет, совсем не это он имеет в виду. Он вспоминает, другие «корифейские» имена, которые тоже критиковал Горький, — и вот уже ясно, для чего он данные имена перечислил: критические замечания такого гиганта, как Горький, имели для всех них подлинно подъемное значение. Каждый задумывался о недостатках своей работы, и вот уже появились их новые произведения, хорошо встреченные критикой и читателями. Да и он, Фадеев, глубоко обеспокоенный за свою работу, написал третью книгу романа «Последний из удэге» лучше, что показывают отзывы критики и читателей.

Теперь критическую работу без Горького надо заменить коллективной работой Союза писателей, писателей и критиков.

Это всем понятно, однако он метит куда-то дальше. Сравнив картины одного известного советского художника (награжденного орденом) с картинами Сурикова, Фадеев заключил, что орденоносцу еще многому надо учиться у Сурикова. Опять о «специфической спеси» некоторых работников искусства, мнящих

себя «нетленными ликами», непревзойденными корифеями, и опять о том, что со всем этим надо решительно бороться.

Но мысли о значении марксистско-ленинской критики в искусстве он все-таки устремляет куда-то еще дальше, как бы в глубины писательского труда. Развивать эту правдивую, принципиальную критику важно не только для углубления идейной сущности и совершенствования художественного мастерства, но и для того, чтобы приучить писателей «к критической самопроверке самих себя». Даже тем писателям, которые не без основания жалуются на несправедливую критику их произведений, часто не хватает «критической самопроверки», «критического отношения к самим себе». Этому следует поучиться на примерах «критического отношения к самим себе», которым в высокой степени обладали великие и вообще многие крупные писатели и художники.

Да, с этой главной мыслью — о «критической самопроверке» — он и пришел на собрание московских писателей. Он запасся примерами из жизни творцов высокого искусства разных веков. Чувствуется, эти примеры он целеустремленно разыскивал, чтобы игра писательского воображения помогала живой передаче и убедительности фактов истории. Особенно, помню, понравились мне примеры из жизни Леонардо да Винчи, приводимые Фадеевым по новеллам Маттео Банделло.

А почему не по Джорджо Вазари? — вначале подумала я, но скоро мне стало понятно, почему Фадеев выбрал новеллы менее известного Маттео Банделло и не стал цитировать из книги мемуаров Джорджо Вазари. Банделло был современником Леонардо да Винчи. Банделло был в цвете лет, когда слава Леонардо да Винчи гремела по всей Европе. Широко образованный дворцовый службист в резиденциях североитальянских государей, не лишенный сатирической жилки, Маттео Банделло на основе своих наблюдений написал более двухсот новелл о праздности, лени и жестокости господствующих классов эпохи итальянского Возрождения. Но в своих свидетельствах о твор-

ческой мастерской Леонардо да Винчи Банделло собрал множество выразительнейших черт, красок и деталей, освещенных гуманистическим преклонением перед великим национальным гением Италии. С той же теплотой и безграничным уважением Банделло повествует о критических размышлениях великого художника («Вечеря») и о стремлении его слышать «свободное выражение мнений» о своем произведении.

Уже не помню, были ли это листки с записями или были это полюбившиеся ему, подчеркнутые страницы книги, которые перелистывала его рука, — но было в его слегка наклоненной вперед фигуре и выражении лица что-то совсем молодое, студенческое, что никогда не может постареть. Возможно, многим тогда, как и мне, вспоминались все дальше уходящие в прошлое студенческие годы, с их неповторимой радостью жизни и накопления знаний. Мне так и представлялось, что Фадеев, большой писатель и общественный деятель, пришел на это многолюдное собрание после сосредоточенных часов подготовки в тишине, чтобы собрать вот эти живые и убедительные примеры критического отношения к своей работе Максима Горького, Достоевского, французского пейзажиста Эжена Будена и живописца Дега.

Отсутствие правдивой, суровой критики и критической самопроверки, самодовольство, лень, дутые авторитеты — вот что, как болотная тина и гнилой воздух, пагубно влияет на развитие таланта, отдаляет его от жизни. Учиться у жизни, без конца изучать нашу современную действительность и, «взяв котомку за плечи», почаще ходить «в люди» — вот он, верный и животворный путь, ведущий талант к расцвету и полноте его бытия!

Глубоко сам убежденный в этом, он стремился убедить других не методом упорного повторения, а методом широкого круга мыслей, фактов, явлений, органично близких по смыслу и значимости и тем самым открывающих новые пути познания и решения. Призывая вглядеться в эти постоянно возникающие в искусстве явления и пути подхода к ним, Фадеев, конечно, всегда учитывал своеобразие писатель-

ской аудитории, где наряду с принципиальным разговором о важных вещах вполне уживаются юмор, смех, аплодисменты и вообще всякая остроумная «разрядка» среди серьезности. Да и в характере самого Фадеева сохранилось немало задора от его партизанских и комсомольских времен, он ценил умную шутку и сам умел находить материал для нее. Еще и потому слушать его было легко и не скучно, не говоря уже обо всем большом и всеобще значимом, что содержали его выступления. Кроме творческой симпатии и уважения к нему как одному из крупнейших советских художников слова, здесь сказывалось еще и доверие к нему. Самые душевные отзывы о нем касались чаще всего именно этого. Ему доверяли, потому что знали: ему можно довериться. К нему можно было прийти в дни горя, сомнения в своих силах и недовольства собой. Получить совет, как разумнее поступить в сложившихся обстоятельствах. Каждый при этом знал, что Фадеев сразу все «прояснит» и без всяких «конъюнктурных» соображений правдиво выскажет свое мнение и даст совет по поводу просьбы, с которой к нему пришли. Случалось мне также слышать высказывания и о том, что особенно «западают в душу» те беседы с Фадеевым, которые касались непосредственно творческих вопросов. Здесь он проявлял самую живую заинтересованность художника. И если замысел товарища к тому же оказывался чем-то близким ему по духу, Фадеев тем вернее поддерживал, советовал и даже вмешивался в дальнейшую судьбу произведения.

Однажды несколько литераторов, рассказывая о своих беседах с Александром Александровичем, вспомнили и случаи другого рода, когда Фадеев был «принципиально зол», требователен, непримирим и беспощадно правдив. Припомнили его отзывы о пережитках декадентства, формалистско-эстетских школах и теорийках, — вспомнили, кстати, что и враги Фадеева выходят именно с этой стороны. Потом кто-то сказал, что есть еще одна сторона фадеевской работы, где он так же требователен, как и настойчив, так же внимателен, как и строг, — это Фадеев-редактор.

С этими определениями я полностью согласилась, так как однажды и мне довелось встретиться с редакторским стилем работы Фадеева.

В конце 30-х годов он, лукаво морщась от улыбки, спросил меня:

— Сколько лет уже прошло, как ты сама же порвала свою связь с журналом «Красная новь»... и будто все еще сердишься?

Нет, ответила я, просто ряд моих вещей появился в других журналах, а также в журнале «Молодая гвардия», который я редактировала более семи лет.

— Хорошо, — улыбнулся он, — а нет ли у тебя сейчас рассказа для «Красной нови»?

— Да, есть новый рассказ, который называется «Розан мой, розан...».

Фадеева заинтересовало заглавие. Откуда эта песенная строка?

Да, это припев к старинной величальной или застольной песне. С детства я помнила ее наряду с другими известными народными песнями. Он начал расспрашивать, о чем рассказ, какие люди и годы в нем показаны.

— Время — наши дни, то есть конец тридцатых годов.

— А песня тут при чем?

Эту песню я услышала вновь, много лет спустя, на колхозном собрании, но вовсе не по величальному поводу, а в смысле непримиримо обличительном. И уже одно это обстоятельство не могло не привлечь внимания к тому, что происходило на том колхозном собрании.

В начале тридцать девятого года редакция газеты «Правда» командировала меня в село под городом Ростовом Ярославской области, чтобы написать очерк об одной передовой колхознице. Но случилось так, что ее возвращение в родное село из деловой поездки задержалось и мы с ней так и не встретились. Но жалеть мне о том не пришлось: оказалось, я попала в колхоз в самый разгар бурных событий. Незадолго до этого был снят с работы старый председатель колхоза, лентяй и пьяница, который за не-

сколько лет своего порочного «руководства» способствовал только развалу общественного хозяйства и трудовой дисциплины. Новый председатель, молодой, энергичный коммунист, местный уроженец, недавно вернувшийся из армии, пошел в решительное наступление против развязанной лодырями «базарной стихии» и самих «базарников». Так прозвал он постоянных завсегдатаев городского рынка, сбывавших там продукцию своих приусадебных участков, притом всегда в ущерб колхозным делам. Новый председатель, опираясь на передовиков колхоза, решил «дать бой» отсталости и разгильдяйству. Этим жгучим вопросам и были посвящены два бурных общих собрания членов колхоза и третье, уже завершающее все организационно-деловые его выводы. В деревне, как известно, вся жизнь на виду, с ее грехами и добродетелями. На собрании, естественно, перебирали всех истово, дотошно, по перышку да по зернышку и, как кто-то на собрании выразился, так крепко всех «перезернили», что и конец «не как-нибудь обрубили, а добрым узлом завязали». Среди историй о лодырях, пьяницах и «базарниках», рассказанных на собрании (их сюжетов хватило бы на целый роман!), меня особенно заинтересовало одно семейство, которое все обличительно-насмешливо называли «розан мой, розан...». Эту песенку всегда и всюду напевал старикашечка благолепного вида, хозяин нового, ладного домика. Его сын, молодой человек, закончивший школу в родном селе и агрономические курсы в районе, подвергся на собрании такому же обличению как «достойный наследничек» старого «розана». Хотя на собрании я жадно записывала все подряд, все-таки история с «розаном» меня взволновала больше всех: мне вспомнились мои наблюдения, мысли и поиски в доколхозные годы, когда я писала повесть «Двор». И вот опять встречаюсь с ней, собственнической стихией, и где? — на новой, колхозной земле!.. Как еще живуча эта собственническая стихия, но выросла и преграда ей! Я видела воочию эту живую и сильную преграду честных, принципиальных работников большого общественного хозяйства.

В любом, даже семейном конфликте, когда собственническая стихия пытается казаться «розаном», воля и думы народного большинства, как солнце и ветер, проникают всюду и помогают повернуть события по стрелке «вперед». Так невольно патетически заключила я свое сообщение, откуда был «вывезен» рассказ «Розан мой, розан...». Да ведь и вообще приятно было делиться творческими мыслями с Фадеевым: он слушал с таким вниманием, будто еще никто не открывал ему того, что рассказано тобой.

Выслушав, он сказал, что «все это очень органично» и надо было бы опубликовать также и записи.

Но, как бывает при неожиданном повороте дела, я не могла сразу настроиться на эту срочную работу, так как снова занялась рассказом. Нет, сейчас никак не могу, ответила я Фадееву, а вот, потом...

(И как же я потом-то пожалела, что не последовала этому доброму совету!.. Рассказ «Розан мой, розан...» был напечатан в 7—8-м номере журнала «Красная новь» за 1940 год, а в начале зимы грозного 1941 года, вместе с моей дачей, сожженной немецко-фашистскими захватчиками, сгорела моя библиотека, большая часть моего архива, также и та тетрадь с колхозными записями.)

А рассказ Александр Александрович прочел быстро и вызвал меня в редакцию журнала.

Едва взглянув на рукопись, я сразу заметила внизу на первой же странице крупно отчеркнутое синим карандашом полукружие скобок — отсюда редакторская рука наметила произвести сокращение. Вторая и третья страницы тоже очутились в скобках — почему? Ведь эти страницы как бы вводят читателей в жизненную обстановку молодой женщины Тани Стрижевой. Вот она получила письмо из Москвы от старой своей наставницы — тети Паши, которую с детства любит как родную. Таня читает письмо, вспоминает детство, школу ФЗУ, первые самостоятельные шаги на ткацкой фабрике...

— Где она, кстати сказать, уже третий год не работает, так как живет в деревне, — спокойно прервал Фадеев. — Скажи, пожалуйста, что заставляет тебя

испытывать терпение читателя и в самом начале рассказывать биографию молодой женщины?

Но, недоумеваю я, ведь надо же сказать, кто такая Таня?

— Так ведь все необходимое для первого знакомства с ней уже есть. — И Александр Александрович перечислил несколько мелких деталей на первой же странице, которые ясно показывали, что Тане живется хорошо. Но хорошо — до поры до времени, продолжает он. Таня, как открывает ей истину тетя Паша, еще «не всмотрелась» в жизнь. А всмотревшись, Таня ведь становится активной силой в разрешении общественно-нравственного конфликта.

— Но откуда все-таки явилась у Тани сила? Были, значит, какие-то внутренние духовные основы, которые оставались в ней, — вот тут-то бы и вспомнить ее коротенькую биографию, — вслух тоскую я, поглядывая на внушительные синие скобки.

— А разве я предлагаю совсем лишить ее биографии! — с задумчиво-доброй улыбкой произнес Фадеев. — Вопрос в том, где и когда факты этой биографии лучше поместить и где они с большей пользой играют... и все это у тебя полностью в резерве!

И пока он разъясняет, как лучше распорядиться этим резервом, мне становится понятной одна, как я полагаю, из главных черт его редакторского характера.

Известно, художник не только изучает действительность, дела, мысли и характеры современников, но, случается, поддается искушениям жизни — яркой пестроте ее красок, движения, борьбы, бесконечного человеческого своеобразия. Искушаемый художник, бывает, без настоящего отбора явлений, что называется, перехватит пестроты и шума — и вот тут-то строгий глаз умелого и справедливого редактора помогает отбросить лишнее, несущественное. Но редактор ведь тоже не святой, и у него бывают слабости и недочеты. Один любит «суховатую» прозу, другому нравится «облегченная» проза; третий предпочитает всем какую-то «школу» и готов всех авторов «причесывать» именно «под эту школу»; четвертый не имеет особых

пристрастий, но ему не хватает терпения прочувствовать и понять чужой замысел и стилевые особенности; пятый рядом с тем, что есть, всегда хотел бы видеть то, чего нет, и пребывать в уверенности, что именно недостающее-то и дало бы настоящее звучание произведению; шестой... Нет, Фадеев-редактор, как мне тогда воочию открылось, принадлежал к тому типу редакторов, которые прежде всего видят то, что есть, внутренние резервы, возможности, свойства и художественную манеру, присущие именно этому писателю.

— А вот здесь — недодача, явная недодача! — заключил Фадеев свои замечания о молодом председателе колхоза Павле Еремеиче. При этом он опять отправлялся от резервов, которые прочел в моих записях, и деловито упрекнул меня: — Напрасно ты их не использовала.

А потом, задумчиво усмехнувшись, добавил:

— Видишь, как полезно редактору знать историю также и такого небольшого произведения, как рассказ. Ты, я вижу, столько наслушалась, что потом изза богатства стала скупиться — слов, мыслей и красок отпустила ему меньше, чем другим. Почему?

Я ответила, что Павел Еремеич, по его месту в рассказе, представляется мне образом наступательного и обличительного назначения. «Поскупилась» я для него, чтобы он не выглядел программно-скучной фигурой.

Фадеев, еще продолжая листать мои записи и на чем-то при этом останавливая взгляд, сказал неторопливо и веско:

— Когда ты записывала, то ведь, конечно, помнила, что на собраниях происходили все время столкновения не просто каких-то отдельных мнений, а целых программ жизни?

Если я именно так это чувствовала и понимала, так почему же в создании образа председателя это понимание уступило место нерешительности — как бы, мол, не приняли за этакого «программного» героя?

Фадеев вслух прочел отдельные строки высказываний старого «базарника» Кузьмы Стрижева и, укоризненно покачав головой, заключил:

— Смотри, что получается: ехидный старичина говорит вольно, а человек, болеющий за общее дело, зовущий людей вперед, говорит будто из-за кулис! Да и что бояться за него, если этот образ должен и мысль читателя вести за собой. Если это идет от характера, от широкого обобщения, мы всегда будем гордиться твердостью и прямотой наших взглядов на жизнь... Верно?

Конечно, это было верно и производило на меня глубокое впечатление своей проникновенной серьезностью и в какой-то мере особой, подлинно художнической чуткостью к творческому миру товарища, к его сильным сторонам и к его недостаткам, просчетам. Уже трудно теперь, двадцать пять лет спустя, вспомнить о множестве его мелких замечаний по отдельным деталям рассказа, но в памяти остались те же, чисто фадеевские черты подхода к материалу: исключительная внимательность и умение запоминать (не свой!) текст со всей его разноокрашенной выразительностью в диалоге, в описательной речи и особенно — в подтексте.

Пока шел наш неторопливый и чудесно-рабочий разговор, мне все время представлялось: сколько же произведений вот таким же образом просмотрено Фадеевым и сколько писателей помнят о редакторской его помощи!.. Мелькала у меня в голове еще одна дума, о которой я сказала Фадееву несколько позже.

После доработки рассказ вновь был отослан к нему. Вскоре он позвонил мне, чтобы сообщить, что рассказ будет напечатан в одном из летних номеров журнала. Потом шутливо осведомился, как я настроена и «пришла ли в себя» после его критических замечаний. Как много иногда теряют люди, поддаваясь своим противоречивым настроениям, серьезно сказала я в ответ. Как я досадую и жалею, что совсем отошла от журнала (хотя руководство там уже было другое) и тем самым лишила себя духовной радости извлекать волнующие и плодотворные уроки из живых бе-

сед о современности, о мастерстве, — да, да, за это я очень досадую на себя!

— Ну, не огорчайся! — утешил он. — Пройдет три-четыре года, напишется новый роман, который прочту и буду редактировать... наверно, в сорок третьем или сорок четвертом году.

За нашими рубежами уже полыхала вторая мировая война, а у нас на дворе еще шла наша мирная третья пятилетка.

В мае 1939 года, в дни празднования 125-летия со дня рождения Тараса Шевченко, мы плыли по Днепру в Канев, вблизи которого находится могила великого украинского поэта. На сверкающей полноводной глади Днепра все кипело движением: пароходы, баржи, рыбацкие лодки, белокрылые ялики, всюду звучали песни, музыка. Невдалеке проплыли на лодке школьники, которые с забавной старательностью пели хором. Фадеев приветливо замахал им и даже подтянул слегка. Потом, провожая ребят ласковым взглядом, вдруг сказал, ни к кому особенно не обращаясь:

— Когда я был мальчишкой, вот как эти, я ужасно любил петь разные оперные арии. А самой любимой у меня была ария Антониды: «Не о том скорблю, подруженьки...»

Все растроганно засмеялись, наверно представив себе маленького Сашу Фадеева, который звонким детским дискантом выводил горестные слова арии...

В Каневе после митинга, среди нежной майской зелени и бело-розовой пены цветущих яблонь, десятитысячная толпа вдохновенно пела «Заповіт» великого Тараса:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий...

Неподалеку, на пригорке, на фоне празднично одетых седоусых стариков, степенных женщин, ребятишек, девчат, одна другой лучше, в пестрых веночках, в лентах, бусах, в красных сапожках, и бравых парней в вышитых рубахах, я вдруг увидела Фадеева... Он стоял, держа на скрещенных руках пальто, и пел увлеченно, всей грудью. Его тенор вливался в песенные волны тысячеголосого народного хора. Слегка закинув седеющую голову, он пел, то глядя в майское нежное небо, то озирая поющую толпу. Молодой румянец горел на лице его...

Такими они надолго запомнились мне — Фадеев и чудесный солнечный майский день над Днепром...

. . . .

Прогнозы погоды на конец зимы сорокового года обещали сильные морозы. В декабре по Москве уже ходили слухи, что в подмосковных садах померзли яблони, вишни, а ягодники вымерзли под корень.

Об этом разговаривали мы с Константином Андреевичем Треневым после записи наших голосов на пленку, выйдя из подъезда Дома радио на площади Пушкина.

— Привет братьям литераторам! — раздался знакомый голос. Навстречу шел Фадеев. Поговорили несколько минут — мороз нестерпимо щипал лицо и руки! — и пошли скорей к троллейбусной остановке.

— А вы заметили, — сказал К. А. Тренев, — наш Александр Александрович начал седеть, виски уже побелели, а ведь человеку всего сороковой!

Да, конечно, заметила. Однажды на каком-то собрании той осени кто-то вслух подивился этим побелевшим вискам — все-таки рановато бы!

— Ничего не поделаешь — время! — кратко отозвался Фадеев.

То напряженное время войны по соседству с нами, время, которое он, тогда уже член ЦК ВКП(б) и депутат Верховного Совета СССР, несомненно ощущал сильнее многих, так как знал больше других.

Первого мая 1941 года, в ожидании начала парада, несколько литераторов, сидя на парапете трибуны, разговорились об Александре Фадееве. Он

стоял в переднем ряду, высокий, статный человек с седеющими висками. Распахнув пиджак серого костюма, он стоял, слегка закинув голову, и, казалось, забыв обо всем, любовался торжественной ширью Красной площади, приготовившейся к параду.

Беседующие вспоминали Фадеева прошлых лет, тонкого юношу с угловатым лицом, и сравнивали с теперешним: большой писатель, один из «столпов» советской литературы, благородный, сильный талант, в полном расцвете, и крупный государственный и партийный деятель. И вместе с тем он остался тем же простым, душевным человеком, которого в неофициальной беседе многие люди называли по-прежнему Саша, с кем можно было говорить откровенно и быть уверенным, что получишь ясный и правдивый ответ.

Может быть почувствовав, что на него смотрят несколько пар дружеских глаз, Фадеев обернулся, кивнул всем, а потом с совсем юношеской, ликующей улыбкой, как бы весь отдаваясь радостным майским впечатлениям, махнул рукой в сторону площади, над которой уже плыл в весеннем воздухе звон курантов Спасской башни.

Огромная площадь, сердце Москвы и всего Советского Союза, в то чудесное утро дышала, жила бесконечно дорогим счастьем мира.

Не прошло и двух месяцев, как тот майский парад уже вспоминался словно из туманной дали прошлого, — так круто все изменилось кругом.

Помнится второй день Великой Отечественной войны. Мне позвонили из Союза писателей: Александр Александрович просит членов Президиума, как и всех писателей, находящихся сейчас в Москве, прибыть на срочное совещание.

Стоило только окинуть взглядом наш вестибюль — и уже было ясно, о чем, точнее, о ком придется нам совещаться. В вестибюле было как никогда многолюдно, шумно, тревожно, будто на вокзале или где-то на перекрестке во время пожара. Десятки незнакомых измученных лиц, блуждающие, покрасневшие от бессонницы глаза, слезы, вздохи, бессвязный говор — все горе наружу — без разъяснений говорили, откуда при-

ехали эти писатели и какая страшная трагедия разразилась над ними. Какие-то узлы, чемоданы, наспех увязанные портпледы и брошенные на них шляпы, пальто, в пыли и пятнах, указывали, что дорога в Москву была очень трудна. Работники аппарата Союза писателей и Литфонда уже записывали их ответы, чтобы оказать первую помощь.

В коридоре мне встретился Фадеев, резко осунувшийся, с побледневшим до желтизны лицом, как и все мы в те первые грозные дни, — нет мукн страшнее и больнее, чем сознание, что по твоей родной советской земле топают сапоги фашистской солдатни!

— Иду, иду, — громким и спокойным голосом сказал он кому-то и вышел навстречу человеческим страданиям и горю.

Все узнали его. Шум сразу утих, все взгляды обратились к нему. Одной своей спокойной озабоченностью он вносил в этот душный круг человеческих несчастий свежий ветерок подтянутости и надежды. Он предложил для убыстрения работы установить что-то вроде очереди: «Как вы сами, товарищи, найдете нужным, чтобы с каждым поговорить и решить, в какой город его лучше эвакуировать». Все заметно приободрились, установили какой-то порядок. Кстати, уже собралась довольно большая группа нас, москвичей. Фадеев оглядел знакомые лица, в его запавших глазах мелькнули какие-то искорки, будто и всех нас он хотел ободрить и напомнить о необходимой всем нам стойкости в грозный час истории.

Каждому он тут же поручал поговорить с двумя-тремя товарищами, собрать все необходимые о них сведения и сразу же передать ему — и дела эти решать нужно без промедления. Большую группу новоприбывших он отобрал для своей беседы и вызывал их поочередно к себе в кабинет.

Думалось в тот день, что мы по совести поработали. Еще до вечера никого из новоприбывших у нас, на улице Воровского, уже не было: одних поселили в гостиницы, большинство эвакуировали в глубь страны.

Мы, москвичи, уже начали расходиться по домам,

когда всем оставшимся передали просьбу Александра Александровича зайти к нему на несколько минут.

Когда я зашла, он заканчивал с кем-то телефонный разговор. Мне показалось, что он даже подчеркнуто твердым движением руки положил трубку на рычаг, а потом обратил ко мне внимательный и серьезный взгляд.

— Где ты думаешь приложить свои силы? — спросил он глуховатым, слегка осипшим голосом.

Я ответила, что мне сегодня утром позвонили из МК — согласна ли я работать в одной из агитбригад? Конечно, я выразила свое согласие. Вечером же того дня, как мне уже было известно, я должна была выступать для вечерней смены на одном из московских заводов; утром же следующего дня должна выступать у комсомольцев Трехгорки. Буду, конечно, писать в «Правду».

— Значит, всегда будешь при деле, — это самое главное, — заканчивая наш краткий разговор, сказал он и добавил: — Я обязан доложить партии, какими делами помогают народу советские писатели.

Несколько встреч с Александром Александровичем, какие были у меня в то жестокое, пронзительное лето, вспоминаются всегда краткими, предельно скудными на слова — только о деле.

Двадцать второго июля на московское небо прорвались впервые фашистские стервятники, и с того дня, прорвавшись, они уже регулярно бомбили Москву.

Наверно, никогда за сотни лет своего бытия не знала наша Москва такой тревожной бессонницы! К душевным волнениям прибавилась еще и эта, от постоянного недосыпания, тяжкая усталость, хуже всякой болезни. Люди худели, желтели, седели и молодые, но, встречаясь с товарищами по работе, никто как бы и не видел никаких внешних перемен: как ты выглядишь — это, право, не так уж существенно, а вот что ты делаешь — это самое важное.

Фадеев обычно был спокоен и ровен, только пожелтевшее лицо его с обострившимися чертами часто казалось мне будто окаменевшим от его непреклон-

ной решимости быть всегда твердым, стойким и побуждать к этому других. Казалось, все силы его богатой и подвижной натуры и радость жизни, которая так непосредственно выражалась в нем, даже как бы исчезли надолго. Но один случай показал мне, что эти мои представления были несколько односторонними.

Однажды в давяще душный день, усталая после какой-то агитационной поездки, я возвращалась домой. Еле успела я забежать в метро, как грянула гроза с таким ливнем, будто целый океан обрушился с неба на Москву. Будто струистые стены бурной, словно колдующей воды низвергались вниз, на крышу ампирного Манежа, отскакивали целыми фонтанами брызг и алмазной пыли. Ее голубоватый туман окутывал кремлевские башни, университет, гостиницу «Националь». А внизу шумно разливалась только что рожденная, юная река, бурно отливающая хрустальным блеском. Все расширяясь, она заливала тротуары, а сверху, от Моссоветской площади, уже неслась еще более бурливая река, тоже играющая бегущими волнами с белыми гребешками. А над всем этим ливневым буйством то и дело рвались молнии, жарко вспарывая небо, а раскаты грома сливались с грохочущим шумом воды в трубах и ее звонкими всплесками на асфальте. Никогда еще не доводилось мне видеть такой грозы и ливня, как в тот душный день первого военного лета!

В публике, тесно набившейся в вестибюле метро «Охотный ряд», слышались разные восклицания и разговоры. Некоторые досадовали вслух — дождь им помешал. Вдруг одна женщина сказала, что этот ливень «просто чудный», что еще было бы лучше, если бы и всю ночь шумел этот ливень, — тогда «никакие зажигалки не страшны». Вдруг знакомый голос поддержал это замечание. Неподалеку стоял Саша Фадеев, рядом с ним кто-то незнакомый.

— Как хорошо, как здорово... верно? — говорил Фадеев смеющимся голосом, и лицо его смеялось, глаза молодо сияли, но не от веселости, а от какого-то еще непонятного мне, словно искрящегося упорства. —

Действительно, — продолжал он, — это тебе не какие-то подлые зажигалки, а природный небесный огонь, дивная молния, чудный дождь, который любой пожар зальет!

И он начал с таким увлечением расписывать «московский пейзаж под дождем», что мне и незнакомому его спутнику (фамилию, мне названную, в шуме и говоре я не расслышала) оставалось только весело поддакивать этой импровизации.

Потом я заявила, что больше не могу стоять здесь в тесноте и духоте, — лучше выйти на свежий воздух, да и дождь уже стихает, вот-вот солнце покажется.

Мы вышли на улицу. На конечной остановке троллейбуса уже растянулась плотная очередь.

— Эх, дойдем до Пушкинской! — предложил Фадеев.

Незнакомый спутник — лысоватый худенький брюнет, роста ниже среднего, сделав несколько шагов, попятился назад — вдоль уличного асфальта бурлил широкий поток.

— А ну-ка, ну! — крикнул Фадеев и, подхватив нас под локоть, помог перепрыгнуть так ловко, что все мы трое дружно расхохотались.

В те дни, помнится, магазинные витрины еще не были забаррикадированы досками и еще могли сверкать после ливневой мойки. И оконные стекла, во многих домах перекрещенные белыми полосками бумаги, тоже отражали в себе уже голубеющее небо и солнечные лучи. Ручьи еще бежали вдоль края тротуара, мостовая еще блестела, а машины скользящими тенями отражались в ней. Вся словно помолодевшая улица Горького, снова шумная и многолюдная, пахла умытым асфальтом и освещенной листвой. Фадеев шел широким шагом и рассказывал о какой-то истории в лесу, в грозу, во времена его дальневосточной партизанской юности. Уже не помню многих подробностей, запомнилось только, какими словами закончил Фадеев свой рассказ о той лесной стычке с интервентами и белогвардейцами.

— Они всегда воображали, что вот мы и побежим, вот мы все на свете, да и самих себя потеряли — ха!—

говорил он, упрямо вскидывая головой. — А мы еще сильнее стали... и так же, так же будет и теперь!.. Да, да!

. . . .

В один из августовских дней 1941 года в Союзе писателей появилась гостья, молодая журналистка, больше похожая на итальянку, чем на представительницу английской прессы. Держалась наша гостья просто и довольно обаятельно, однако многое в настроении хозяев она или недоучла, или просто не в состоянии была понять. Она задавала порой наивные или необдуманные вопросы, на которые тогда не так-то просто было отвечать.

В то время нам было не до гостей, хотя беседа на трех языках шла довольно оживленно. Возможно, наша гостья даже и не замечала, как одни собеседники уходили, а другие появлялись.

Уже не помню, кому именно из собеседников наша гостья призналась: несколько дней, которые она провела в Москве, когда советская столица была «под бомбами», конечно, запомнятся ей на всю жизнь. Пусть простят ей «маленькое хвастовство», но она «очень горда, что набралась храбрости посетить Москву в очень опасное время» — ведь фронт, говорят, всего в трехстах — четырехстах километрах от столицы. Англичане, продолжала она, уже год воюют. Фашистские самолеты тоже бомбят английские города, но ни один вражеский солдат не вступит на британскую землю — британский флот не допустит этого. «Недоступность берегов», конечно, такое преимущество, которого нет у «сухопутной Москвы».

Гостье напомнили, что из Москвы по каналам можно доплыть до северных и южных морей.

— Ах, эти моря очень далеко! — заявила гостья и перевела беседу на другую тему. Ее, знаете ли, очень интересует, неужели все население Москвы во время бомбежек может поместиться в вестибюлях и подземных переходах московского метро?

После объяснений она спросила меня:

— Скажите, куда вы с семьей уходите спасаться во время бомбежки?

Я ответила, что теперь мы, как и многие, уже никуда не ходим и остаемся дома. Сначала спускались в закрытую траншею на территории нашего двора. Но в траншее тесно и душно, поэтому мы туда больше не спускаемся. До ближайшей к нам станции метро «Динамо» надо еще пройти метров пятьсот — шестьсот под очень тревожным небом. Взвесив все это, мы решили оставаться дома. Опустим маскировочные черные шторы, включим свет и сидим все вместе.

— Но как же вы должны дрожать! — взволновалась гостья и, будучи, очевидно, натурой непосредственной, тут же показала, «как же ужасно» мы все дрожим и, наверно, просто «лежим в обмороке».

Я снова разъяснила, что «обмороков» ни у нас в семье, ни у соседей не было даже во время первых бомбежек. Сначала в страхе люди, конечно, искали места, чтобы спастись, а этого, кстати, «в обморочном» состоянии сделать нельзя. Теперь многие люди узнали, что главные воздушные бои происходят на подступах к Москве, а в столицу удается прорваться только отдельным фашистским стервятникам. Откуда я это знаю? Из газет, а недавно (после женского антифашистского митинга в Колонном) мне с живописной точностью рассказала об этом известная всей стране женщина-орлица, Герой Советского Союза Марина Раскова. Кроме того, не требуется даже особой наблюдательности, чтобы знать, что в каждом районе Москвы расположено немало зенитных батарей, а зенитчики свое дело знают. Я настолько доверяю точности их работы, что, сидя у себя в кабинете в часы бомбежки, стараюсь звонче стучать на своей пишущей машинке, чтобы не был так сильно слышен грохот с улицы. Как бы ни было больно сердцу, каждый разумный человек должен все свои мысли и волю отдать работе для Родины, для помощи фронту — словом, делать все, чтобы ненавистный враг был скорее изгнан из пределов нашей советской земли и чтобы вернулась дорогая всем мирная, созидательная жизнь.

Гостья недоверчиво покачала головой. Простите,

но ей трудно понять, как это можно в начале такой страшной войны думать... об ее конце и возвращении мирной жизни?

— А это действительно так и есть, — раздался негромкий голос Фадеева. Я не заметила, когда он вошел, так как в комнате все время происходило движение — участники беседы незаметно сменяли друг друга.

Фадеев сидел за столом в тени почти занавешенного от жаркого полуденного солнца окна. На темном фоне вдруг впервые так резко засветилась его седая голова.

— Переведите, пожалуйста, уважаемой гостье, — продолжал он тем же негромким и ровным голосом, — что самая заветная мечта нашего народа — разгром фашистских полчищ и возвращение бесконечно дорогой нам мирной жизни.

Гостья снова недоверчиво усмехнулась. Может быть, у нее заранее сложилась какая-то иная картина общественных и личных настроений москвичей? Может быть, она ожидала взрывов отчаяния и той самой «дрожи», которую она так живописно показала?

А Фадеев тем временем кратко, но вполне исчерпывающе рассказывал, как работают московские писатели, кто вступил в народное ополчение, кто отправился на фронт в качестве военного корреспондента. Он назвал десятки писательских имен и обо всех сказал самое существенное и важное, что дается только подлинным знанием и живым постоянным интересом к работе современников.

Гостья внимательно выслушала все это, а потом, сокрушенно кивая черноволосой красивой головкой и словно готовясь переживать за всех, бурно вздохнула:

— Ах, ах... но все-таки она пылает, эта безумная война!.. Ваша армия отступает, положение на фронтах очень тяжелое... Ах, что же будет с Россией?

Переждав, пока гостья вновь бурно вздохнула, Фадеев ответил с той же спокойной твердостью:

— Россия, Советский Союз — величайшее государство и таким пребудет всегда. А тяжелое положение на фронтах — явление временное: мы еще переживаем

последствия внезапного и вероломного нападения на нас. Я убежден, что...

Он подумал немного и повторил с подчеркнутой решимостью:

— Я убежден, что уже недолго ждать, когда наши концентрированные силы нанесут врагу сокрушительный удар...

Слушая перевод, гостья невольно засмотрелась на это немолодое лицо с волевым взглядом светлых глаз, на крепко сомкнутые руки сильного человека, конечно знающего, что такое война и храбрость.

— Да, да... я понимаю... — ответила она совсем иным тоном, будто действительно только сейчас приблизившись к пониманию общего настроения.

Память переносит меня в октябрьские дни сорок первого года, в Свердловск, столицу Урала. Второго октября «Правда» поручила мне как своему корреспонденту поехать на Урал и написать несколько очерков о работе наших танковых заводов. Я надеялась вернуться в Москву к празднику двадцатичетырехлетия Великой Октябрьской революции, но через две недели мне позвонили из Москвы, чтобы я пока не трогалась с места: линия фронта еще придвинулась к столице, и въезд туда разрешается только по особым пропускам. Семья моя оставалась в Москве, и, хотя по телефону я связывалась со своими, тревога и тоска без них все равно терзали мою душу. Однажды моя старушка мать сообщила мне по телефону, что ей звонил лично Александр Александрович Фадеев и предлагал эвакуироваться со всей семьей ко мне, в Свердловск. Она была бесконечно растрогана, что «такой знаменитый писатель, подумай, позаботился обо мне, восьмидесятилетней старухе!». Она поблагодарила его за эту благородную заботу, но эвакуироваться отказалась: в такой глубокой старости не вынести этих крутых перемен.

Я уже связалась с Уралмашзаводом и входила в курс главных событий на трудовом фронте, а тревога и ожидание все равно терзали душу. Однажды мне

позвонили из обкома, что в Свердловск приехал Александр Фадеев и справляется обо всех писателях — москвичах и ленинградцах, прибывших в Свердловск. Мне сообщили телефон Фадеева, но целый день так и не могла до него дозвониться. Расстроенная, я приехала с Уралмашзавода, и едва вошла в сквер над прудом, как увидела Фадеева. Он шел рядом с Ольгой Дмитриевной Форш и приветственно махал мне рукой. Мы обнялись все трое, а Ольга Дмитриевна быстро шепнула мне: «Седой, в сорок-то лет!»

В шинели, в пилотке, из-под которой особенно резко белели седые виски, Фадеев напоминал пожилого солдата, сохраняющего свою былую, молодую выправку, и казался намного старше своих сорока лет. На его еще более осунувшемся лице жестко выделялись обтянутые пожелтевшей кожей надбровные дуги, стрелы морщин глубоко прорезали лоб, а от крыльев выдавшегося вперед прямого носа пролегли вдоль щек, поперечная складка остро обозначила подбородок; но голубые глаза смотрели молодо и зорко, будто впитывая в себя пейзаж города, где не бывает затемнения.

Поговорили немного на разные темы, а потом Фадеев предложил Ольге Дмитриевне проводить ее домой: у нее был очень усталый вид, — они довольно долго ходили пешком по городу. Но когда он сможет порасспросить меня о том, что его интересует? А это можно сделать почти немедленно: пока я буду стоять в довольно длинной очереди за хлебом вот около этой булочной, он, проводив Ольгу Дмитриевну, найдет меня здесь же.

Когда он вернулся, я уже получила буханочку полубелого хлеба, так румяно испеченного и так приятно пахнущего пышным и сытным теплом, что захотелось тут же отрезать добрый кусок.

Мы сели в скверике под облетевшими березами. Своим перочинным ножом Фадеев отрезал от буханки два добрых куска.

— Великолепный хлеб! — сказал он, отрезая от куска аккуратные дольки. — С таким хлебом и бойцу воевать легче!

Он рассказал, что и в Москве, как обычно, с утра повсюду развозится свежий хлеб. Кондитерские деликатесы, правда, исчезают, но хлеб («Это наша русская материальная первооснова», — пошутил он) попрежнему хорош. И особенно теперь, добавил он, когда Москва так посуровела. Несколькими чертами он обрисовал мне московский пейзаж в половине октября сорок первого года: противотанковые рвы, баррикады на ближних подступах, закрытые мешками с песком и досками магазинные витрины, белые прямоугольники с черными буквами и стрелами, обозначающие вход в бомбоубежища...

Наконец у него в руках остался ровно срезанный тонкий краешек горбушки. Он показал его мне и произнес с задумчиво-грустной улыбкой:

— Этот хлебный остаточек напомнил мне о твоей старушке!.. Горькая мудрость стариков... Я убеждаю твою мать эвакуироваться — ведь ей же лучше быть с дочерью, а она мне отвечает таким добрым, мягким, а вместе с тем и настойчивым голосом: большое спасибо, совсем не надо заботиться о ней. Ей восемьдесят первый год, от ее жизни остался один тонкий краешек (он снова показал мне хлебный срезочек), — так есть ли, мол, смысл что-то сызнова начинать? В грозное это время, говорит она, когда столько ужасов и несчастий посыпалось на нас, для старого человека лучшее благо — умереть дома, в своей постели... Да-а... Мужество молодых — рваться вперед, в бой за жизнь, мужество стариков — с достойным спокойствием встречать неизбежное. Она мужественный человек, твоя старушка!

Я была так растрогана и взволнована передачей фадеевского разговора с моей матерью, что уже не могла потом вспомнить, как он перешел на тему — мужество в искусстве и «несгибаемость этого мужества» в душе художника в эпоху тяжелых испытаний. Лучшие произведения советской литературы, отразившие героику гражданской войны, как он считал, шли от высоких образцов великой русской классики — они достойно выдержали экзамен на «бессмертие в памяти народной». Теперь наша советская литература

вновь держит экзамен на мужество в жесточайшей войне. Художественное выражение, идейная глубина, сила общественного звучания — все в руках писателя, точнее — в настроенности его сознания и таланта, в его живой связи с народом и в его, писателя, выдержке, еще и еще выдержке, твердости духа.

Он спросил, как идут мои дела на заводе. Не желая отнимать у него время, я сказала только: каждый день узнаю столько нового, важного и столько своеобразных сильных характеров узнала я за какие-то две недели, столько картин труда видела, что просто не замечаю, как проходит день.

— Словом, при деле!— заключил он добрым, удовлетворенным голосом. — Я вижу, здесь наши люди настроены крепко работать и работать.

Об этой величайшей из войн в истории, заговорил он потом, будут писать и много лет спустя, но прежде всего мы, современники этих событий, должны сказать свое «первое неповторимое слово», которое останется в истории, когда уже и нашего поколения не будет.

— Но ведь наконец и о дне победы думать надо! — вдруг горячо полушепотом произнес Фадеев. — Далеко еще до Берлина, но победа обязательно придет, и мы будем там, будем. «А ты, лично ты, что ты сделал для этой победы?» — спросят каждого из нас. А как встретят эту великую победу те наши товарищи, которые, все еще не собравши своих сил, пребывают в состоянии прострации?

Кое-кто, рассказал он, совсем пал духом и уже ничего не видит впереди. А есть и такие, которые и готовы бы потрудиться, но, знаете ли, желают, чтобы им создали «подходящие условия». Один из этих литераторов писал, что его «духовный организм совершенно не приспособлен к условиям войны» и потому «нужно понять» его переживания и т. д.

— Его духовный организм, видите ли, не приспособлен! — возмущенно повторил Александр Александрович. — А миллионы молодых людей, которые пошли защищать родину, — разве они наделены каким-то особо приспособленным «духовным организмом»?

Сорокалетние или около того помнят гражданскую войну, а эти ребята, самый цвет народа, знали только мирную жизнь, а вот попали сразу в огонь невиданной силы!.. Они одно знали и знают: свой долг перед родиной... и уже тысячи их погибли смертью храбрых! А тут, — продолжал он, — почтенный столичный литератор «с берегов Невы или Москвы-реки» проживает теперь в одной из среднеазиатских наших республик, в южном красивом городе, в спокойной обстановке, где не бывает затемнения... и еще требует «создать условия» для творческой работы! Нет, такого рода «жалобные заявления» идут не только от характера, но и «от многолетних камерно-декадентских представлений о писательском труде». Это, мол, главным образом, «мир моего таланта», «мир моих переживаний»... Но ведь, как рассказывает известная басня, желуди растут на дубе, а корни того дуба развиваются и питаются в глубинах земных и вне их засохнут!.. Но до этой простой объективной истины мысль подобных «аристократов духа» подняться никак не может!.. Едва ли также могут они вообразить, насколько далеки подобные настроения от подлинной сущности и деятельности нашей советской литературы!

Он помолчал, опустив голову, а потом тревожно сказал:

— Говорят, что Аркадий Гайдар в окружение попал на Украине, дерется где-то вместе с партизанами... Положение у них тяжелое...

Видела ли я Гайдара этим летом? Да, я его встретила на собрании у нас в клубе. День был жаркий, а Гайдар ходил очень подтянутый, в высоких сапогах, в темно-синей полувоенного типа одежде. На его гимнастерке с высоким отложным воротником каждая пуговица была застегнута, длинноватые рукава доходили до большого пальца, и каждый, кто видел его в тот день, наверно, думал: как же ему жарко!.. Он расхаживал багрово-румяный от жары, но не поступался своим подтянутым видом. В разговоре я обратила его внимание на то, что все ходят здесь (у себя в клубе) с расстегнутыми воротами, а он будто зарок

дал. «Да, зарок», — повторил он, и необычная скупая улыбка мелькнула на его круглом лице с миловидными чертами, в которых сохранилось что-то от ранней его юности. На фронте зарок, клятвенное обещание выполнять свой воинский долг — обыкновенное дело. Он уезжает на Юго-Западный фронт корреспондентом «Комсомольской правды».

Наверно, теперь Гайдару перед новой суровой дорогой вспомнились прошлые радости, да и сколько жизненной силы и веселого, зоркого ума в нем самом и его творчестве!..

Я не могла себе представить, чтобы с автором «Школы» и «Тимура и его команды» могло что-нибудь случиться — ведь он человек в расцвете лет, с мальчишек знает военную жизнь... Может быть, это еще слухи.

Нет, сказал Александр Александрович, он слышал от разных людей, что Гайдар попал «в тяжелый переплет», и, очевидно, это так и есть.

Тревога Александра Александровича о Гайдаре оказалась обоснованной: в том же году стало известно, что Гайдар погиб смертью героя. В дни тяжелого наступления наших войск он вступил в партизанский отряд и встретил смерть на своем бесстрашном посту партизанского пулеметчика, в бою под деревней Лепляна 26 октября 1941 года.

Летом 1942 года мне пришлось, прервав все свои корреспондентские дела на Урале, срочно вылететь в Москву в связи с тяжелой болезнью моей матери.

Уже не помню, о чем мне надо было посоветоваться с Александром Александровичем.

Есть у него кто-нибудь? Нет, никого, он только что приехал.

Приоткрыв дверь, я спросила: «Можно?» Ответа не последовало. Недоумевая, я шагнула в сторону арки — и увидела Фадеева. Он сидел на своем обычном месте, слегка откинув голову, положив крепко сжатые руки на письменный стол и будто застыв в состоянии глубокого раздумья. Его полузакрытые гла-

за, казалось, смотрели куда-то виутрь, в себя, в это раздумье, которое овладело им с такой силой, что он даже перестал ощущать присутствие другого. Нет, сейчас я зашла ие ко времени. Я решила уйти, но звук дверной скобы вдруг дошел до его слуха, и Фадеев посмотрел в мою стороиу.

— Заходи, заходи.

Поздоровались. Он спросил, как обычио, о жизии, о работе. Я отвечала кратко и даже торопливо, чувствуя все время, что раздумье вновь овладевает им. Заметив мое смущеиие, ои посоветовал ие удивляться — «с иим сейчас такое часто бывает».

— Это все после моей поездки в Ленинград, — ответил он каким-то иеобычиым, глухим голосом, будто что-то мешало ему дышать. — Этого нельзя забыть... того, что я видел в Лениинграде в дни блокады.

И он, видимо ие заботясь о последовательиости, рассказал о некоторых своих «леииииградских впечатлениях».

Едва ли я смогла, даже если бы и успела, записать этот рассказ — каждое его слово обладало тройной емкостью. Озиачало ли оио описаиие человеческого лица, отрывок какой-то беседы, восклицания гнева, ужаса или восторга, иазвание улицы или набережиой, определяло ли оио какую-либо подробность или бегло иабросаиную картину дня или ночи, — в каждой черточке виделся весь Лениинград, после его первой трагически-геройской зимы, Лениинград, покоривший смерть, уготованиую ему лютым врагом. Город милой студенческой молодости, со всеми прежде любимыми миой проспектами, улицами, набережными, мостами, белыми ночами, в совсем юном, невиданном и вместе с тем так выпукло представляемом облике, словио вставал и проносился передо мной... О том, как «оттаивали» леииииградцы после их страшной ледяной и голодной зимы, можно было прочесть в газетах — наша советская печать правдиво рассказывала о блокированном Лениинграде. Но в этой словесиой, непосредственной передаче все звучало несравнеиио сильнее. Знакомые имена писателей — защитников и бойцов Лениинграда — Николая Тихонова,

Всеволода Вишневского, Ольги Берггольц, Александра Прокофьева, Веры Кетлинской, произнесенные Фадеевым в его живом рассказе свидетеля и участника литературной и общественной жизни великого города, воспринимались как бы вновь, как бы преображенные всем тем, что я узнала о них из живых уст. А сам он, очевидец и участник защиты Ленинграда в весенние дни сорок второго года, являл собой живой пример такой высокой потрясенности всем виденным и слышанным, что заражал ею и других.

— Поразительно еще и то, — говорил он все тем же глухим от волнения голосом, — что в этом городе нечеловеческих страданий я познал столько гордости за наших людей... до́ма, в общественной жизни, на фронте... Да, какая храбрость и чистота души... и все это не только сохранилось, но в этом поразительном воздухе борьбы и опасностей... — он высоко взмахнул руками над седой головой, — даже как-то еще отчетливее и прекраснее стало!..

Он помолчал и, вдруг прикрыв глаза рукой, сказал медленно, будто опять погружаясь в раздумье:

— Я как-то не могу еще войти в привычную колею... и все вспоминаю, переживаю вновь...

Мне стало понятно, что, недавно приехав из Ленинграда и с его фронтов, большой советский писатель находился в особенном состоянии, потрясенно-торжественном и неповторимом. Он привез с Ленинградского фронта, так мне представлялось, такое духовное богатство, что ему еще нужно разобраться, освоить этот могучий наплыв впечатлений, незабываемых картин жизни, неповторимых встреч, отмеченных знаком титанической эпохи. В разные периоды своей жизни мы испытываем множество чувств, связанных с возрастом, с переменами в нашей жизни, — радость детства, юности, любви, материнства, дружбы, бесчисленные отзвуки в нашей душе общественных событий, трудности и достижения нашего творческого труда... Но ничто не может сравниться с глубокой значимостью, с тревожной или торжественной потрясенностью нашего сознания, когда дело идет о родине, о ее защите, о свободе, а значит — моей, твоей, нашей сво-

боде, о счастье и человеческом достоинстве. Вся наша сила и высший смысл жизни — в родине, в ее мощи и величии, в нашем общем труде для нас и многомиллионного нашего народа-творца.

Это глубинная общность патриотического сознания и чувства была всегда одной из самых ярких черт личности Фадеева. Да и внешне эти переживания выражались со всей силой его непосредственности.

Эта встреча летом сорок второго вспомнилась через год, летом 1943 года, когда я уже вернулась с Урала в Москву. После победы в великой битве на Волге, на Курской дуге и многих других побед Красной Армии всюду чувствовалось подъемное настроение. Стоило только обозреть знакомые лица товарищей — все заметно посвежели и приободрились.

В ответ на мое замечание по этому поводу Фадеев сказал с самым жизнерадостным смехом:

— Перелом войны завиднелся, вот и начали люди расцветать!.. Не так уж далеко время, когда к нам вернется наш довоенный уровень!..

Заседание Президиума шло дружно и оживленно, что дало повод Фадееву пошутить: оказывается, можно и по заседаниям соскучиться.

Узнав, что в нашем ЦДЛ хотят отметить награждение меня орденом Трудового Красного Знамени по поводу моего пятидесятилетия, я поделилась с Александром Александровичем своим беспокойством: стоит ли вечер устраивать — вдруг никто не придет?

— Ну что ты! — засмеялся он. — Да ты всерьез говоришь?

— Абсолютно всерьез: все-таки время еще военное, у всех заботы и тревоги, не до клубных вечеров. А если никто не придет, я совсем растеряюсь!..

— Да ты, оказывается, трусиха!

— Возможно, что и трусиха, но я прежде всего — беспощадный реалист: пока всем трудно, тревоги и заботы еще не исчезли, ведь еще время военное, и людям пока не до вечеров.

— Ну, беспощадный реалист, давай я буду председательствовать на твоем вечере! — пообещал он с веселым дружеским смехом.

Как всегда, обещав что-либо, он сдерживал свое слово и председательствовал на вечере.

Пока Дмитрий Николáевич Орлов читал отрывок из моей повести «На горе Маковце», председатель насмешливо блестя голубыми глазами, окидывал взглядом наш небольшой верхний зал, где было довольно людно, на столе красовались цветы... и, кажется, никто не собирался уходить.

Когда весной сорок седьмого года в Союзе писателей отмечали 25-летие моей литературной деятельности, я попросила Фадеева председательствовать на вечере.

— Помню, отлично! — сказал он со своим задушевным смехом, конечно подразумевая разговор три года назад, — и снова дал согласие.

— Народу пришло «на совесть», приятные, знакомые все лица! Давайте, товарищи, начнем.

Вдруг зазвонил телефон. Фадеева куда-то вызвали. Пока он слушал чей-то голос в трубке, Лидия Николаевна Сейфуллина испуганно шепнула мне, что, наверно, Александра Александровича вызывают сейчас в ЦК и как же это жаль, если он уйдет. Он обернулся, увидел мое отчаянное лицо, успокаивающе кивнул мне и объяснил в трубку, почему не может сейчас уйти с собрания. Закончив разговор, он весело сообщил мне:

— Все в порядке — довод признан убедительным!

Сейфуллина быстро подошла к нему и, дотянувшись смугловатой ручкой до его плеча, сказала нежно:

— Ах, Саша... ты, Саша!

А он, сделав какое-то непередаваемо умиленное и вместе с тем смешливое лицо, ласково прижал к себе ее седеющую голову.

— Вот ведь... в минуту до слез может довести! — шепнула мне Лидия Николаевна и вытерла глаза.

Пока шел этот дружеский, теплый вечер, у меня возник один план. Фадеев недавно вернулся из Англии, был в гостях у Бернарда Шоу — вот бы интересно было послушать его впечатления! В 1931 году, когда Бернард Шоу посетил СССР, в Москве торжественно было отмечено 75-летие выдающегося англий-

ского драматурга. Уж не помню кто — в статье или в выступлении с трибуны — упомянул, что в Собрании сочинений Маркса и Энгельса упоминается имя Бернарда Шоу. Действительно, как потом выяснилось, в издании 1935 года Собрания сочинений Маркса и Энгельса в одном из писем Энгельса начала 80-х годов упоминается среди имен английских литераторов имя Бернарда Шоу как хорошо знакомое. В моей памяти ясно сохранился внешний облик Бернарда Шоу в июле 30-х годов, когда он был у нас в СССР: худощавый, высокий и прямой, как крепкий шест, старик с серебряной сединой, большим лбом и белыми мохнатыми бровями, такими густыми, что виден был не цвет глаз, а искры его взгляда. Мне казалось, что взгляд этого патриарха парадоксов и сатиры — остропамятливый, любопытный, насмешливый и в то же время изучающий всех. Очень интересно было бы пожать руку одному из старейших писателей мира, человеку, которого в дни его литературной молодости знал один из великих учителей международного пролетариата. В чисто воображаемом плане еще хотелось физически ощутить эту руку, взявшую перо еще в 1879 году и как бы запечатлевшую в себе более полстолетия истории прогрессивной литературы Запада. Но, естественно, знаменитый наш гость был так плотно окружен почитателями и интервьюерами, что даже и любопытному человеку не очень просто было приблизиться к нему, например, в Колонном зале, где так оживленно и торжественно отмечалось его 75-летие.

Эти воспоминания (короче воробьиного носа!) о Бернарде Шоу очень естественно вновь пришли мне в голову: совсем недавно А. А. Фадеев как член советской делегации был в гостях у Бернарда Шоу, которому уже пошел девяносто первый год! Как живет сейчас этот старец, вступивший в последний десяток своего столетия?

Пошептались незаметно мы трое — Иван Алексеевич Новиков, Лидия Николаевна Сейфуллина и я — и решили: просить сейчас Фадеева рассказать о встречах с Бернардом Шоу, — пусть с этим обратится Иван

Алексеевич как самый старший из всех присутствующих. Иван Алексеевич заговорил, мы с Лидией Николаевной горячо поддержали, и в зале все до одного подхватили его просьбу. Александр Александрович тут же согласился.

Рассказывал он непринужденно, с хорошим отбором фактов и красок, временами с тонкой иронией, но с неизменной наблюдательностью. Можно было себе представить прежде всего творческое и общественное настроение Бернарда Шоу: как бы ни были порой противоречивы его высказывания, он и девяностолетним стариком оставался все тем же несговорчивым и острым критиком капитализма и империализма и так же сатирически готов был высмеивать «старую добрую Англию», что в изобилии плодит меднолобых и фашиствующих политиков. По рассказу Александра Фадеева легко можно было себе представить наружность Бернарда Шоу на девяносто первом году его жизни, его манеру разговаривать и делиться мыслями с писательским поколением, которое годилось ему в сыновья и внуки, да и к тому же из Советского Союза. По отдельным подробностям можно было вообразить демократическую простоту привычек Бернарда Шоу, его наружность в конце 40-х годов XX века. Рассказ свой Фадеев закончил лирической сценкой, полной неизбежных предчувствий: когда Бернард Шоу, высокий, худой, вышел провожать советских писателей, он ласково махал им большой старческой рукой и кивал белоснежной головой, будто уже прощаясь навсегда.

Осенью того же года мы встретились в санатории «Барвиха»; уже не помню, в связи с чем, зашел разговор об интересных встречах. Сколько их было у Александра Фадеева — какая интересная и многозвучная книга получилась бы из его воспоминаний и дневников!

— Да, в самом деле... — И он начал было перечислять людей, которых отлично знал и с кем сердечно

дружил, потом сбился со счета и шутливо отмахнулся: — Нет, видно, не выйдет из меня мемуариста!

Зато сегодняшний день советской литературы он знал отлично и как никто живо, что называется, в лицах представлял себе ее движение. Однажды после ужина, когда в окна большой гостиной хлестал дождь со снегом, возник интересный разговор о современной литературе. Группа «барвихинцев», как шутя называл Фадеев всех лечащихся в санатории, расположилась вокруг писателя. Недолго поиграли в домино, а потом поочередно начали расспрашивать Фадеева о современных писателях. Он отвечал с серьезной и мягкой непринужденностью. Перечислив не один десяток имен писателей и поэтов, он сжато, но выразительно отметил, чем все эти таланты отличаются один от другого и в чем сходятся. Стихи разных поэтов он обильно цитировал наизусть, явно желая привлечь внимание беседующих как к строю политической мысли, так и к характеру лирического звучания. Кто-то наблюдательно заметил, что в этой импровизированной и глубоко познавательной «передаче» о жизни нашей советской литературы очень выпукло выделяется как бы «одинаковая любовь» писателя к реализму и романтике — так ли это?

Фадеев с задумчивой улыбкой посмотрел на собеседника, словно одобряя его догадку, а потом неторопливо ответил:

— Да, это так, вы верно заметили: реалистическое и романтическое для меня всегда пребывают вместе.

Его просят разъяснить — и вот все слушают его размышления вслух. Они тем более впечатляющи, что, конечно, всем ясно: большой писатель делится с окружающими своими особенно дорогими мыслями, которые, как верная любовь, сопутствуют всегда его творчеству.

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! —

как бы одним вздохом произнес он, глядя влюбленно просиявшими глазами куда-то в необозримую даль.

— Вдумаемся: здесь что ни слово, то в будущее летит, на столетие вперед!.. В реальной жизни, окружавшей Пушкина, торжествовало самодержавие, тьма крепостничества, бесправия, жандармского произвола — вот то сущее, реальное, что он знал и ненавидел. А в поэтических его строках — мечта, желаемое, ожидаемое: взойдет заря. Россия вспрянет, от самовластья останутся обломками, а имена борцов останутся на века. Каков полет мысли и мечты, — вот оно, рожденное на реальной земле романтическое предвидение.

На примерах русской классики он далее показывал, что не бывало в истории литературы, столь острой политически и столь бесстрашно критически вскрывающей правду, как наша русская литература. Вместе со всеми этими ярко отличительными чертами все ее устремления в будущее, все желаемое и мечтаемое в ней всегда окрашено «в страстные цвета романтики». «Стоит обратиться, например, к такому обаятельному образу, героине романа Чернышевского «Что делать?» — Вере Павловне, чтобы ясно представить себе страстную мечту о будущем, о новых людях грядущих времен. Новый герой — борец и созидатель был еще далеко за гранью не только завтрашнего, а и послезавтрашнего дня».

Один из собеседников напомнил: характерно, что Вера Павловна этого героя, как и многих подобных ему, видит только в своих пророческих снах— ему еще предстояло родиться.

Фадеев ласково посмотрел на пожилого человека в очках:

— Вы мне сейчас напомнили. «Что делать?», как известно, было написано в крепости, а в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году его автора сослали на каторгу. А шесть лет спустя в тихом Симбирске родился будущий величайший гений человечества — Владимир Ильич Ленин. Пройдет едва четверть века, и молодой Ленин зачнет новую революционную эпоху. Да, вот так помогала русская литература рыхлить почву для революции.

Когда разговор перешел к современным нашим поэтам, один из собеседников не без сомнения спросил: есть ли черты романтики в творчестве такого «трибунного поэта», как Маяковский?

Фадеев хитровато прищурился:

— А как вы думаете, романтические черты у всех на одну колодку?

И он попеременно прочел несколько строф из Эдуарда Багрицкого, Михаила Светлова и Владимира Маяковского. Читал он просто и как-то задушевно четко, словно взвешивая смысл и звучание каждой поэтической строки. Я была уверена, что каждый слушатель почувствовал и убедился, что романтическая окраска и звучание у всех разные.

Больные, лечившиеся в ту осень в Барвихе, все видели и знали Георгия Михайловича Димитрова. Он был тогда уже серьезно болен. Ему шел шестьдесят шестой год, но не только возраст, а прежде всего страшные испытания провокационного лейпцигского процесса подорвали его здоровье.

После памятного всем нам вечера встречи Георгия Димитрова с советскими писателями в начале весны 1933 года прошло 12 лет, когда мне посчастливилось вновь увидеть его. В июне 1945 года он принял нас, делегацию советских женщин, приглашенных на Первый национальный женский конгресс освобождения Франции. Он дал нам ряд очень важных советов, рассказывая о политической обстановке во Франции и о многих сложностях жизни страны после черной ночи фашистской оккупации.

Тогда Георгий Димитров показался мне сильно постаревшим, только в черных прекрасных глазах его, как и в тот памятный вечер встречи 12 лет назад, горел все тот же глубокий пламень мысли и воли.

Осенью 1947 года Георгий Михайлович неторопливо гулял по барвихинскому парку. Его сопровождали два молодых человека, которые в любой момент могли раздвинуть переносный стул или раскрыть большой зонт. Я видела, как в одной из тихих боковых

аллей Георгий Михайлович присаживался на стул и, оперевшись на палку, глядел на небо и деревья, на птичьи перелеты. Увидев идущую мимо пожилую женщину, он привстал со стула и приветливо поклонился. Как растроганно утверждали врачи и медицинские сестры, наверно, ему вспомнилась в эти минуты его мать Параскева, о которой в свое время узнали честные люди всех стран.

Конечно, в том цветущем и целительном уголке Подмосковья не было человека, который не знал бы Георгия Димитрова. Каждому хотелось поздороваться с великим борцом, сказать ему хотя бы несколько ласковых слов, рожденных в глубинах сердца. Но сопровождающие больного молодые люди приветливого вида строго соблюдали предначертания врачей — оберегать его покой. Потому-то его прогулки и происходили в боковых тихих аллеях, в стороне от «большой прогулочной трассы», как называл кто-то главные круги барвихинского парка.

Отсюда, хотя и не так близко по диагонали, сквозь поредевшую листву виден был краешек боковой аллеи, где под раскидистым, еще ярко-зеленым дубом сидел Георгий Димитров. Черная мягкая шапочка-бескозырка резко оттеняла бледность его лба и щек, седые виски. Опершись на палку скрещенными руками и слегка приподняв голову, он смотрел вверх, на погоже-голубой просвет неба. Взгляд его прекрасных черных глаз был задумчиво-спокоен, — казалось, эта тишина помогала сосредоточенности какой-то внутренней работы.

Фадеев очень внимательно, даже с жадностью смотрел на Димитрова, будто желая навсегда запечатлеть в своей памяти весь облик легендарного героя нашей современности.

— О чем он сейчас думает или вспоминает? — шептал Фадеев, не сводя глаз с Димитрова и как бы даже главным образом говоря с самим собой и закрепляя в себе какие-то исключительно важные размышления.

Вот когда Георгий Димитров позволил, точнее, вынужден был себе позволить отдохнуть в этом чу-

десном парке — после полувекового самоотверженного труда за освобождение рабочего класса. С юности он вступил в борьбу за исконные права трудового народа — и отдал ей всю жизнь, полную высочайшей преданности делу пролетарской революции. Жизнь его — воплощенная поэма пролетарской борьбы, революционной романтики и несгибаемого мужества.

Только представить себе: в 20-х годах палач болгарского народа Панков и фашистское его судилище дважды приговаривали Георгия Димитрова к смертной казни!.. На лейпцигском процессе ему — в третий раз! — угрожал топор фашистского палача. Но и окруженный самыми лютыми врагами человечества, этот борец ни на минуту не поддался страху и дрожи! Какую гордость испытывали прежде всего мы, коммунисты, за этого пламенного и верного сына нашей партии, за этого непреклонного борца за мир, против кровавых военных планов германского фашизма! Недаром миллионы трудящихся всех стран подняли свой грозный голос правды и силы в защиту этого отважного борца! И как же велика была всечеловеческая радость, когда Георгий Димитров, вырванный из кровавых клещей фашистского судилища, вступил на советскую землю!

Когда мы отошли от того места, где в тишине погожей осени отдыхал Георгий Димитров, Александр Александрович воодушевленно и нежно, будто говоря о ком-то родном, сказал:

— Вот кому я желаю поправиться и жить еще долго-долго!.. А какие потрясающие воспоминания мог бы написать Георгий Михайлович, один из замечательнейших людей мира!..

Может быть, он «расфантазировался», но ему представляется, что Георгий Димитров как публицист может описать все хорошо, точно. Напиши он «огненно-разоблачительную, правдивую» книгу, ее читали бы в каждом уголке земли! Борьба с фашизмом продолжается, угрозы миру идут из этого разбойничьего гнезда.

Советская литература 40-х годов, продолжал он далее, свою «жизнеутверждающую линию» выводит

именно «из этого корня борьбы, созидания, защиты мира и счастья человека». Отсюда ее смелость, принципиальность, новаторство. Ее реализм «окрашен как в горячие тона самой современной сегодняшней действительности, так и в мягкие тона глубочайшего лиризма». А романтика, наша социалистическая романтика!.. В начале 20-х годов, когда он начал писать, у него еще не было настоящего понимания романтики, мыслей об органичности ее связей с реалистическим отражением жизни. Позже, под влиянием идей А. М. Горького о будущем, о «третьей действительности», приближаемой всенародным предвидением и активным вмешательством в жизнь, смысл и значение романтики в творчестве писателя-реалиста раскрывались перед ним все шире и глубже. Романтика, то есть «мечта о том, чего еще нет в жизни, но ясно предугадывается ее сущностью — движением вперед», была характернейшей чертой нашей советской молодежи — и пусть всегда она живет в ней!

Много случалось мне слышать интересных и очень содержательных высказываний, речей и докладов о литературе. Однако, следуя давнему убеждению, я всегда считала: никто не говорил о литературе так горячо, влюбленно, оригинально и с таким размахом, как Александр Фадеев. Он анализировал, сопоставлял, сравнивал и обобщал, беря примеры (он называл это «заходами») из русской, западной классики, из произведений наших современных писателей, поэтов, критиков, литературоведов. С такими же «заходами» в творчество разных писателей, увлеченно и точно, с обычной широкой своей начитанностью, говорил он и тогда. Нетрудно было почувствовать в этих высказываниях творческие переживания последних лет: в 1946 году Фадеев закончил роман «Молодая гвардия».

Помню многолюдное собрание однажды вечером в нашем клубе, когда Александр Александрович читал первые главы романа. Появления его ждали, так как все были уверены, что Фадеев обязательно его напишет. После Указа Президиума Верховного Совета о присвоении посмертно звания Героев Советского

Союза руководителям подпольной организации в «Правде» появилась о них взволнованная статья Александра Фадеева. Статья прозвучала как обещание партии и народу.

И вот мы слушаем первые главы романа «Молодая гвардия».

Нельзя было назвать фадеевское чтение артистическим, да он, конечно, об этом и не заботился. Его негромкий теноровый голос и выражение лица показывали другое — и мне казалось, что это-то и создавало атмосферу дружеского тепла и внимания к читающему.

«Да, вот они, кого я полюбил всей душой. Послушайте, что я узнал о них, почувствуйте бессмертный подвиг их жизни!.. А ведь они были юные и любили жизнь так же, как и мы с вами, а не пожалели ее...»

Все заранее знали, что роман завершится смертью героев. Но в тот час, слушая, все отдавались картинам жизни и той полноте впечатления, когда воображение безошибочно постигает и как бы ощущает каждую выпуклость авторской лепки характеров в первые минуты знакомства с героями. Уля Громова с ее детски непосредственным чувством природы, любующаяся чудными лилиями на воде, хотя над ней тревожное небо величайшей в истории войны, — Уля, всей своей расцветающей юностью сама напоминающая лилию, несмотря на то что в описываемое утро в городе взрывают шахты, чтобы не оставить их врагу. И вот другая, ясно, тоже будущая героиня, Любка Шевцова, прелестная отчаянная головушка, провожающая едкими и остроумными насмешками некоторых представителей городского начальства, которые слишком поспешно эвакуируются из Краснодона.

Эти образы двух девушек, живое обобщение чудесной, расцветающей молодости, а также точные и запоминающиеся приметы жизни шахтерского города, куда у всех на глазах врываются страшные и неотвратимые события, вводили слушателя в роман, как в широко распахнутую дверь. Так в жизнь советской литературы входило новое произведение —

роман «Молодая гвардия». Видно было по всему, как ясно все это почувствовали.

После чтения многие подходили к Фадееву, чтобы пожать ему руку и сказать несколько сердечных слов. Я не могла удержаться, тоже подошла к нему. В ответ на мои слова он крепко пожал мою руку и улыбнулся в безмолвной радости, которая сдержанно сияла в его взгляде.

После получения Государственной премии первой степени в 1946 году Фадеев, как известно, выступал на многих читательских конференциях. Однажды, слушая его выступление по радио, я вдруг представила себе, как сам Фадеев относится к своей работе над романом «Молодая гвардия». Слова из его выступления, которые я сейчас привожу, в ту первую минуту, когда я их услышала по радио, почудилось мне, были произнесены с явным подчеркиванием их главного смысла.

«Мне задали вопрос: «Скажите, смотрите ли вы на «Молодую гвардию» как на законченное произведение?»

Не знаю, будете ли вы довольны, но мне, как большинству писателей, придется еще неоднократно возвращаться к «Молодой гвардии» и в той или иной степени ее подправлять. Дело в том, что для вас это произведение уже вышедшее в свет, а стало быть, его можно обсуждать. А для меня это еще совсем не остывший кусок металла, до которого еще нельзя дотронуться рукой, многого еще не вижу. Мне нужно еще некоторое время, чтобы я мог объективным глазом посмотреть на все, и тогда придется с годами некоторые вещи постепенно поправлять, дополнять, вычеркивать» (А. Фадеев, «За тридцать лет», стр. 931).

Какой вывод напрашивался из этого авторского признания? Как ни взыскателен писатель, как ни строг к себе, в художественной ткани произведения обязательно останется что-то от авторских поисков и мучений, что-то в свое время не замеченное или не учтенное автором — ведь творческое горение художника не распределяется как-то арифметически, а по

главным смысловым и живописным линиям выразительности. Потом, когда эта творческая «раскаленность» пройдет, тогда заметнее становятся и те черты, которые в свое время не попали в главное поле зрения. И очень точное фадеевское сравнение нового произведения с куском еще не остывшего металла так же верно отобразит то рабочее настроение потом, когда он «объективным глазом» будет обозревать свое создание — для чего? Чтобы сделать его еще выше, яснее, ближе душе народа. Да и может ли быть иначе, может ли подлинный художник взирать на свое создание холодно-удовлетворенными глазами застывшего довольства? Конечно же нет!.. Не найдется у нас писателя, который при новом издании своей книги не испытывал бы желания править, искать лучшего выражения, сокращать лишнее и т. д. Не найдется в нашей литературе автора, кто новое издание своей книги «выпустил» бы в свет без своего пристального просмотра. У А. А. Фадеева эта черта была очень развита и выпукло отражала его характер. Помнится мне, отвечая на чей-то вопрос, Фадеев сказал, что в работе над романом «Молодая гвардия» у него не было «решительно никакого запаса времени», напротив: он «не только умозрительно», а и будто даже «физически» ощущал, как это суровое военное время «подталкивало» его! Поэтому он лишен был «громадного духовного удовольствия» неторопливо — «например, годами!» — изучать, накапливать материалы. Не потому ли, думалось мне, в самый разгар радости успеха и читательского внимания к вышедшему в свет роману Фадеев, в своей художническом восприятии, сравнивал его с еще не остывшим куском металла, «до которого нельзя еще дотронуться рукой», как говорил он в своем выступлении по радио.

Мне случалось слышать в то время от разных людей после этого выступления А. Фадеева: только художник с глубокой душой может так самокритично выступать перед читателями, несмотря на большой, подлинно всенародный успех романа «Молодая гвардия». Государственная премия первой степени, достойно увенчавшая роман в 1946 году, выдвинула

его в первый ряд как самую знаменитую книгу года. Каждый выступавший тогда на литературные темы, особенно в комсомольской аудитории или вообще среди молодежи, обязательно встречался с самыми заинтересованными вопросами о романе «Молодая гвардия» и его авторе. Роман скоро стал всемирно известным. За сравнительно короткий срок о романе «Молодая гвардия» было столько сказано добрых и восторженных слов, было написано столько заслуженных и глубоко проблемных статей о бессмертных героях «Молодой гвардии», столько читательских конференций и радиопередач прошло об этом романе, успех которого можно было сравнить с сияющей звездой первой величины. И вдруг статья в газете «Культура и жизнь» с абсолютной определенностью заявила, что отмеченный премией первой степени роман «Молодая гвардия» представляет собой, оказывается, далеко не завершенное произведение, которое, страдая недостатками идейного характера, нуждается в серьезной переработке. Все были ошеломлены. Как? В романе «Молодая гвардия» недостаточно показано руководство партии комсомольской подпольной организацией в борьбе против немецко-фашистских оккупантов? Но ведь все, что молодогвардейцы делают для борьбы с врагами, все их думы, героическое бесстрашие и упорство— все вдохновлено великими идеями партии, все от нее воспринято, ею воспитано!.. Вчерашние школьники, очутившись в страшном кольце вражеского окружения, понятно же, не имели возможности пойти, например, в райком партии или вообще в одну из местных партийных организаций, чтобы получить указания, как теперь жить, что делать,— ведь все ушло в подполье! Кто не знал тогда, в самый разгар Великой Отечественной войны, как тысячи бойцов или партизан на фронте всегда среди опасностей и абсолютно непредвиденных обстоятельств действовали правильно, партийно. Им ведь невозможно было, постучав, отворить дверь в райком партии и в сосредоточенной тишине комнаты рассказать о своей заботе и выслушать добрый и нужный совет руководящего товарища — ведь это же все было для нор-

мального, мирного времени! Представлять же руководство партии только так однотипно и прямолинейно — пришел и получил руководящее указание — это значит произвольно сужать те многообразные связи и методы руководства, которыми обладает наша партия.

В своей статье в «Правде» Александр Фадеев, под свежим и чрезвычайно сильным впечатлением всего виденного и слышанного в Краснодоне, писал главным образом о подвиге членов подпольной комсомольской группы «Молодая гвардия». При этом писатель подчеркивал, что для работы над романом он был непосредственно «организован» ЦК ВЛКСМ, которому раньше всего стала известна история молодогвардейского подполья и имена его героев, павших за свободу и счастье нашей родины. Роман «Молодая гвардия» заканчивается перечислением имен пятидесяти шести героев комсомольцев, которые переписал Александр Фадеев с граней временного деревянного обелиска, поставленного на братской могиле юных героев. О них, пятидесяти шести замученных фашистскими злодеями, говорил весь Краснодон — и, естественно, прежде всего о них и узнал Александр Фадеев, к ним и было устремлено все его творческое воображение. «Без преувеличения могу сказать, что писал я о героях Краснодона с большой любовью, отдал роману много крови сердца», — говорил он в своем выступлении перед читателями — студентами московских вузов в 1946 году («За тридцать лет», «Советский писатель», 1957, стр. 929).

Великая Отечественная война показывала неисчислимые примеры беззаветной храбрости наших воинов и высокие морально-политические качества их личности. В самых опасных случаях, даже попав в руки врага, наши молодые бойцы мыслили и поступали так, как учила их партия, их комсомольская совесть. Для меня, читателя, в образе Ивана Федоровича Проценко, деятельного, жизнелюбивого, смелого и высокопринципиального человека, воплощено самое живое влияние партии на краснодонских молодых храбрецов. И ведь опять же не в том дело, в какой

обстановке это партийное влияние осуществлялось,— ведь все привычные условия общения партии с представителями молодого поколения уже исчезли, и жизнь, предельно суровая и смертельно опасная, заставляла общаться, влиять и учить людей в самых неожиданных условиях и обстоятельствах, которых никто не мог предусмотреть... Среди смертельной опасности, окружавшей в Краснодоне вообще каждого человека, такой партийный руководитель, как Иван Федорович Проценко, право, стоил целого десятка, целого райкома партии!.. Убеждена, что любой внимательный читатель так же воспринимал значение образа Ивана Федоровича Проценко в романе «Молодая гвардия». А когда, в завершающей главе романа, мы видим Проценко вновь выходящим на широкую дорогу возрождающейся советской жизни, этот образ тоже словно возрождается у нас на глазах, и все его черты и качества, уже знакомые нам, играют с новой силой и яркостью: да, неиссякаема всегда молодая мощь нашей партии!..

Документы подпольной борьбы, хранимые в партийном областном архиве, и факты, связанные с именами крупных партийных работников, показывают, что в Краснодоне действовала подпольная партийная организация. Краснодонские коммунисты помогли созданию «Молодой гвардии» и руководили ею. Думается также, что художественная и вообще историческая правда подвига молодогвардейцев не могла зависеть от того, сколько именно коммунистов старшего поколения руководило ими: главное ведь заключалось в глубине и типичности выражения. А образ И. Ф. Проценко всегда представлялся мне выразительным, глубоким и типичным для роли старшего идейного и нравственного руководителя молодежи и вообще советского народа в то тяжкое лето сорок второго года. Никогда не возникало у меня и мысли, что молодогвардейцы одиноки или оторваны от партийного руководства и что в силу этого они действуют без нужной уверенности, — нет, напротив: в их смелости всегда видно ясное и целеустремленное понимание событий!

Много лет я знала А. А. Фадеева, исключительно взыскательного художника в работе, особенно в период творческого изучения материала, обдумывания, вживания в образ и т. д. В то время как А. А. Фадеев приехал в Краснодон, партийные архивы, конечно, еще не были разобраны, и писатель многого еще и не мог знать. Любому просто умеющему внимательно вслушиваться было ясно, что Александр Фадеев, несмотря на огромный успех романа, уже готовился («как большинство писателей») «неоднократно возвращаться» к роману, «подправлять», совершенствовать. Эта выраженная вслух готовность еще и дальше работать над новыми изданиями романа особенно ярко показывала, что он был взыскательный художник-труженик в самом лучшем значении этого слова. И наверняка многие писатели, читая ту ошеломившую всех статью в газете «Культура и жизнь», считали, что уж к кому-кому, но к Александру Фадееву можно было обратиться иначе — с бережностью и доверием. Ему можно было бы дать серьезный и дружеский совет — в будущих изданиях романа, например, учесть и тот жизненный материал, которого ранее он еще не знал. Почему же это пожелание не было выражено с той заботой и доверием, которые он вполне заслужил? Никто, наверное, не смог бы тогда ответить на этот вопрос, хотя все и понимали, что все шло от Сталина, делалось по его приказу. Он возвышался над всеми, не сравнимый ни с кем полубог, высший закон над всеми и провидец всего и для всех, высшее проявление свершившейся великой победы над лютым врагом, высшая справедливость, — его власть и значение в ту грозную историческую эпоху выросли, как никогда ранее. Его указаниям должно было только следовать как высшему приказу партии, он один воплощал в себе этот закон. А почему все наивысшее и наимудрейшее было заключено только в нем — мы догадаться не могли. Появление статьи в газете «Культура и жизнь» было одним из бесчисленных проявлений культа личности, смысл и причины которого с великим мужеством и обоснованием открыла нам партия. Но в те годы была совсем иная истори-

ческая обстановка — и А. А. Фадеев поступил как дисциплинированный член партии и создал новую редакцию романа, которая как издание «дополненное и переработанное» вышла в 1951 году. О чем думал, что чувствовал в те дни Александр Фадеев, я могу только предполагать — разговора на эту тему у меня с ним не было. Вообще разговор с ним возникал спокойно и естественно — при встрече в общей работе. Поэтому у меня не осталось тех садняще-горьких воспоминаний, как у тех товарищей, с которыми он общался в минуты своей душевной боли.

Мне случалось встречаться с Александром Александровичем главным образом в общей работе Союза писателей (дома я у него была только однажды), и я привыкла видеть его всегда деятельным и полным готовности взять на себя более трудные и сложные дела. «А это поручить Фадееву», — говорил он в таких случаях. Мне поэтому думалось, что жизнь его скроена хорошо и стройно. Все знали, что А. А. Фадеев бывает у Сталина не только вместе с другими секретарями Союза писателей, но, как генеральный секретарь СП, также и один, по его вызову. Многие, вероятно, полагали, что эти единичные вызовы «наверх», как правило, благоприятны для Фадеева. Прискорбная история со статьей о первом издании романа «Молодая гвардия» поколебала эту уверенность: жизнь Александра Фадеева как руководителя Союза советских писателей стала казаться сложной и тревожной именно из-за того, что Сталин вызывал его к себе.

В начале 1951 года у нас, в Центральном Доме литераторов, а затем в Зале имени Чайковского, прошло два юбилейных вечера, посвященных пятидесятилетию со дня рождения Александра Фадеева. До сих пор приятно вспомнить, как десятки дружеских рук обнимали Фадеева за кулисами Зала имени Чайковского перед началом второго, большого юбилейного вечера, для всей Москвы. Сколько шутливо-сердечных пожеланий еще долгой-долгой жизни — «лет до ста расти» и т. д. — услышал он в тот вечер! Известнейшие советские певцы и мастера сцены

сердечно приветствовали Фадеева и выступали в большом концерте. И концерт тот был особенный, как бы окрашенный в цвета дружеской признательности и глубокого уважения: «Все, мол, это для тебя, дорогой друг, для твоей заслуженной радости и торжества!»

Юбиляр наш выступил с той же речью, что и на чествовании его на вечере в Союзе писателей. Торжественными в этой речи, как клятва на всю жизнь, были слова о служении родине, партии, народу. Остальное, касающееся его личности и работы, выглядело в этой речи самокритически-скромно и озабоченно. Сказав, что он является «автором всего лишь двух законченных произведений», Фадеев сравнил эти книги с какой-то «запевкой».

— Я еще надеюсь спеть свою большую, настоящую песню, — произнес он задумчиво и твердо под аплодисменты всего зала.

— Сейчас я хочу спеть песню о нашей черной металлургии, о нашем советском рабочем классе, о наших рабочих младших и старших поколений, о командирах и организаторах нашей промышленности. Я хочу спеть песню о нашей партии как вдохновляющей и организующей силе нашего общества.

Наверно, многим друзьям Александра Александровича думалось тогда, что сердечное тепло и свет этих вечеров внесли живую радость в его трудную и сложную жизнь. А кроме того, всем было известно о тяжелой болезни, которая заставляла его «выбывать из строя».

Едва Фадеев, возвратившись из больницы, снова появлялся в Союзе писателей, об этом сразу узнавали, заходили в кабинет Фадеева, и не обязательно по делу, многие и просто, что называется, «на огонек». Это был тот ярко видимый и днем огонек дружбы, симпатии и уважения, с которым самые разные люди годами относились к нему.

— Можно к тебе на минутку, Саша?
— Заходи, заходи! Садись, пожалуйста! Ну, как дела, здоровье?

— Да я, собственно, о твоем здоровье и самочувствии...

— Как видишь, опять «отпустило»... Хороша, удобна и тиха больница, но, как говорится, хороша, да не наша! Верно?

И он с силой отмахнулся, будто изгоняя из памяти тихие картины больничных дней, а потом с жизнерадостным и лукавым смешком сказал:

— До того рад бываешь, когда вырвешься из этой отрешенной от всякого волнения тишины, что даже и на это вот кабинетное оборудование, — он обвел рукой вокруг, — приятно взглянуть!

Ну, очень приятно, что его самочувствие улучшилось, пожать ему руку и уйти. Но он непременно спросит, над чем сейчас ты работаешь, давно ли, московская ли тема, сюжет, люди или «вывезена» из поездки и т. д.

Однажды я спросила: неужели он помнит обо всех этих беседах?

Да, конечно, он все помнит, следует только «так уложить это в памяти», чтобы, при необходимости, каждое писательское имя вспоминалось со всеми чертами и особенностями, присущими его «творческой личности и работе». И здесь всякому было чему поучиться у Фадеева: зоркости, памятливости, острой наблюдательности и неуемному интересу к деятельности множества людей. Возможно, к тому же времени относится и его ответ на другой мой вопрос: если это свойство его характера не врожденное, а благоприобретенное, у кого он учился?

— Прежде всего у Горького, — отвечал он. — Очень широка, щедра и многозвучна была душа этого великого и незабываемого человека!

У нас в Союзе писателей СССР в послевоенные годы выросло немало талантливых руководителей, так что в светлых головах недостатка не было. Но Фадеев обладал своими, оригинальными чертами в работе и в подходе к любому начинанию. Он умел быстро и четко нащупать, как самый чувствительный нерв, главную сущность вопроса и предложить решение, убедительное своей ясностью и логичностью. Если

оказалось, что он чего-то недоучел или ошибся, он не медлил самокритически заявить об этом. Он и вообще одобрял, когда любой литератор «не копил в себе груза ошибок, а расправлялся с ними у всех на глазах» и этим помогал общему делу.

Любой непредубежденный человек, в течение многих лет наблюдая работу Александра Александровича как руководителя Союза советских писателей, видел заразительное действие на людей благородных и сильных сторон его личности. Даже те, у кого было что «припомнить» Фадееву (например, за прямоту его критики), поддерживали его предложения и относились к выдвигаемым им планам, как если бы сами выдвигали их. Когда ему приходилось «выбывать из строя», его отсутствие в работе Союза писателей ощущалось во всем. Конечно, общесоюзная работа СП шла как полагается, по плану. Но часто ей недоставало, как говорил П. П. Бажов, той «живинки в деле», того верного проникновения в самую характерную суть вопроса, как это умел чувствовать и понимать Александр Фадеев.

Через несколько месяцев после отъезда А. А. Фадеева на Урал в Москву стали доходить сведения о том, как интересно и упорно он там работает. Собирая материал для нового романа, он деятельно и разносторонне участвует в заводской жизни, знакомится со множеством людей разных поколений и специальностей и, кроме того, очень внимательно изучает вопросы механического перевооружения промышленности. Словом, Александр Фадеев, по всему было ясно, ревностно принялся за выполнение своего обещания на юбилейном вечере: он ведь тогда «по-рабочему» обещал выполнить свою пятилетку за три года. А кто давно знал Фадеева, легко мог себе представить вдохновенно-напряженное творческое состояние, в котором Фадеев «блаженствовал» сейчас на Урале.

Вспоминаются разные черточки виденного и слышанного в литературной среде после опубликования в

журнале «Огонек» первых глав романа «Черная металлургия». Литераторское любопытство, как известно, неудержимо, тем более — к роману, «запевка» о котором была сделана в такой торжественный день. В тесных наших «кулуарах», а сказать проще — в коридорной толкучке нашего (ныне уже старого) клуба раздавались замечания, что-де молодой Фадеев писал совсем иначе и был якобы более непосредственным и т. д. Уже я не помню теперь, кто именно повторил это мнение о Фадееве в его присутствии. Двое других обедающих вступили было в спор с высказанным сравнением (как писал молодой Фадеев и т. д.) и стали приводить убедительные и положительные примеры из «Черной металлургии», которые приятно было бы слушать автору. Но Фадеев перенес свое и общее внимание на высказанные ему упреки, так как, объяснил он, в них затрагивается общая для многих проблема.

— Молодой Фадеев или кто другой... и тот же писатель, вступивший в пору старости... разве можно между ними ставить знак равенства?.. Молодой Фадеев, например, тогда еще начинающий писатель, шел от своего первого боевого опыта и сравнительно небольшого коллектива людей. К этому добавить: страна была исключительно бедна, голодна, разорена. Писатель мыслил тогда в масштабах возможностей этой встающей на ноги, предельно измученной страны. А данный писатель, достигший пятидесяти лет, мыслит масштабами страны, познавшей колоссальный политический и хозяйственный опыт, увенчанной славой всемирно-исторической победы... А каких высот развития достигла наша промышленность, наш рабочий класс, наша техническая интеллигенция! Сколько поколений нашего народа ковали мощь нашей социалистической индустрии, ее техники, ее кадров!.. Да ведь уже не те кадры, что были у нас тридцать лет назад... и проникнуть в их жизнь, в их душу, познать их бытие можно только мерой и разумом сегодняшнего дня — и только так, товарищи!.. Значит, при чем же тут «непосредственность» нашей молодости? Она же ничего подобного не знала, — так к чему же это

смещение во времени? По-моему, оно только запутывает объективную оценку любого произведения. Ну, а что касается конкретных замечаний по вопросам языка и вообще мастерства, их каждый серьезный автор должен выслушать... и уж если спорить, так по существу его творческого опыта и художественного выражения...

Этим опытом, как мне казалось, Фадеев очень дорожил и любил свое новое произведение и его героев так же горячо, как и героев «Молодой гвардии».

Однажды в ноябрьский вечер, после одного юбилейного торжественного заседания, выйдя из подъезда Московской консерватории, я увидела высокую фигуру Фадеева. Подняв воротник, он проходил вдоль ряда машин и вглядывался в их номера: его машины еще нет. Я предложила подвезти его домой на моей машине. Сели, поехали.

На вопрос о здоровье он ответил с досадливой усмешкой:

— Ни шатко ни валко... опять отпустило. Задай мне такой вопрос лет двадцать пять назад, то-то бы я посмеялся...

Оказывается, самое сносное для его болезни время — вторая половина лета и начало осени, когда есть арбузы — сок их хорошо действует «на эту проклятую печень». Теперь, когда в его работу постоянно «вторгается болезнь», у него появилось «обостренное» чувство времени: нужно, нужно торопиться, напрягать все свои духовные и физические силы — жизнь «страшно коротка!». Главная его мечта — «спеть обещанную песню», закончить с честью «Черную металлургию».

Лучше и легче всего было перевести разговор на самое для него дорогое дело. Отвечая на мои вопросы, Фадеев рассказал, что за несколько месяцев, проведенных им на Урале, он познакомился с замечательными людьми, которых душевно полюбил. Инженеры с широким кругозором ученого и рабочие — «типично новаторские умы» и смелые, инициативные характеры. Многие заводские люди, с которыми он подружился, обладают не только редкостным общественным и пси-

хологическим чутьем, партийным опытом и подлинно государственным разумом, но и удивительным пониманием особенностей, например, писательской профессии. Он рассказал, как бригадиры или мастера с исключительным вниманием и заботой — «как практики!» — советовали писателю, что́ из сообщенного ими существенно по смыслу и потому необходимо и что «можно из дела исключить». Лишний раз он мог убедиться, как «зорки и взвешенны нравственные критерии нашего рабочего класса». Никто, например, не советовал писателю: изображайте, мол, побольше дряни и всяких прорух, чтобы их «вытащить за ушко да на солнышко...». Нет, корректива была иная: лучше показать, «как настоящие люди дрянь одолевают». «Как с круга спиться» — такое всегда легче показать, чем «красоту душевную, как ее воспитать, взрастить и на всю жизнь сохранить».

Не в том сила нашего общества, говорили писателю уральцы, чтобы побольше было «благополучно-серых» людей, а в том наша сила и слава, что «очень разные по характеру и способностям люди совершают общее дело с братски-одинаковым сознанием» его важности и нужности для народа. Пусть вот это и показывает наша литература, и, значит, «пусть книга не мучит, а учит».

— Да, загадай этим характерам две-три пятилетки подряд, — заключил Фадеев, — они удивляться не станут, а тут же примутся «планировать»... Вот говорим мы: обобщение, обобщение, — раздумчиво продолжал он, — а в каких именно людях, явлениях и событиях ты его увидел и насколько мастерски воплотил в живых образах? А ведь есть еще проверка жизнью, тем естественным окружением, где проходит жизнь и труд твоих героев, или их прототипов, или тех событий и характерных черт, которые и помогли тебе найти это обобщение?.. Да, все это у меня было, как попутный ветер! — И он даже засмеялся, наверно вспомнив что-то приятное.

Даже в полутьме машины видно было, как поблескивали его глаза, а голос звучал таким молодым упорством и веселой надеждой.

— Но работа еще предстоит большая, — сказал он, помолчав, и вдруг спросил меня, что я думаю о «Черной металлургии». Отметив некоторые второстепенные подробности и кое-какие мелочи, которые, помоему, не соответствовали общей настроенности прочитанного, я передала свои впечатления о главном. Представляя себе картину, когда тысячи людей утром идут на завод, я вспомнила художественное воплощение картины заводского труда в произведениях разных авторов нашего и прошлого века. Вспомнился мне «Молох» Куприна, повесть о ненасытном и беспощадном Молохе капиталистической промышленности, пожирающем человеческий труд и жизнь людей, и позицию талантливого автора, видавшего в рабочей массе только стихийное начало; вспомнились скорбные лица с гравюр Кете Кольвиц. Проходили в памяти и безысходно-мрачные картины шахтерской жизни и в «Жерминале» Золя, картины жизни рабочей бедноты со всем тем, что было в них от выдающегося таланта писателя и от его мелкобуржуазного реформизма и биологических страстей натуралистического романа. А особенно вспомнились мне офорты Брэнгвина, произведения которого выставлялись в то время у нас в Москве. Бесконечно выразительными казались мне его офорты, литографии и акварели, где он изображал монументальные сооружения индустрии и торжество техники, грандиозные мосты, вокзалы, общественные здания, доки, огромные остовы будущих кораблей — и все это в окружении плотных человеческих масс, долгие годы они казались мне понятными и убедительными. Но вот под впечатлением картины обычного рабочего утра, когда сотни людей идут на завод, как это изображено в первой главе нового романа Фадеева, мне снова и как-то совсем иначе вспомнились плотные человеческие массы Брэнгвина. Мне вдруг пришла в голову мысль, никогда не появлявшаяся раньше, — об одной несомненной слабости крупного таланта Брэнгвина. Да, творения человеческого труда выглядят на его офортах мощно и величаво. Но посмотрите на рабочие толпы у Брэнгвина среди индустриального пейзажа, — что мы запоми-

наем об этих людях? Напряжение их тел и мускулов? Что можно узнать о людях, лица которых выписаны бледнее всего другого и не отмечены ни единой индивидуальной черточкой, которая хотя бы в скромной мере подталкивала воображение зрителя? Вспомнились мне однообразные повороты фигур на офортах и так вяло намеченные лица, будто художник вообще ничего не знал о них, о безымянных создателях великолепных зданий, которые так впечатляюще изобразил на своих офортах и акварелях. Он видит людей как бы только логически, но это не созидатели, а только исполнители чужих приказов, чужой воли и богатой фантазии того, кто неизмеримо выше и значимее их всех, вместе взятых. Эта слабость в творчестве Брэнгвина, большого мастера индустриального офорта, раскрылась мне именно в то время, когда я читала страницы «Черной металлургии», посвященные обыкновенному шествию рабочих на свой завод. Как все они зримы: ни одного слабо или почти условно намеченного лица, все лица полны жизни и движения. Кого из них ни возьми — старого рабочего, молодую или пожилую женщину, или совсем юную девушку, молодого человека самого цветущего комсомольского возраста, — каждый из них по-своему приметен. Каждый запоминается как-то внешне — наружностью, голосом, походкой, манерой говорить и думать вслух вместе с другими. Каждого идущего окружает воздух эпохи в его же собственной биографии. Некоторые из этих биографий — людей, много испытавших, — вмещают в себе боль и горечь утрат, разочарований, несбывшихся надежд, вылеплены сильной и верной рукой. Другие, только начинающие свой жизненный путь, запоминаются как весенняя строка, спетая одним дыханием; иные напоминают легкий рисунок акварелью. В чем секрет этого разностороннего освещения, откуда оно? От разносторонности знания. Здесь автор много знает о своих героях и каждого видит как личность, как двигателя и творца жизни. Здесь художник слова видит мощь индустриального пейзажа не только вещно, материально, а и в личности каждого из этих его верных работников и сози-

дателей. «Черная металлургия», хребет ее — вот эти люди, кто утром, а кто к ночи шагающие к заводским корпусам. Каждый шаг по дороге жизни связан прежде всего с их свободным трудом, с их хозяйской заботой о громадном народном деле. Что будет дальше с ними, покажут мне, читателю, сотни страниц, которые мне предстоит еще прочесть. Когда роман будет закончен, многие старые товарищи Александра Фадеева (и я также) будут на собраниях и в печати говорить об этом большом эпическом произведении.

Фадеев слушал, не прерывал. Временами при свете уличных фонарей я видела оживленный взгляд его глаз.

— Если бы речь шла не о романе Фадеева, а кого-то другого, — наконец сказал он, лукаво усмехнувшись, — я бы полностью одобрил эту исходную точку. Но так как я автор, лицо заинтересованное, то я могу только благодарить старых друзей за их сердечную заботу о будущем моего романа. Эх-х, как хочется работать, работать!..

Еще бы, подумалось мне в ту минуту, ведь это твоя «большая, настоящая песня»!

Но смерть помешала Александру Фадееву допеть эту песню...

Иногда говорят, что воспоминания пишутся легко. Нет, это трудоемкая, а порой и мучительная работа. В молодости мы абсолютно уверены в силе и свежести нашей памяти, которая, как мы наивно воображаем, должна нерушимо сохранить все. А память, как потом оказывается, зыбка, словно волна морская, и столько уносит вместе с прожитым временем, что ты и не замечаешь, в какие неведомые дали скрылись из памяти воспоминания о многих людях и событиях. Поэтому воспоминания никак нельзя представить себе в виде плавно расстилающегося свитка, — нет, они, конечно, не расстилаются, а — лепятся потом одно к другому, по кирпичику.

Вспоминаем мы об ушедших не для себя (воспо-

минатели сами не вечны), а для молодых и будущих поколений, которые будут учиться и духовно расти, пользуясь ценностями социалистической мысли и культуры, созданными замечательными людьми нашей родины.

Много лет назад, когда ни о каких воспоминаниях я не думала, мне доводилось слышать мнения о значении воспоминаний как о собрании личных, «интимных» подробностей о жизни знаменитого человека. Приходилось нам и читать такого рода «интимные» воспоминания, например, о выдающихся советских поэтах. Не имея возможности в пределах данной темы останавливаться на мемуарно-«интимной» литературе, скажу только: очень горестно и обидно читать эти «одомашненные» воспоминания о дорогих советской литературе талантах! Как на дне перевернутого бинокля, видятся нам крошечные фигурки, окруженные столь же мелкой бытовой суетой. Родные, друзья дома и другое домашнее их окружение, единственное в своем роде, как они себе представляют, живописуют бытие ушедшего как некое духовное творение, принадлежащее прежде всего им, родным, друзьям и знакомым, которые якобы лучше и тоньше, чем кто бы то ни было в целом свете, знали и понимали ушедшую жизнь. Но жизнь, как известно, опровергает все эти произвольные суждения. Тот, чье творчество внесло свой ценный вклад в духовное бытие родного народа, принадлежит не только своей семье и близким, но и всему обществу. Все созданное им уже обладает своей самостоятельной жизнью, которая может продолжаться века, перешагнув все временные рубежи, предоставляемые человеку природой. В этом вторичном бытии в сокровищнице духовных ценностей родной культуры и заключается непреходящая ценность ушедшей жизни человека.

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Да, мы опускаем все случайное, наносное, преходящее, помня о главном — прекрасном мире творчества.

Пусть жила жизни глубока,
Алмаз горит издалека.

Александр Фадеев, как человек и писатель социалистической эпохи, обладал этой «глубокой жилой жизни», многогранно связанной с бытием советской литературы, народа, родины, с великими делами нашей партии. У него было заслуженно много друзей, и, как один из них, я посвящаю его светлой памяти страницы этих воспоминаний.

1962





ПЕВЕЦ РОДНОЙ БЕЛАРУСИ

Осенью 1915 года, для какой-то семинарской работы просматривая за несколько лет журнал «Современный мир», я прочла в нем статью А. М. Горького «О писателях-самоучках». В горьковской статье было приведено стихотворение молодого поэта Янки Купалы «А кто там идет». Эти стихи привлекли к себе внимание, естественно, прежде всего потому, что перевел их на русский язык Максим Горький и рассказал о творческом пути белорусского поэта.

В очень небольшом по объему стихотворении Янки Купалы белорусы идут, чтобы показать миру «свою кривду», свою бесправную, темную и нищую жизнь. А чего они хотят, белорусы? «Людьми зваться». И эта строка изумила своей эпической сжатостью. Помнится, обсуждая со своими курсовыми коллегами это замечательное стихотворение, я признавалась, что оно принесло, например для меня, новые мысли об эпическом начале. Привычно представлять себе все эпическое как-то широко, пространственно, величаво. А у Янки Купалы кратчайшая фраза

из двух слов: «Людьми зваться», — но какие горизонты она открывает, как ясно и пластично видятся за ней эти идущие вперед белорусы!..

Тогда мне просто и в голову не могло прийти, что приблизительно через полтора десятка лет я познакомлюсь с автором этого стихотворения.

Произошло это на одном из литературных собраний в начале 30-х годов. Разговор наш с Иваном Доминиковичем Купалой начался сразу непринужденно, как это и бывает, когда писатели впервые пожали друг другу руки после того, как не однажды встречались на страницах книг и журналов.

Хотя Янке Купале было тогда уже за пятьдесят, глядел он бодро и моложаво подтянуто. Но в его сдержанно-мягкой улыбке из-под русых, чуть обвисших усов, во взгляде светлых глаз, в глуховатом голосе чувствовались отзвуки не то какой-то давней печали, не то неразлучного с ним поэтического раздумья.

Разумеется, из скупых сведений «Литературной энциклопедии» тех лет мне было известно, что юные и молодые годы Янки Купалы прошли в тяжелом труде, в скитаниях и безработице.

Вскоре, как-то к слову, в связи с пережитым в те годы, Иван Доминикович сказал с суровой иронией:

— Мы, кто из народа вышел, всего хлебнули, всего повидали: пана в жупане да с кнутом, урядника с нагайкой...

— Царского цензора с его беспощадным карандашом, — добавила я и сказала, что слышала когда-то историю о первой его книге «Жалейка», тираж которой был конфискован царской цензурой.

— Да... это было испытание воли... воли к творчеству... — задумчиво произнес Купала.

Конечно, извещение о конфискации всего тиража поразило его, молодого тогда поэта.

— Ведь и название-то было такое тихое... «Жалейка»... Пожалеть, мол, надо народ, тяжко ему живется... и, значит, понимай — «крамольное» то было чувство, оттого и прихлопнули...

Кто-то из молодых поэтов, явно желая продол-

жить разговор, попросил «подробнее осветить, как был пережит этот удар», то есть конфискация книги.

Иван Доминикович с той же грустновато-мягкой улыбкой, будто вспомнив свои крутые тропы, каких и не мог себе представить этот юноша, неторопливо повторил:

— Как это было пережито? Достойным образом. Мне все-таки было тогда двадцать шесть лет, и я понимал, с кем имел дело.

— Но душевные страдания, обманутые надежды, оскорбленное самолюбие? — настаивал юноша на каком-то своем толковании.

— Да разве дело в самолюбии и прочем? Ведь об этом вы говорите? — усмехнулся Купала. — Надо было тогда не просто держаться усилием воли, но главное— гореть убеждением...

— В силе поэзии? В ее красоте? — пылко спросил юноша.

— Я не о том... — спокойно отвел Купала прервавший его мысль вопрос. — Надо было быть убежденным, что ты своей поэзией отстаиваешь борьбу и надежды народа...

Иван Доминикович еще раз взглянул на нетерпеливого юношу и добавил:

— Только при таком убеждении поэзия и сам поэт будут иметь настоящую силу...

На Первом съезде советских писателей мы с Иваном Доминиковичем могли часто обмениваться впечатлениями. Тот первый наш писательский съезд был по-своему незабываем. А. М. Горький открыл его как подлинный глава русской и всей многонациональной советской литературы. В обширном и многогранно проблемном докладе он широко осветил пути развития советской литературы, говорил о ее подлинно эпохальных идейно-художественных задачах.

Во время горьковского доклада лицо Янки Купалы выражало не только естественный и общий для всех интерес, оно еще и как-то особенно светилось. Временами он смотрел на Горького, как бы отдаваясь воспоминаниям и видя в горьковском лице что-то близкое и знакомое только ему, Купале.

Мне представлялось, что характеру Янки Купалы более всего свойственна сдержанность, застенчивость, а порой и стремление помолчать. Но на съезде Купала словно помолодел, был оживлен, разговорчив. Растроганный, любовался он стройным и звонкоголосым шествием пионерской делегации, которая пришла в Колонный зал приветствовать писателей.

В те дни строилась первая линия московского метро. Прямо из шахты (где-то под нами) поднялась в Колонный зал делегация рабочих Метростроя, в брезентовой прозодежде, в рабочих касках, некоторые с отбойными молотками и шахтерскими лампами, «бравый, могучий народ, покорители земных глубин», как назвал их Купала. Он громко рукоплескал им и вслух восторгался трудом людей, которые первые — «за миллионы лет, подумать только!» — проникли в древние пласты Земли.

Осенью 1935 года мне довелось вместе с Иваном Доминиковичем побывать в Чехословакии. В то время это была буржуазно-демократическая республика, заключившая с СССР (в мае 1935 года) договор о взаимной помощи. Вначале чехословацкие писатели и журналисты приехали в СССР, а осенью мы, советская делегация, отправились с ответным визитом [1].

Когда советская делегация во главе с Михаилом Кольцовым вышла на площадь перед вокзалом, народные толпы встретили ее россыпями цветов, гулом дружеских приветствий: «Наздар! Наздар!» — и такими же горячими восклицаниями: «Мир! Мир!»

На другой день утром мы стояли на балконе гостиницы «Амбассадор» и любовались Прагой. Осенний ветерок развевал над балконом алые советские и бело-сине-красные чехословацкие флаги как зримые знаки дружбы двух народов.

Идущие на работу пражане приветствовали нас, а мы их теми же, что и накануне, словами: «Наздар!» и «Мир, мир!»

---

[1] Об этом путешествии уже давно иаписаиа целая книга, здесь же я только подчеркиваю моменты, связаииые с воспоминаниями о Яике Купале.

Украинский писатель Иван Кондратьевич Микитенко, веселый и крепкий человек лет под сорок, громко откликался на приветствия всех и вслух восторгался «златой Прагой». Иван Доминикович, кланяясь то влево, то вправо, внимательно вглядывался в проходящих перед нами людей и приветствовал их своей грустновато-задумчивой улыбкой.

Иван Микитенко наконец заметил это несходство настроений и спросил у Купалы, отчего он «такой сумный»?

— Я не сумный, — просто ответил Купала. — Я только вижу, что больше всего народ хочет мира, а сам встревожен, беды от врага боится... А враг не так уж далеко.

Микитенко проводил взглядом жест Купалы, указывающий в сторону Рудных гор, и заметно помрачнел.

— Д-да... действительно, в той стороне фашистская солдатня марширует... а Гитлер разбойничьи планы строит...

В те годы германский фашизм «со взломом вошел в историю» и уже показал свою бандитскую, кровавую сущность: разбойничий пожар рейхстага, процесс Георгия Димитрова, концентрационные лагеря с пытками и топором палача, еврейские погромы со всеми проявлениями самого разнузданного расизма.

И недаром мне тогда, в Праге, вспомнились зловещие впечатления, вынесенные мной за время короткого пребывания в Берлине: летом того же года, возвращаясь из Парижа после Первого Всемирного конгресса в защиту культуры, я воочию увидела, как выглядит столица гитлеровского рейха, фашистский Берлин, который, по меткому замечанию М. Е. Салтыкова-Щедрина, обращенному к Берлину бисмарковской эпохи, словно каждого «готов обидеть». Берлину летом 1935 года, думалось мне, уже мало было «каждого обидеть» или в бараний рог согнуть, — этот фашистский Берлин угрожал всем честным мирным людям и всех хотел сделать своими рабами, а если не покорятся — уничтожить.

— Да, страшная черная банда захватила власть

в центре Европы, — сурово сказал Иван Доминикович. — Если вовремя не преградить ей дорогу, если не обуздать этот разбой среди бела дня, — будет кровь и огонь!.. Реки крови и огня!..

Он резко вздрогнул, и его доброе лицо так помрачнело, что жизнерадостно настроенный Иван Микитенко принялся «рассеивать» общее суровое настроение, уверяя, что «пока эта черная банда одна», что «есть в Европе люди, которые найдут средство ее обуздать и скрутить как следует!».

— Есть, есть кому бороться с коричневой чумой! — повторял Микитенко...

И в ту погожую осень 1935 года наши друзья чехи пока еще в тоне язвительной иронии говорили о Генлейне, возглавлявшем так называемую судето-немецкую партию, агентуру Гитлера в Чехословакии. Честные патриоты презирали и высмеивали Генлейна, показывая нам, гостям, залихватские лозунги и надписи на стенах домов. Но как ни остроумны были эти шутки по адресу судето-немецкой партии и ее профашистских планов, отсюда было еще далеко до понимания прямой, нависшей над страной опасности. У себя дома мы ясно осознавали опасность фашизма для мира и жизни. Почему же — часто говорили мы между собой — наши добрые и внимательные друзья-хозяева будто и не спешат проникнуться этим осознанием опасности?

— Потому что они еще верят в силу буржуазной демократии, — сказал Янка Купала. — Они еще уверены, что эта демократия что-то может спасти и предотвратить... — и безнадежно махнул рукой.

Но какие бы мысли ни тревожили нас, мы были в гостях, и день каждого члена делегации был расписан с утра до самого ужина. Мы побывали в разных районах страны, видели более десятка городов, обозревали большие заводы, фабрики, музеи, театры, картинные галереи, слушали народные хоры, любовались национальными танцами и деревенскими пейзажами.

Особенно нравились Купале сады и огороды.

— Земля-то как разделана, как чудесно ухоже-

на! — вслух восторгался он, вызывая довольные улыбки любезных хозяев. Его восхищали ровные пучки зелени на грядках, курчавые стенки гороха и хмеля, ровные, чистые тропки между грядами. Он любовался белоногими яблонями, отягощенными румяными и золотистыми плодами, с похвалой отзывался о выполотых садовых дорожках и особенно хвалил «чистый, что твое блюдо» земляной круг под каждой яблоней, охранявший ее «от всяких врагов». Кто-то из сопровождающих нас друзей спросил, откуда у Янки Купалы, «большого столичного поэта», такое пристальное внимание к сельскому хозяйству и вообще к крестьянской жизни?

Он улыбнулся мягко и терпеливо, словно отвечая на детский вопрос:

— Откуда? Так я же в деревне родился, мужицкую нужду и печальную жизнь сызмала знаю... И только вот теперь наши люди на земле свет увидели... и еще как хорошо себя покажут.

Но мне показалось, что во всех его отзывах был еще и какой-то подтекст: например, в том, как он хвалил чистоту, которая охраняет плоды «от всяких врагов», мне чудилось напоминание людям об опасности, неучитываемой, а то и просто незамечаемой.

Когда наша делегация посетила спортивное общество «Сокол», Иван Доминикович вместе со всеми аплодировал мастерству сокольской молодежи. Один молодой чехословацкий журналист, наверное сам страстный спортсмен, то и дело спрашивал поэта, как нравятся ему разнообразные гимнастические упражнения. Иван Доминикович неизменно отвечал «прекрасно», «чудесно». Журналист заметил, что вот такая «сокольская сила и красота» дает человеку зарядку уж по крайней мере на семьдесят — восемьдесят лет. Янка Купала посмотрел на смеющееся молодое лицо и, помедлив, ответил, что «насчет зарядки» он полностью согласен, а «насчет всего прочего ручаться трудно». Журналист так и расцвел улыбкой, очевидно опустив вторую половину высказанного, а Купала, конечно, это заметил...

Накануне отъезда из Чехословакии в холле гости-

ницы, как обычно бывало по вечерам, я просматривала газеты и журналы. Мое внимание привлек рисунок в одном иллюстрированном французском журнале: светлой штриховкой была изображена на нем карта Чехословакии, напоминающая своими очертаниями изогнутый стручок гороха, а этот стручок окружала непроницаемо-черная тьма, и ее очертания напоминали хищно разинутую волчью пасть. На каждой из ее сторон белыми буквами были обозначены названия стран — соседей Чехословакии. Легко можно было понять, какими представлялись эти страны художнику — автору сего мрачно-сатирического рисунка. Эти соседи — германские, польские, австрийские, венгерские фашисты. Не вообще народы, а именно черные пасти фашизма. Не народы, а именно бандитские шайки фашистских палачей, самых лютых поджигателей войны, — вот кто, по замыслу художника, черными волчьими клещами зажал Чехословакию. Кажется, еще немного — и беспощадные волчьи клыки, сомкнувшись, вонзятся в тело маленькой страны в сердце Европы.

За размышлениями над этим мрачным рисунком застал меня Янка Купала, тоже пришедший просмотреть газеты.

— Неожиданного тут, конечно, ничего нет, — заговорил Иван Доминикович, в озабоченном раздумье смотря на рисунок. — Мы все примерно представляем себе так называемую «логику» фашизма: съем, мол, всех, кто возле меня, а потом — и еще дальше. Что говорить, опасность чехословацкому народу грозит большая!..

На другой день, уже стоя у окна вагона и обмениваясь с Янкой Купалой впечатлениями от поездки в Чехословакию, мы снова вернулись к вчерашнему разговору. Мы вспоминали все виденное и слышанное в этой маленькой стране.

— Дай-ка этому народу дорогу пошире, он еще как себя покажет! — воодушевленно сказал Янка Купала, но тут же тяжело вздохнул: — Вот, побыли в гостях, хозяева добрые нас встречали, а в гостях у них — о них сердце болит!

В начале 1936 года Янка Купала послал мне свою новую книжку стихов «Песня будаўніцтву». На заглавной странице несколько сердечных строк и слова: «На память о поездке в Чехословакию».

Вскоре, приехав на очередной пленум Союза писателей в Минск, я снова встретилась с поэтом.

Не помню названия улицы, где жил Я. Купала [1], вспоминается лишь старый дом [2] с высокими узковатыми окнами, как строили во второй половине прошлого века. Высокие старые деревья, чернея в сумеречный час, глухо шумели от ветра.

В кабинете было тепло, тихо и несколько сумрачно; Янка Купала приветливо встретил меня и спросил, была ли я в домике I съезда РСДРП. Рассказав ему о своих впечатлениях от посещения исторического домика, я передала и тот общий разговор, который завязался у других посетителей с пани Констанцией [3], которая оказалась именно такой, как он мне и описал ее.

— Да, да!.. Ее не смутишь! — довольно и ласково усмехнулся он. — Что меня больше всего трогает в таких людях, так это их простая душевная преданность общественному служению, в котором они видят неотъемлемую часть своей жизни.

Разговор коснулся прочитанной мной книги стихов «Песня будаўніцтву» и связанных с ней мыслей. Вначале Иван Доминикович полушутливо похвалил:

— Умиляюсь, когда прозаик так сердечно читает стихи поэта!

Я ответила, что прозаик, не читающий и вообще не любящий стихов, не может чувствовать и всей глубины и силы смиренной прозы.

Потом Янка Купала заговорил о родной природе, о своей любви к ней, «тихой, скромной и волшебной». Это был подлинно лирический экспромт, непринужденное смешение стихов, прозы, народных при

---

[1] Улица Кастрычніцкая (Октябрьская).

[2] На месте этого дома, сожженного в годы войны, построен Литературный музей Я. Купалы.

[3] Работник домика-музея, отлично помнившая и старый Минск и обстоятельства, в которых прошел съезд.

сказок и песен. Он говорил о своей гордости родной Беларусью, свободной, растущей страной, на землю которой, мы надеялись, никто не посмеет ступить и нарушить ее мирный труд.

Да, все-таки, как и миллионы честных людей нашей планеты, мы не могли даже отдаленно предполагать, какие неслыханно страшные события ожидают нашу родину впереди, какая борьба предстоит нам всем за ее свободу и будущее. Но несколько лет спустя мы вновь встретились уже в прифронтовой Москве...

Приехав с Урала в июне 1942 года, я на другой же день увидела Янку Купалу в Союзе писателей.

В те грозные дни редко кто вслух удивлялся: «Ах, как вы изменились!» — наивно и совсем ни к чему было это замечать: все изменились, пожелтели, похудели, до времени постарели.

И на Иване Доминиковиче его темный костюм сидел более чем мешковато, появилась и в движениях какая-то медлительность. В русых волосах поблескивала седина, лицо осунулось, резкие морщины пролегли на лбу, вдоль щек, в уголках рта, вокруг запавших глаз, только во взгляде их светилась знакомая задумчиво-мудрая улыбка.

Иван Доминикович несколькими днями раньше меня приехал из Казани.

— А о работе друзей мы знаем со страниц «Правды», и как хорошо, что черная беда не сломила людей, наша родная литература и на фронтах бьется, и в тылу работает, — говорил он с удовлетворением.

Я рассказала, что его стихотворение «Белорусским партизанам», созданное в грозную осень сорок первого года, стало широко известным. Мне доводилось слышать его в артистическом исполнении по радио, с эстрады, слышала я и как читали его наши раненые бойцы в госпитале.

— Бойцы? — живо переспросил он. — Расскажите, очень прошу, как это было?

Я рассказала об одном большом госпитале в

Свердловске, где мне случалось бывать довольно часто. Тогда вообще многие писатели шефствовали над разными госпиталями, помогали раненым. Работы хватало: читать вслух газеты и книги, писать письма, а то и просто надо было посидеть, поговорить душевно, помочь утишить боль и печаль, послушать рассказы о пережитом и передуманном. Среди выздоравливающих оказалось немало любителей поэзии, которые просто талантливо декламировали наизусть стихи «Белорусским партизанам».

Помня о новых поколениях читателей, которые только по рассказам старших знают о тяжелейших годах Великой Отечественной войны, хочу привести несколько строк этого страстного, боевого стихотворения Янки Купалы в переводе Мих. Голодного.

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны!
Вас зову я на победу.
Пусть вам светят счастья дни!
Сбейте спесь у людоедов, —
Вашних пуль в лесу отведав,
Потеряют спесь они...

Помнилось мне, как эта воодушевленная декламация иногда сопровождалась хоровым повтором последней из приведенных мной строк, а также и завершающей строфы:

Мы от нечисти очистим
Землю, воду, небеса,
Не увидеть псам-фашистам,
Как цветут под небом чистым
Наши нивы и леса!

Мне казалось в те минуты, рассказывала я Ивану Доминиковичу, что, повторяя эти слова непоколебимой веры в грядущую победу, раненые даже забывали о своей боли и страданиях.

По выражению лица Янки Купалы я видела, что

он ясно себе представляет картины созвучных его поэзии дум и чувств его читателей.

— Передайте им всем спасибо от всего сердца! — сказал Купала растроганным голосом и добавил, что эти стихи «сразу пошли по адресу» — к белорусским партизанам.

Кто-то незнакомый мне подошел к Янке Купале и спросил о своей семье, тоже эвакуированной в Казань. Иван Доминикович ответил, что все в знакомой ему семье здоровы и бодры. Когда спрашивавший отошел, Янка Купала заговорил о Казани и о Волге.

— Прекрасная, величавая река... Пейзажи чудесные... а закаты и восходы над этими просторами — красота какая!.. Теплоходы плывут, как гигантские лебеди, — залюбуешься!.. — рассказывал он и вдруг смущенно усмехнулся: — А ты вспоминаешь, например, нашу скромную Свислочь или Птичь... вспомнишь какой-то лесок с болотцем, тропинку в поле... Родные места вспомнишь, где жизнь прошла... ну и...

— Увидите, все увидите, дорогой Иван Доминикович!

Он улыбнулся, чуть-чуть потаенно, будто в ответ каким-то своим заветным, глубинным мыслям, а потом тихо сказал:

— Скорей бы только...

Несколько дней спустя я увидела, что эта мечта: «Скорей бы только!» — всегда жила в душе Янки Купалы вместе с тоской и болью за родную страну.

Москва летом 1942 года была прифронтовым городом. И где бы вы ни находились, суровое, исторически ответственное время всюду напоминало о себе. У нас, в клубе писателей, было необычно людно, шумно, и большинство посетителей были наши военные писатели. Посуровевшие, загоревшие лица, поседевшие волосы. Всего около года прошло, а люди постарели сильнее, чем за десятки лет. Но все-таки это было время уже после великого разгрома вражеских полчищ под Москвой, и уверенность в будущем, внутренняя собранность чувствовалась решительно в каждом человеке.

Писатели, военные корреспонденты и редакторы фронтовых газет приезжали в Москву запросто, на попутных машинах, — фронт ведь был еще недалеко. Выполняя в Москве поручения фронта, литераторы не могли не зайти к себе, в Союз писателей. «Живая газета» поэтому работала очень действенно; всюду обменивались самыми свежими новостями, делились разного рода прогнозами — где и как в ближайшем будущем развернутся события на фронтах. Чаще всего говорилось об одном из ближайших к Москве — о Белорусском фронте. Оживленно комментируя сводки Совинформбюро, наши фронтовики, естественно зная более окружающих, высказывали разные предположения, но вместо еще не опубликованных в сводках названий городов и сел часто употребляли буквенные обозначения: пункт «А» и «Б» и т. д. Вокруг беседующих сразу собирались люди. Так, среди слушателей я однажды увидела и Янку Купалу. На лице его выражались глубочайшее волнение и самое напряженное внимание, а взгляд, казалось, был устремлен к тем местам, о которых шла речь. Рассказывали, как помогают фронту успешные действия белорусских партизан. Наряду с уже известными по сводкам Совинформбюро пунктами были названы и другие: «пункт «В»... «пункт «О»...

— Витебск, Орша! — вдруг одним дыханием произнес Янка Купала, и лицо его вспыхнуло взволнованным румянцем.

Все оглянулись, и кто-то осторожно сказал:

— Нет, Иван Доминикович, это просто условные обозначения... Витебск и Орша еще впереди.

.Янка Купала вздрогнул, понимающе кивнул, румянец его мгновенно погас, лицо осунулось, а глаза потемнели как бы от приступа жесточайшей тоски и боли. Его душевное состояние было понятно всем. Никто из беседующих больше не назвал ни одной буквы, да и беседа вскоре закончилась.

Я видела, как Янка Купала отошел к окну и некоторое время стоял, глядя на улицу...

Как и многим людям, мне всегда доставляло душевную радость говорить с Иваном Доминиковичем,

но в тот день лучше было оставить его одного, с самим собой: человек сильной и глубокой души так скорее успокоится.

Прошло еще день-два, и я, внутренне радуясь, увидела его спокойное лицо. Поздоровавшись, я шутливо одобрила его бодрый вид, светло-серый костюм, да еще с бутоньеркой в петлице. Каждому бы, право, в преддверии шестидесятилетия так выглядеть!..

— Стараемся, стараемся! — в тон шутке ответил он.

Всем было уже известно, что 7 июля 1942 года Союз писателей готовился торжественно отметить шестидесятилетие Янки Купалы, и я напомнила поэту о готовящемся в честь его празднике.

— Это не так уж обязательно... Да и время какое... — мягко возразил он.

День был прекрасный, и после обеда Иван Доминикович предложил пройтись. Жил он тогда в гостинице «Москва», на строительстве которой в свое время мне доводилось бывать в связи с одной моей работой в 30-х годах. Возможно, с этого воспоминания и начался наш разговор о творческих замыслах, о будущих планах. Я спросила, не думает ли он издать свою публицистику военных лет вместе с такими подлинно эпическими стихами-призывами, как «Белорусским партизанам» и другие.

— А почему вместе? — спросил он, улыбаясь. — Публицистика и стихи?

Публицистика поэта, считала я, особенно с таким многогранным поэтическим охватом народной жизни, как у Янки Купалы, объединяет глубоким внутренним родством образности и смысла «смиренную прозу» и напевную поэтическую речь.

— Что же, возможно... — сказал он задумчиво и стал рассказывать, что у него благодаря многим встречам с партизанами уже накоплен огромный жизненный материал о борьбе народных мстителей и всего белорусского народа против ненавистных фашистских палачей. На этом «богатом грунте», как выразился Янка Купала, «есть из чего родиться и взрасти» и поэмам.

— Словом, вы в пути, Иван Доминикович! И какая широкая, великолепная дорога творчества еще ждет вас!

— Да, я это чувствую и знаю, — сказал он просто, как о чем-то твердо решенном. — Как ни тяжело бывает на душе, а творческая мысль и чувство сильнее боли сердца!..

Неторопливо дошли мы до Тверского бульвара. Час затемнения был еще далеко, а в небо уже поднялись аэростаты заграждения.

— Зеленый слон, зеленый слон! — кричали ребятишки-дошкольники и звонко хлопали в ладоши.

— Вот, возьмите-ка эту публику! — засмеялся Иван Доминикович. — Для них эти заграждения просто «зеленые слоны»!.. Только эти «слоны» в памяти у них и останутся! Смотрите, сколько здесь ребятишек... и сколько в них счастья! — оживленно и ласково говорил он. Какой-то карапуз, заглядевшись на него, залепетал что-то на своем непередаваемом сказочном языке. Янка Купала снова засмеялся, поднял ребенка на воздух, ловко покрутил, поцеловал и бережно опустил на землю.

Вскоре мы расстались, пожав друг другу руки. Я пошла в свою сторону, унося в памяти эту полную жизни и света картину — мудрый старый поэт, поднявший над собой смеющегося ребенка. Я и не подозревала, что последний раз видела великого сына Белоруссии...

Смерть его 28 июня 1942 года всем, кто знал его, показалась такой неожиданной, что трудно было поверить — нет с нами Янки Купалы!..

Теперь, через двадцать лет после этой скорбной даты, радостно знать, что бытие истинной поэзии, жизнь поэтической мечты, жизнь слова Янки Купалы не ограничены сроками — они устремлены далеко в века.

1962





ДРУЖБА НЕ СТАРИТСЯ

В начале 20-х годов в альманахе «Наши дни» (приложение к журналу «Красная новь») я увидела повесть Юрия Либединского «Неделя». Имя автора мне было неизвестно, но название повести заинтересовало меня. Очевидно, где-то произошли события, наверняка значительные, и всего за неделю что-то изменилось в жизни героев...

В тот же вечер, не отрываясь, я прочла повесть. Она мне показалась ясной, развивающейся быстро и действенно. Это впечатление создавалось как картинами жизни, так и характерами героев, с которыми автор познакомил нас в трагические дни их борьбы за молодую советскую власть.

Был у нас в Барнаульской совпартшколе неписаный закон: если ты прочел хорошую книгу, увидел интересный фильм или спектакль, обязательно расскажи об этом товарищам!.. Большинство курсантов были недавние молодые бойцы Красной Армии, участники гражданской войны, подлинное поколение Николая Островского, как мы сказали бы теперь. Преобладали среди этой боевой молодежи характеры целеустремленные, романтические и вместе с тем практически

трезвые и страстно любопытные ко всему новому, что они всегда без устали готовы были постигать. Любая комната поэтому быстро превращалась в уголок своеобразного клуба, где часто происходили интереснейшие разговоры.

На другой же день я рассказала о повести Либединского курсантам, и альманах «Наши дни» «заходил» по рукам.

Не один десяток произведений был обсужден с курсантами школы, и, признаться, мы, тогда молодые коммунисты, сами очень увлекались этими беседами о литературе. Повести Юрия Либединского «Неделя», по единодушному мнению, «повезло» больше всех. Сжатость и целеустремленность, точный и ясный язык, яркость характеристик, вся ее наполненность жизнью придавали повести ту хорошую доступность, которая в просторечии называется доходчивостью. А когда образы художественного произведения доходят до сердца, читателю, естественно, хочется все знать об авторе, тем более о современнике.

Автор, конечно, молод — это чувствуется во всем. Автор глубоко знает среду и характеры своих героев — в этом нет ни малейшего сомнения. Но где живет Юрий Либединский, как он выглядит, есть ли у него еще произведения, кроме повести «Неделя», — об этом никто из нас ничего не знал.

В те годы я уже печаталась в губернской газете и в журнале «Сибирские огни», поэтому знакомые у меня спрашивали, «что нового на литературном фронте». Однажды, когда я, отвечая на вопрос, стала рассказывать о «Неделе» Юрия Либединского, незнакомый мне товарищ, присоединившись к беседе, оживленно подхватил:

— Юрий Либединский?.. Да я же его видел!

Оказалось, в том полку Красной Армии, что некоторое время находился в Барнауле, был комиссар Юрий Либединский. Он, как запомнил его наш собеседник, молодой человек, что называется «крепыш», низенький, широкоплечий, румяный, на светловолосой голове слегка торчит «этакий, знаете, симпатичный бе-

локуренький хохолок», глаза — «кажется, серые, веселые...».

Описание не заключало в себе ничего такого, чему бы нельзя было поверить. Я передала его нашей читательской аудитории, всем оно понравилось, а облик молодого писателя, этого «крепыша комиссара», стал нам душевно еще ближе. Естественно, это представление о внешнем облике Юрия Либединского в течение нескольких лет так и оставалось в моей памяти, пока я лично не познакомилась с Юрием Николаевичем. Это было в очень памятное для меня лето 1927 года, когда по вызову Гослитиздата (Госиздата, как называли его тогда) я приехала в Москву. Вначале, во время ожидания в Гослите, я познакомилась с А. Серафимовичем, потом с А. Фадеевым. В связи с нашим разговором о моем романе «Лесозавод» (работа над которым уже близилась к концу) Александр Александрович сказал: глава из романа, напечатанная ранее в журнале «Октябрь», дает ему основание полагать, что роман будет напечатан в журнале полностью [1]. Об этом мне позвонит Юрий Либединский, с ним я и должна договориться обо всем... Надо ли рассказывать, как я обрадовалась этому сообщению.

Вечером в «Лоскутке» меня вызвали к телефону. Мне сразу понравился голос Юрия Либединского, мягко-неторопливый, с интонациями дружеского внимания и доброты. Я записала адрес и назавтра в назначенный час позвонила у дверей его квартиры. Мне отворил высокий курчавый брюнет, одетый, как и А. Фадеев, в черную кавказскую рубашку с узким кожаным поясом с серебряными насечками и, как тогда называли, в щегольских «командирских» сапогах, да и выправка у него была военная. Все это я успела заметить в те первые секунды поразившего меня изумления, когда я ожидала встретить низенького румяного «крепыша».

Заметив мой ошарашенно-недоверчивый взгляд, Либединский с добрым смешком посочувствовал:

---

[1] Роман «Лесозавод» впервые был напечатан в журнале «Октябрь» в 1928 году (№ 1—6).

— Да что случилось?

Тут я и рассказала о некоей «барнаульской легенде» по поводу того, как выглядит в жизни писатель Юрий Либединский. После того как мы вдоволь посмеялись над «барнаульской легендой», я не могла не рассказать о читательских обсуждениях «Недели», которые происходили в совпартшколе. Либединский слушал с глубоким вниманием, потом оживленно расспрашивал, — видно было по всему, как его радовало читательское понимание и горячее одобрение. Он также был рад показать мне только что вышедший первый том его собрания сочинений, которое выпускало издательство «ЗИФ» («Земля и фабрика»). Первый том, содержавший три повести — «Неделя», «Завтра» и «Комиссары», объединенные общим названием «Коммунисты», он тут же надписал и подарил мне.

Когда я сейчас, более чем тридцать три года спустя, смотрю на эту надпись: «Товарищу по работе и борьбе в пролетарской литературе», мне вспоминаются сложные и противоречивые отношения между писателями тех лет.

Юрию Николаевичу уже был известен мой разговор накануне с Александром Фадеевым о том, что я хочу вступить в Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Он это решение одобрил, но заметил, что, само собой разумеется, его, как и других писателей-коммунистов, в каждом новом литературном имени интересует прежде всего талант, направленность творчества, его проблематика, чувство современности в душе художника. Я ответила, что и я считаю последнее самым главным, а мое решение определяется не только желанием быть членом данной литературной организации, а еще и другими принципиальными соображениями: я убеждена, что в сложностях писательской практики очень помогает общей работе также определенность позиции — с кем ты, за кого и что поддерживаешь, кому доверяешь. Я вступаю в РАПП прежде всего потому, что там Александр Фадеев, Александр Серафимович, Юрий Либединский, что там работал Дмитрий Фурманов.

Либединский кивнул с улыбкой: да, с этим «внутренним обоснованием» он вполне согласен.

В те годы уже появились статьи и сборники на тему «как мы пишем». Среди писательских высказываний встречались и такие, в которых нелепость анекдота смешивалась с мистикой. Представители декадентско-формалистских школок прошлого описывали творческую работу писателя как своего рода «наитие», якобы таинственно и непонятно озаряющее вдохновение индивида, ниспосланное чуть ли не потусторонними силами. Творческая работа писателя, являющаяся для художника-реалиста непрерывным обогащением связанного с жизнью сознания и целеустремленного воображения, — для декадента просто непонятная величина с отрицательным знаком.

Говоря о сложностях и противоречиях литературной обстановки, Юрий Николаевич упомянул также о декадентских и эстетско-формалистских «теорийках» и остроумно привел несколько примеров явно комического свойства, убедительно показывающих полнейшую непригодность такого «наития».

В беседе я как-то призналась, что мне больше всего хочется услышать, как он работал над повестью «Неделя»; это произведение отмечено глубоким лиризмом, и даже картины трагической гибели отряда революционных борцов не нарушили его мужественно-оптимистического звучания. Хотелось знать и о жизненных истоках, о людях и событиях действительности, которые дали художнику драгоценный материал для типического обобщения. А кроме того, меня интересовала связь жизненного материала с биографией автора.

Юрий Либединский с шутливой покорностью развел руками:

— Вижу, вижу... придется рассказать!.. Но все-таки это получится далеко не подробно.

— Почему?

Потому, разъяснил он, что «у нас, молодых, жизнь вся устремлена вперед, в будущее», а то, «что осталось у нас за плечами», необычайно быстро уходит все дальше, а многое даже и забывается.

Он стал рассказывать и в самом деле сжато и да-

же скупо. При этом он подчеркивал, что факты его личной биографии тех лет «растворяются» в общей борьбе, что для него сейчас они «уже пройденный этап». Но тем не менее я в те минуты представляла себе юного Юрия Либединского, сына врача из Челябинска, еще с гимназических лет отдавшего свои силы и душу Великой Октябрьской революции. Рассказывая о своей работе в редакции газеты, о боевых днях в Пятой армии, он главным образом описывал события, в которых участвовало много людей и он в их числе. Хотя их фамилий и названий никогда не виданных мной городов и деревень запомнить было невозможно, все же картина жизни молодого коммуниста, будущего писателя, даже и «растворенная» среди других, представилась мне именно такой биографией художника, тем неповторимым бытием, которое и вдохнуло жизнь в художественные образы современников.

Но любопытно: долгие годы прошли, а эта молодая биография одного из зачинателей советской литературы, Юрия Либединского, вовсе не «растворилась» и не забылась и сохранила в себе, — конечно, не первозданно, как при первом своем появлении, — ту свежесть и глубину воссоздания пережитого, которое всегда напоминает нам: в человеке, а в художнике особенно, живет его время, эпоха.

В 1928 году мы всей семьей уже переехали в Москву. Однажды после какого-то заседания, когда мы шли по улице, Юрий Николаевич вдруг полушутя спросил, «как поживает» у меня на полке подаренный им первый том его собрания сочинений, то есть прочла ли я повести «Комиссары» и «Завтра».

— Интересно бы знать твое впечатление, — продолжал он тем подкупающе мягким голосом, на который хотелось ответить только добрыми, радующими душу словами. А этих слов у меня была только половина: о повести «Комиссары» — да, о повести «Завтра» — нет и нет...

С первых же страниц ее на меня будто пахнуло совсем иным настроением, чем со страниц повестей

«Неделя» и «Комиссары». Мне казалось, что ни один образ современника в этой повести не может помочь читателю в познании новой, сложной и противоречивой полосы развития — новой экономической политики. «Накипь нэпа», как говорили тогда, конечно, производила своими соблазнами отрицательное воздействие на морально неустойчивых и не развитых политически людей. Были, как известно, и преданные революции люди, которые считали нэп «отступлением», «ошибкой» и сами потом очень болезненно изживали эти заблуждения. Но также известно, что решающую и подлинно созидательную работу проводили те коммунисты, которые глубоко восприняли великое предвидение Ленина, что «отступаем» мы для того, чтобы сильнее потом «разбежаться», и что из «России нэповской будет Россия социалистическая».

Повесть «Завтра» (она написана в 1922—1923 годах) напомнила мне полотно, которое художник щедро насытил пестротой красок и быстротой движения. В ней действительно много было бесконечных неурядиц и всяческих гримас быта, любовных драм и приключений, нездоровой напряженности в отношениях между коммунистами, больных сомнений, путаной философии — и во всем чувствовалась какая-то духота, словно люди то и дело попадают в болото пошлости и безысходности. Любой образ будто размывался самой манерой письма. Это была так называемая «рваная», или «рубленая», фраза, напоминающая символистско-декадентскую. В искусственной динамике все виделось смутно, произвольно, а порой и просто ложно. А главное — повесть представляла собой нечто чуждое творческой природе таланта Юрия Лебидинского, его характеру и жизнепониманию.

Но как высказать все это Юрию Либединскому — автору «Недели», столь ценимому мною?.. И тут мне вспомнилась недавняя беседа в Госиздате по поводу включения моей повести «Берега» в состав второго издания, в тогдашнее мое собрание сочинений. Я рассказала Юрию Николаевичу, как удивлен был товарищ из Госиздата моим решительным отказом переиздать эту повесть в числе других моих книг. Появи-

лась еще одна «спасительная» мысль, как показалось мне тогда: вот я раскритикую свои, уже разлюбленные «Берега», в которых тоже показано время нэпа, а потом выскажу все, что думаю о повести «Завтра».

Вначале Юрий Николаевич с задумчивым вниманием следил за моим «разносом» «Берегов» — филиппикой по адресу основного героя, развития сюжета, психологических мотивировок и т. д. Потом, когда я перешла к еще более ожесточенной критике языка повести, стал временами кивать в знак согласия, а кое-где, пытаясь полушутливо смягчить мои высказывания, сделал два-три коротких замечания: «языковые срывы» в наше время часто происходят от неудачных поисков более соответствующей революционной эпохе «динамики языка». Тогда я сказала, что в поименованной повести и в одном из моих рассказов вот именно такую ошибку я и сделала, приняв «рубленую» прозу за динамику внутреннего выражения.

Либединский заметил:

— Впрочем, это чувство непримиримости мне абсолютно понятно. А что касается динамичности выражения, то она, конечно, не во внешнем рисунке фразы, а вся внутри — в устремленности, очень органичной... и во всем, во всем...

Либединский широко и вольно махнул рукой, юношески мечтательная улыбка осветила его лицо.

— Знаешь, я много думал обо всем этом... а также и о том, что без поисков, особенно в искусстве слова, обойтись невозможно — и в этом ведь всегда есть и элемент проверки своих сил. Однако бывают и трудные поиски, с ними неизбежны потери, ошибки, просчеты.

Он взглянул на мои еще пылающие от волнения щеки, понимающе улыбнулся, подумал с минуту и вдруг спросил:

— А ты заметила, что в первом моем томе, где все три повести собраны вместе, следует в конце краткое авторское послесловие? Там сказано о повести «Завтра» буквально так: я, автор, считаю эту повесть отходом от идеологической линии пролетарской литературы и от ее основного творческого метода. Помнишь,

кроме слов об уже «пройденном этапе», который представляют эти повести, в послесловии еще была просьба автора о том, чтобы читатели откликнулись своей критикой на недочеты моей работы... и вообще о том, что читателя не удовлетворяет в моем творчестве... как видишь, я сам напрашивался и всегда готов выслушать критику — она поможет моей работе. Помнишь?

Еще бы не вспомнить, особенно сейчас, когда я боялась огорчить Либединского дружескими замечаниями!.. А он, оказывается, сам «напрашивался» на критику, его творческая душа всегда была открыта для нее. Да, ему было интересно проверять себя, искать, открывать...

А в те годы поисков и споров было в преизбытке. Какой должна быть рожденная Великой Октябрьской революцией советская литература; по каким идейно-творческим законам строится художественное произведение; как осмысливается образ, сюжет; что является подлинно марксистским анализом? Поэзия, проза, драматургия, литературоведение — все требовало ответа, обсуждений, стремилось выйти на верную дорогу революционного творческого метода. Споры и борьба с «переверзевщиной», с «воронщиной», с «литфронтом» и т. д. — для этого неустанного кипения и невероятной траты времени, нервов, сил, право, нужна была прежде всего молодость.

В конце 20-х годов литературные организации перебрались из тесных коридоров и комнат в Доме Герцена на улицу Воровского, в так называемый «дом Ростовых», принадлежавший в половине прошлого века графу Соллогубу, автору «Тарантаса». Московские предания рассказывают, будто именно этот графский дом описал Лев Толстой в эпопее «Война и мир». Мы еще застали в этом ампирном доме порядком облупившуюся настенную живопись, возможно, крепостных мастеров, и низковатый танцевальный зал, который стал местом писательских собраний. На маленькой тесной эстраде в этом зале произошла первая встреча советских писателей с М. Горьким, после его приезда в СССР, в этом зале мы прощались с великим советским поэтом Владимиром Маяковским. Теперь на ме-

сте этого зала обычные учрежденческие комнаты, но мне этот бывший танцевальный зал «дома Ростовых» до сих пор помнится в дни горячих литературных дискуссий.

...Зал битком набит: главные и приглашенные участники дискуссии, то есть самые заинтересованные и поэтому самые бурнопламенные, — кто для защиты, а кто... яростно против, серьезные слушатели, писатели, поэты, критики, а кое-кто и просто любопытные — о чем, мол, сегодня спор, шум и драка?.. Ведь в те годы драчливость, в фигуральном смысле, была по-своему естественна. Диалектический материализм, провозглашенный «основным творческим методом» пролетарской литературы, о чем заявлялось всюду и по всякому поводу, как это позже стало абсолютно понятно, был формулой не литературно-художественного, а философского значения. Но тогда мы, писатели-коммунисты, да и вся организация пролетарской литературы этот инструмент научно-философского исследования пытались прикладывать искусственно к специфическому процессу художественного творчества, писательского воображения, создания обобщенных образов.

Однажды после одного такого «драчливого» заседания Либединский спросил меня, почему я не выступаю по проблемам диалектического материализма. Видя его добрый, дружеский взгляд, я откровенно сказала: возможно, потому, что гораздо естественнее в нашей среде конкретно спорить о художественном произведении, о характерах и поступках героев, об авторской живописной палитре, о языке и т. д. Само собой разумеется, наш святой партийный долг разоблачать враждебно-меньшевистские вылазки в литературоведении, но ведь конкретный разбор идейно-художественной ценности романа, повести или поэмы можно по-настоящему сделать только с помощью тех же средств, то есть оценок художественности и мастерства.

А вместо этого — рационалистические рассуждения по поводу того, насколько диалектична позиция автора. Я даже довольно сумрачно пошутила, что такому «диалектику» мне вовсе не хочется подражать.

Либединский слушал меня, лукаво прищуривая то

правый, то левый глаз; лицо его понимающе улыбалось: он, как и А. Фадеев, знал, о каком «диалектике» я говорю. То был деятель, только организационно (как «генеральный секретарь») связанный с литературой и не имевший никакого отношения к художественному творчеству. Это был, несомненно, человек острого, но слишком «основополагающего» ума, как кто-то выразился о Леопольде Авербахе. Публицист, агитатор, он стремился всех организовать на определенной, «пролетарской основе», как он говорил. Правильно понимая, что в литературе тоже по-своему шла классовая борьба, Авербах, на мой взгляд, представлял это слишком прямолинейно, не желая понять ее специфики. Мировоззренческие споры (да еще между писателями старшего поколения и нами, молодыми) преломлялись по-своему: в стилевых особенностях, в манере письма, в авторском освещении образов и событий, в построении и выборе сюжета, в проблематике, языке и т. д. Но Л. Авербах как «диалектик» нетерпеливо желал действовать «организованным» путем. Упрощая, он, сам того не замечая, нередко просто администрировал и этим часто восстанавливал людей против себя.

— А как думаешь, — вдруг спросил Либединский каким-то иным, будто освеженным голосом, — случайно я, как говорится, на народе размышляю вслух о «непосредственных впечатлениях»? И сколько же по этому поводу шишек падает на мою голову!

И действительно... Вот переполненный зал в Союзе писателей, тесная эстрадка, а там, опершись локтем на фанерную трибуну, выступает молодой Юрий Либединский. По его адресу раздаются довольно колкие вопросы, броские замечания, резкие выкрики. Временами он приостанавливает свою неторопливую, но увлеченную речь, спокойно оглядывает зал и ровным, даже рассудительным тоном напоминает что-нибудь вроде: «Право, напрасно, товарищи, вы так волнуетесь — вы меня не собьете, что я считаю нужным, то я обязательно выскажу».

Теперь, более тридцати лет спустя, конечно, невозможно по памяти воспроизвести выступления Юрия Либединского на тему о «непосредственных впечатле-

ниях». Даже трудно вспомнить, когда именно (в конце 1928 или в начале 1929 года) и на каких именно собраниях или пленумах шел об этом разговор. Невозможно также восстановить, как чередовались в выступлениях Либединского размышления и доказательства в пользу того, какое значение для искусства имеют «непосредственные впечатления» человека.

Помнится только, Либединский не скрывал, что термин «непосредственные впечатления» он нашел у Белинского. Известно, что в познании человеческом Белинский отводил своеобразную роль «непосредственным впечатлениям». В закабаленных крепостническим рабством крестьянских массах, в темном океане безграмотности и всяческого бесправия народных масс великий русский критик мог увидеть только тонкий слой культурно и политически развитых людей, которые при помощи науки, искусства и собственного разума могли познавать бытие общества и представлять в обобщенном виде свои переживания и наблюдения. Преобладающему большинству населения России XIX века оставалось главным образом познавать жизнь своим непосредственным опытом, своими непосредственными впечатлениями, неизбежно ограниченными теми возможностями, которые предоставляла сама жизнь, скажем, разночинцу, то есть незнатному человеку без богатства и влияния в тех сферах, которые назывались одним в те времена всеобъемлющим словом «свет», «в свете».

Мне казалось, что термин «непосредственные впечатления» Либединский толковал по-своему, очень расширительно, придавая ему иное, свое значение. Но с другой стороны, как марксист, Либединский не мог не знать, что и в непосредственном впечатлении есть свое опосредствование и что представления людей о разных сторонах жизни, даже беря их в самом будничном, житейском выражении, у всех бесконечно разны. При этом невольно преуменьшалась роль мировоззрения, значение художественной типизации. Меня очень занимал вопрос: зачем же все-таки, взяв термин у Белинского, писатель наших дней толкует его гораздо шире, чем его толковали в середине XIX века?

Оставалось думать, что в термин «непосредственные впечатления» Либединский вкладывал какой-то свой, особый смысл.

Однажды, как раз в тот момент, когда шел спор о «непосредственных впечатлениях», в зале рядом со мной сидела писательница Любовь Копылова [1]. С большим интересом слушая и наблюдая, она потом сказала мне:

— Ну! Не позавидуешь Юрию Либединскому! Талантливый художник вдруг взвалил себе на плечи эту теоретическую тяготу и должен теперь выслушивать все эти нападки и наскоки... и сколько же у него терпения и выдержки при этом... просто удивительно!.. Одно могу сказать: такое делает писатель даже очень неспроста. Он не только убежден — ему, знаете, настоятельно, творчески нужно и важно пройти через все эти размышления и переживания, чтобы двигаться дальше!

Когда в журнале «Октябрь» появился новый роман Юрия Либединского «Рождение героя», мне как читателю после первых страниц стало ясно, что он не доставит творческой радости автору.

Помню, сначала словно зримо бросились в глаза яркие и сочные мазки описаний — розовые тона девичьего тела, жемчужная прозрачность мыльных пузырей и пышной пены, блики солнца — это молодая хорошенькая Люба с наслаждением умывается. Она переполнена детской радостью своей молодости, в ней столько бездумно-плотского, интимно-женского, что невольно вспомнились головки Ренуара. Ренуаровский тип, понятно, вспомнился мне как одно из ближайших — что называется, под рукой — сравнений чисто внешнего характера. Но потом оказалось, что Люба, в которую влюбился пожилой коммунист Шорохов, действительно самое настоящее порождение мещанства. Все, что она как жена Шорохова делает для своей семьи, объективно идет не на пользу и радость Шоро-

---

[1] Автор талантливых произведений «Розовый хутор», «Первое стихотворение», «Одеяло из лоскутьев» и др. Умерла в конце 30-х годов.

хову, а против него. Шорохов борется с противоречивыми явлениями жизни, против «эндкуненщины» с ее тенденциями приукрашивания и лакировки действительности, но сильного героя, ведущего за собой умы современников, в образе Шорохова не получилось, хотя в романе было немало призывов мыслить и поступать согласно... диалектическому материализму.

Роман критиковали шумно и беспощадно. Помнится мне, например, темпераментный Всеволод Вишневский, который, резко критикуя роман, приводил также отрицательные отзывы балтийских моряков о романе и со свойственной ему полемической образностью передавал, чем именно были «разъярены братишки». Конечно, это прежде всего были «семейные» картины и образ Любы, о которой моряки, по описаниям Вишневского, отзывались с такой откровенной ненавистью, словно и в действительности знали, видели ее и готовы были с неистребимым возмущением ее обличать. За многие годы впоследствии не приходилось ощущать мне такой раскаленной атмосферы, как на обсуждении романа «Рождение героя». Не припомню я также и такой выдержки, с какой автор выслушивал все упреки и обвинения.

Характеру Либединского была свойственна здравая и честная объективность по отношению к самому себе. Всегда присутствовало в нем и такое же здравое понимание, что развитие молодой советской литературы представляет собой явление невиданное и очень сложное, еще «укладывающееся», как, например, «укладывается» молодое море в новые берега, созданные велением и рукой человека. Конечно, Либединский понимал, что само осознание всего своеобразия, значения и многогранности сил, составляющих эту качественно новую литературу, тоже сложный и многосторонний процесс.

Уже не помню, при каких обстоятельствах, — помню только, что было это до исторического постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, — Либединский сказал по поводу сложности литературной обстановки:

— Может быть, пройдет всего несколько лет, и мы,

оглянувшись назад, скажем себе, что мы многого не понимали. Может быть, мы даже признаемся потом, что слишком много брали на себя, пытаясь все объяснить тем методом, в который мы верили. А может быть, появится и другой творческий метод, которому мы еще не в силах найти названия...

Едва ли кто знал тогда, что большой общий разговор о новом, подлинно творческом методе не группы, а всей советской литературы состоится гораздо раньше.

Просматривая стенограммы первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября — 3 ноября 1932 года) [1], как бы вновь переживаешь то подлинное оживление, которое наступило в литературе после исторического постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. От постановления до первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей прошло полгода, но за это время многое было переговорено и передумано в писательской среде Советского Союза.

На первом многолюдном собрании советских писателей Либединский, как один из руководителей группы «На литпосту», обязан был принципиально высказаться по вопросам недавнего раздельного существования разных писательских организаций.

Он сразу взял верный тон спокойного и методологически взвешенного размышления. Он делился со всеми тем, что продумал и пережил сам за это время. Он осудил как «абстрактно-схоластические упражнения» старые рассуждения в пользу «диалектико-материалистического художественного метода». Эти абстракции уводили писателей в сторону от основных вопросов «художественного мастерства». ЦК партии «со своей исторической вышки» по-ленински последовательно указал подлинный стиль и метод нашей литературы — социалистический реализм. «Именно этот стиль выделяет советскую литературу в мировой литературе как нечто своеобразное и особенное...» — говорил Либединский, и слова его были приняты этим

---

[1] «Советская литература на новом этапе», сб. статей. М. — Л., ГИХЛ, 1934.

первым многолюдным писательским собранием как достойные доверия и уважения.

Другой на месте Либединского, осудив прошлые рассуждения о творческом методе как схоластику и абстракцию, возможно, взял бы тон или покаянного признания ошибок, или неумеренной радости по поводу этого раскаяния, или полного забвения ошибок прошлого. Из-за «абстрактно-схоластических упражнений» теоретики так называемой «ведущей» литературной организации пролетарских писателей «прозевали» важнейшее для искусства явление — метод социалистического реализма, у истоков которого стояло творчество М. Горького. Не надуманная, на основе «диалектико-материалистической абстракции и схоластики», а правдивая, на основе исторической конкретности, картина действительности — вот какого отражения в искусстве требует подлинно современный метод социалистического реализма. Этот метод, как настойчиво и убежденно говорил Либединский, требует конкретности подхода к явлениям жизни, понимания направленности движения. Правдиво прозвучало у Либединского требование «радикального изменения методов работы», требование решительно убрать с пути все, что напоминало бы бывшую рапповскую групповщину и всякого рода «монопольное» начало как в руководстве, так и в общении «широчайших» кругов писателей между собой.

«Вот я, товарищи, помню одну вещь своей политической работы в армии, — особо подчеркнуто говорил Либединский. — У нас установка была такая: плох тот командир, который в любой момент не может быть рядовым бойцом»[1].

Правдиво признался Либединский и в том, что бывшие рапповские кадры еще «далеко не в блестящем состоянии», что даже «первые люди» той бывшей «ведущей» организации испытывают сейчас «растерянность», но в будущем покажет все работа. А работа писателя — это книги. Свою речь он закончил именно таким обещанием — «ответить книжкой».

---

[1] Стенограмма, стр. 168.

Некоторое время спустя после первого пленума Оргкомитета я сказала Либединскому, что упоминание на пленуме имени М. Горького, который стоял у истоков социалистического реализма, провозвестника будущей революционной бури, напомнило мне кое-какие случаи в годы моего детства, и вот один из них. В наш губернский город на Урале приехал некий столичный артист, который читал с эстрады «Песнь о Буревестнике». Рассказывали, что особенно горячо публика аплодировала словам: «Буря! Скоро грянет буря!» и «Пусть сильнее грянет буря!» А после концерта губернские чины по «охране порядка» приказали артисту в двадцать четыре часа выехать из города.

— О, еще бы! — усмехнулся Юрий Николаевич. — Все «чины» такого сорта, понятно, не знали, как это назвать, но своим полицейским чутьем понимали, что каждое горьковское слово высекает опасные искры из человеческой души.

Далее вспомнили о переписке В. И. Ленина с Горьким и о том, как высоко ценил Владимир Ильич горьковский талант.

— Да, да... все это исключительно серьезно, глубоко, прекрасно! — взволнованно заключил Либединский. — Этот реализм, представляешь, «работал»... если можно так сказать, на будущее.

— То есть сначала для «бури», а теперь — для нашей современности.

— Да, да! Я вот подобным же образом себе это представлял! Какой только дряни и убожества не торчало тогда на дороге буревестника революции! — с презрительной иронией усмехнулся Юрий Николаевич. — Декаденты, мистики, эстеты, эгофутуристы салонного типа, вроде Игоря Северянина, сологубовщина, арцыбашевщина, всяческая нежить и мертвечина... А реализм Горького великанским шагом шел себе вперед и вперед, а жизнь, идущая навстречу величайшей в истории революции, обогащала его. Дружба его с Лениным — какая великая это была школа и какое счастье!.. И вот партия раскрыла перед нами все это богатство, зажгла нашу партийную совесть чудесным огнем... работать, работать!

Весной 1939 года, когда отмечалось 125 лет со дня рождения Тараса Шевченко, в Киев съехалось множество писателей со всех концов Советского Союза. Чудесным солнечным днем мы плыли на пароходе по направлению к Каневу, вблизи которого на Чернечьей горе находится могила великого поэта. В тот день Юрий Николаевич почему-то много рассказывал о Кавказе, о людях Кабардино-Балкарии, природе, народных сказаниях и многом другом.

Теперь уже невозможно восстановить эти новеллы-экспромты, но особенная их настроенность и главные мысли помнятся до сих пор. С естественной для художника наблюдательностью Либединский не только метко набрасывал как бы эскизы разных характеров и довольно удачно имитировал некоторые разговоры и забавные сценки, но — что меня вначале очень удивило — подробно рассказывал о бытовых и родовых обычаях, где седая старина причудливо смешивается с молодой и смелой новью наших дней. Встречался он с живыми свидетельствами и таких случаев, когда люди, привыкшие из поколения в поколение жить по родовому уставу, смело и бесповоротно сбрасывали с себя эти многовековые моральные и бытовые оковы — и устремлялись к новой, социалистической жизни. При этом, с нескрываемой радостью замечал Либединский, эти люди обнаруживали исключительно быстрый рост способностей и талантов. Женщины и даже молоденькие девушки показывали в этом стремительном прыжке вперед неукротимую энергию, проницательность ума, организаторскую сметку. «Эти живые примеры быстрого роста и расцвета личности женщины убедительно показывают, как быстро и успешно шагает вперед весь народ Кабардино-Балкарии», «взламывая древнюю кору родового быта».

Когда я потом начала читать «Баташ и Батай» (в журнале «Красная новь»), мне с первых же страниц было ясно, где и как родился замысел этого произведения, его сюжет, своеобразие характеров его героев, быт, конфликты, картины природы.

Никогда не было в нашем старинном особняке правления Союза писателей такого угрюмого многолюдья и такого тревожного шума, как в грозное лето 1941 года. Люди всех возрастов, измученные тяжкой и опасной дорогой, потерявшие дом, раненные после фашистских налетов на эшелоны беженцев, наполняли комнаты и коридоры. Надсадно трещали телефоны, в разных углах плакали испуганные детишки. Во дворе тарахтели грузовики, — каждый день кого-то эвакуировали.

В одной из комнат Правления ССП, с окном на грохочущую от машин улицу Герцена, шла запись в народное ополчение. В узком коридоре толпились наши москвичи. Знакомый голос спросил о чем-то. Либединский, бледный, с осунувшимся лицом, подошел к очереди у двери. Мы наспех поздоровались (всем дежурным членам Правления хватало тогда забот).

Разговаривать было некогда. Либединский только объяснил:

— Я сюда... вот собираюсь...

Он записался в народное ополчение, как и многие наши товарищи.

В сентябре сорок первого, когда у нас на заседании правления Союза кто-то делал доклад о боях под Ельней, я увидела Либединского. Его опрятная, уже повидавшая виды гимнастерка, простые солдатские сапоги и полоски седины на висках — все это старило его. Но, присмотревшись, я заметила, что настроение у него уверенное, временами он даже шутливо отвечал на вопросы друзей.

Кто-то спросил, каково настроение в тех частях фронта, где как военному корреспонденту довелось ему бывать.

— Еще очень трудно, — спокойно ответил он, — но настроение у бойцов теперь, после Ельни, нормальное, боевое. Как видите, наступаем и атаки отбиваем... случается, отступим, а потом опять за ту же деревеньку бьемся... У всех уверенность, что уж недолго ждать, когда мы начнем гнать и гнать врага с нашей земли.

Либединский помолчал и, вспомнив что-то, с довольной усмешкой добавил:

— Кстати, не только логика событий, но и все черточки военного быта говорят за это!

— Какие же именно черточки?

Либединский начал рассказывать о том, как изменилось у бойцов настроение. Это видно во многом.

— В первые военные дни, например, подъезжает кухня, раздают обед, бойцы едят молча, будто бы без аппетита. Прохудился у кого-то сапог, поковыряет нехотя и рукой махнет: стоит ли, мол, стараться, если завтра меня уж не будет.

— А теперь?

— Ну! Картина теперь решительно изменилась! — снова удовлетворенно улыбнулся Либединский. — Например, кухня еще не подъехала, а бойцы уже чуют ее запах. Ест борщ солдат и похваливает: «Хорош борщ, хорош». Автомат, сапоги, «главное хозяйство», содержатся в самом строгом порядке, стирка организуется при каждом удобном случае. А уж как старательно, при случае, с песком котелки отмоют: и донца и стенки в них блестят, как серебро!.. «Из чистой посуды, говорят, есть вкуснее и здоровее».

— Такое настроение явно направлено к жизни! — заметил кто-то.

— Конечно, сейчас совсем иначе! — с горячей убежденностью говорил Либединский. — Бойцы не только на вопросы ответят, а и свои соображения добавят: вот, мол, заставили фашистов топтаться на месте, защемили им хвост... придет время — и мы так их, проклятых гадов, погоним, что они... ну, а далее, сами понимаете, русский человек в гневе может такое сказать, что не сразу найдешь синоним для передачи этих слов...

Видно было, что за эти два с небольшим месяца писатель многое увидел, испытал. Поговорить мне с ним не удалось — он куда-то заторопился и вскоре исчез. Но чувство дружеской уверенности в нем и удовлетворенности тем, как выглядит он, писатель-фронтовик, конечно, согревало душу.

В самом начале октября 1941 года как корреспондент газеты «Правда» я поехала в Свердловск. Корот-

кая встреча с Юрием Николаевичем на ходу произошла летом 1942 года.

Мы посидели с полчасика на скамье против дома нашего Правления ССП. Юрий Николаевич рассказывал о своей работе в газете «Красный воин», которая крепко была связана с жизнью фронта. Часто бывая на разных участках фронта, он познакомился со множеством «самобытно интересных» людей, а вместе с тем он «и глазами и душой» увидел «великолепное пламя героического подвига, которое пылает повсюду», «огромную, неисчерпаемо прекрасную» духовную силу советского народа, защищающего родную землю.

Я добавила ко всему услышанному, что в жадной писательской памяти такие события и впечатления, конечно, останутся навсегда. Несколько загадочно улыбнувшись, Либединский подтвердил: да, только так и может быть.

Позже, читая новую его фронтовую повесть «Гвардейцы», я поняла, что значила эта его загадочная улыбка. Он не только рассказывал мне о жизни подмосковного фронта, но уже видел перед собой образы героев новой повести, в которой отразилось то незабываемое время.

Примечательно, что, участвуя в войне как литератор, как батальонный комиссар и как корреспондент газеты «Красный воин», Либединский «не только не отдалился» от полюбившихся ему картин Кавказа, дум и чувств его народной жизни, но еще глубже стал постигать корни этой огромной темы. Она еще далеко не исчерпана, он только «начал ее разработку» в романе «Баташ и Батай». А теперь он еще ярче видит, как все дальше раздвигаются границы повествования. Маленький горный народ, веселореченцы, как он называется в романе, не может погибнуть и не будет без конца «данником» своих феодальных князьков. Те люди гор, которых связывает братская дружба с русскими рабочими, с большевистской борьбой и подготовкой народа к революции, — «те веселореченцы пойдут по широкой дороге».

Когда же Либединский рассказал о дальнейшем развороте событий, о содержании двух последующих

книг, мне стало ясно, что прерванная войной работа не только возобновляется, но уже в пути.

Кто не знает, что, как все новое и развивающееся, талант требует неустанного духовного обогащения не только впечатлениями бытия, но и познанием смысла, законов и целей его движения. Познание прошлого и настоящего небольшого горского народа, его связей с великим русским народом, их огромного исторического и общечеловеческого значения, высокой радости борьбы и созидания новой, свободной жизни, многолетнее общение со множеством людей, изучение их прошлого и настоящего, живое, образное обобщение связи времен — все это подлинное творческое счастье писателя-реалиста. Люди и события трех эпох в истории нашей страны отражены в трилогии Юрия Либединского. Роман «Горы и люди», где картина событий — начало нашего века, роман «Зарево», где как предвестники приближающейся великой грозы встают перед нами события знаменитой Бакинской забастовки, и, наконец, роман «Утро Советов», посвященный событиям революции в Петрограде, Москве и на Кавказе.

Однажды в осенний день 1959 года Юрий Николаевич неожиданно заехал ко мне.

— Вот, как говорится, на радостях завез тебе, на твою книжную полку! — весело сказал он и положил мне на стол три книги: двухтомник, изданный в Гослите, и книгу воспоминаний «Современники», вышедшую в издательстве «Советский писатель».

В гослитовском двухтомнике все произведения мне были давно знакомы, а книга воспоминаний «Современники» была для меня по материалу новой, и я тут же начала бегло просматривать страницу за страницей.

Вот молодой Юрий Либединский в 1921 году в работе над повестью «Неделя», со своими первыми авторскими мечтами, раздумьями, поисками художественного выражения, первыми непримиримыми спорами с теми, кто, не понимая огромного всемирного значения

и смысла Великой Октябрьской революции, клеветал на нее.

— А! Очень правильно, что ты включил в свои воспоминания твою давнюю отповедь Пильняку!..

В начале 20-х годов дурную славу заслужил рассказ Б. Пильняка «При дверях». Люди, которых Пильняк называл коммунистами, показаны в его рассказе беспробудными пьяницами, пошляками и развратниками. Их рассуждения о революции, о «судьбах России», о провинциальном быте, о советских работниках и учреждениях представляли собой искажение действительности, клевету на революцию и осмеяние героической борьбы и труда народа.

Вот она, давно известная мне отповедь молодого Юрия Либединского Пильняку — автору рассказа-пасквиля: «Тебе уездный городишко в наши дни представляется грязным свинством. А он, этот уездный городишко, овеян ветрами великой гражданской войны, овеян всей мировой революцией. Он сейчас насквозь героичен, этот маленький городишко... И там, где ты видишь грязных скотов, там я вижу героев, людей Коммунистической партии!» («Современники»).

В этом непримиримом противопоставлении взглядов на действительность заключался также и один из толчков к созданию повести «Неделя».

Продолжая просматривать заинтересовавшую меня книгу воспоминаний о современниках, я вдруг увидела знакомое имя А. Воронского. В годы, когда он редактировал журнал «Красная новь», он напечатал две моих повести — «Медвежатное», «Берега» — и несколько рассказов. Мне вспомнилась очень ободрившая меня первая встреча с Воронским, его живой интерес к нам, тогда молодым писателям, его умение найти и понять, чем каждый творчески отличен от другого. Но позже, когда я уже присмотрелась к литературным спорам, мне все яснее становилось, что Воронский далеко не все понимал и, конечно, ошибался.

Я рассказала Юрию Николаевичу, как после опубликования летом 1927 года в журнале «На литературном посту» моего письма о выходе из группы «Перевал» у меня с Воронским произошел короткий, но

примечательный разговор. Я пришла в редакцию, чтобы получить свой авторский (февральский) номер журнала «Красная новь» (за 1928 год), где был напечатан мой рассказ «Каленая земля». Воронский сказал несколько добрых слов о моем рассказе, а потом с нескрываемой иронией спросил, какое отношение имеет к этому, например, рассказу опубликованное мной летом двадцать седьмого года письмо.

Одобрительно кивнув на авторскую книжку журнала, что была у меня в руках, Воронский сказал, что для писателя «всего важнее его прямое дело — написать талантливое произведение», а что касается его «какой-то там групповой принадлежности», так это просто бесполезная трата сил и времени.

Факт напечатания моего рассказа в «Красной нови» в 1928 году, всего лишь через несколько месяцев после, как резко подчеркнул он, опубликования моего письма, ясно показывает, как он сам, Воронский, относится «ко всем этим организационным перегородкам» в литературе. Для него лично существует прежде всего «творческая личность писателя», произведение, им созданное, суждения о том, что в данном произведении ценно и что нуждается в критике, — «вот это и есть жизнь в литературе, а все прочее — выдумка!».

Этот неожиданный для меня разговор возник, что называется, на ходу: Воронский вышел из кабинета в шляпе и красивом черно-белом шелковом кашне, явно собираясь куда-то уходить. Считая неудобным задерживать его, я только сказала, что дело не в «перегородках», а в том, «кто с кем» и что идейно отстаивает. Для меня лично этот вопрос — с кем быть и что отстаивать — первостепенно важен.

Слова мои были достаточно решительны, но Воронский все-таки заметил, что я огорчена разговором. Мне помнилось его доброе отношение, внимание к моей работе, его всегда впечатляющие советы. Но эти его высказывания, казалось мне, были в непримиримом противоречии с жизнью.

— Ну ладно, ладно... — уже добродушно проворчал он, смешно надувая бледноватые толстые губы. —

Вы молоды, и всем вам хочется «драться»... не стоит об этом спорить, в конце концов!

После рукопожатия он добавил:

— Будет что новенькое — шлите!

Но ничего новенького я уже больше не печатала в «Красной нови» и с Воронским больше не беседовала, хотя на литературных собраниях 20-х и 30-х годов он с неизменным доброжелательством здоровался со мной. Он был старым большевиком, представителем поколения наших духовных отцов, к которому мы, молодежь, относились с огромным уважением. Но тем резче проявлялись его ошибки. Вспомнить только, как он поднимал все написанное Б. Пильняком, объявляя его «сложным» и даже большим писателем. А вспомнить, как Пильняк раскланивался перед всяческими тонкостями капиталистической культуры и быта, как подробно описывал все способы убивать время скучающими леди, джентльменами и плюющими на весь свет нахальными дельцами. Зато голодную и тяжкую жизнь после многих навязанных нам извне бед он показывал как дикую метель, как темь и дичь деревень XVII века. Пильняк не только искаженно-уродливо рисовал революционные перемены и социалистическое строительство, но с той же издевкой поражал читателя «открытием», как «пахнет революция», — и, понятно, было совершенно невозможно перевести пильняковские сравнения на живой и нормальный человеческий язык.

Юрий Николаевич все это отлично помнил, как помнил и всю страсть возмущения в высказываниях множества писателей о ряде пильняковских книг.

— Ты прочтешь в моих воспоминаниях, в чем была главная драма Воронского, — сказал Либединский. — Все его ошибки шли от одной главной: он начисто отрицал пролетарскую литературу. Вот послушай...

И он прочел вслух:

— «Мы же справедливо возражали, что при тогдашнем состоянии советского общества, в котором существовало разделение на классы и шла классовая борьба, не могла не возникнуть пролетарская литература, так же как и литература, отражавшая взгля-

ды других существующих в обществе классов. В особенности это должно было относиться именно к произведениям, выражавшим взгляды пролетариата, класса, в жестокой борьбе утверждающего свою диктатуру, класса, поднявшегося до уровня коммунистической сознательности. Воронский оспаривал неизбежность и закономерность возникновения пролетарской литературы и этим совершал большую политическую ошибку. Каждый новый день литературы подтверждал наличие классовой борьбы в литературе и формирование в ней полярных друг другу классовых течений» («Современники»).

Да, марксистское понимание и анализ у подлинно образованного марксиста должны распространяться на все стороны жизни. Нельзя быть марксистом в политике и объективистом в искусстве, — задумчиво продолжал Юрий Николаевич и вдруг, быстро сменив настроенность речи, насмешливо покачал седой головой: — Конечно, мы часто бывали задирами... от сознания собственной непререкаемой марксистской правоты. Мы считали, что каждый должен идти к высотам марксистско-ленинского познания только так и только тем путем, как мы шли... И вот когда нас, руководителей пролетарской литературы, уже «заносило» в сторону от этого широкого движения всей советской художественной интеллигенции, мы все-таки сумели понять одну опасность, которая угрожала решительно всем отрядам советской литературы.

— Литфронт?

— Конечно, я о нем и говорю. Сейчас, на старости лет, мне даже приятно вспомнить, как и я разоблачал крикливые, левацко-вульгаризаторские «тезисы» Литфронта. Если бы тогда удалось ему подольше пошуметь да покричать, много бы дров он наломал, многих талантливых людей обидел бы, сбил бы с толку. Но... — Юрий Николаевич с той же иронической улыбкой развел руками. — Но дальше мы нужных выводов для себя не сделали... и на этом последнем нашем деле, полезном для всей советской литературы, так и застыли... и, понятно, все больше становились тормозом в развитии всей советской литературы.

— Знаешь, — заговорил он немного спустя, — пока я работал над книгой «Современники», вся моя творческая жизнь как бы проходила передо мною. Но сейчас я сужу об этой творческой жизни уже с точки зрения старого писателя-коммуниста и несравненно возросшего опыта и требовательности к себе. Вот когда мы дрались с Литфронтом со страстью и убежденностью писателей-реалистов, преданных всей душой делу партии, мы еще не могли себе представить всей широты и глубины совершающегося у нас на глазах!.. Именно так я много раз думал об этом, и моя степень понимания в те годы представлялась мне ограниченной и незрелой. А в нашем обществе происходили глубочайшие культурно-политические процессы мужания разума и воли миллионов людей, и тут было великое множество путей сообразно конкретной обстановке и характеру человека... и в литературе происходило такое же поднятие все новых и новых пластов бытия...

Он слегка нагнулся и, широко размахнувшись в обе стороны, медленно распрямил руки снизу вверх, словно поднимал какие-то новые пласты, полные свежих соков и силы жизни.

— Она уже создавалась, росла у всех на глазах, эта новая, небывалая в истории советская литература... и, знаешь, когда во всю ширь партия это показала нам, а сознание коммуниста и художника охватило, вобрало в себя это бескрайнее богатство, — какое это было прекрасное, чудесное счастье!

Так мы сидели друг против друга теплым сентябрьским днем, когда, казалось, лето еще не торопилось уходить. Мы вспоминали о многих делах и событиях, двое пожилых людей, которые более тридцати лет были связаны дружбой и общностью творческого труда для нашей родной советской литературы.

Вдруг Юрий Николаевич среди разговора с улыбкой заметил:

— Ты так о чем-то задумалась, что будто и не слышишь ничего.

— Ну что ты, все отлично слышу, — ответила я.

Но ведь его же, Юрия Николаевича, книга «Современники» навеяла столько воспоминаний, что — не

скрою — в них присутствует и какая-то доля грусти: чем больше воспоминаний, тем ощутимее старость.

— Зато настоящая дружба не старится, — сказал он, и я согласилась с этой простой и ясной истиной: да, настоящая дружба не старится.

Это была наша последняя встреча: Юрия Либединского не стало...

Мне случалось иногда слышать мнение, что в воспоминаниях о человеке, которого мы знали много лет, должна быть показана чуть ли не вся его жизнь. Таких воспоминаний, я убеждена, просто не бывает. Есть в человеческой жизни такие события, явления и черты его частной, личной, семейной жизни, которые сохраняются в разных материалах, документах или просто в памяти кровно или сердечно близких ему людей. Им дороги именно эти воспоминания...

Современникам же интересно и важно помнить о человеке то, о чем бессмертный наш Пушкин сказал: «Часть моя большая» — то есть его труд, творчество, его участие в огромном всенародном труде.

1961

СОДЕРЖАНИЕ

Караваева

Анна Александровна

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

М., «Советский писатель», 1963, 304 стр.

*

Редактор *З. В. Одинцова*
Художник *П. А. Валюс*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *Н. Д. Бессонова*
Корректоры *С. С. Потресова* и *Л. К. Фарисеева*

*

Сдано в набор 4/IX 1963 г.
Подписано к печати 27/XII 1963 г.
А 11808. Бумага 84×108$^1/_{32}$.
Печ. л. 9$^1/_2$ (15,58). Уч.-изд. л. 14,76.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1209
Цена 59 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

50 коп.

Ⓖ